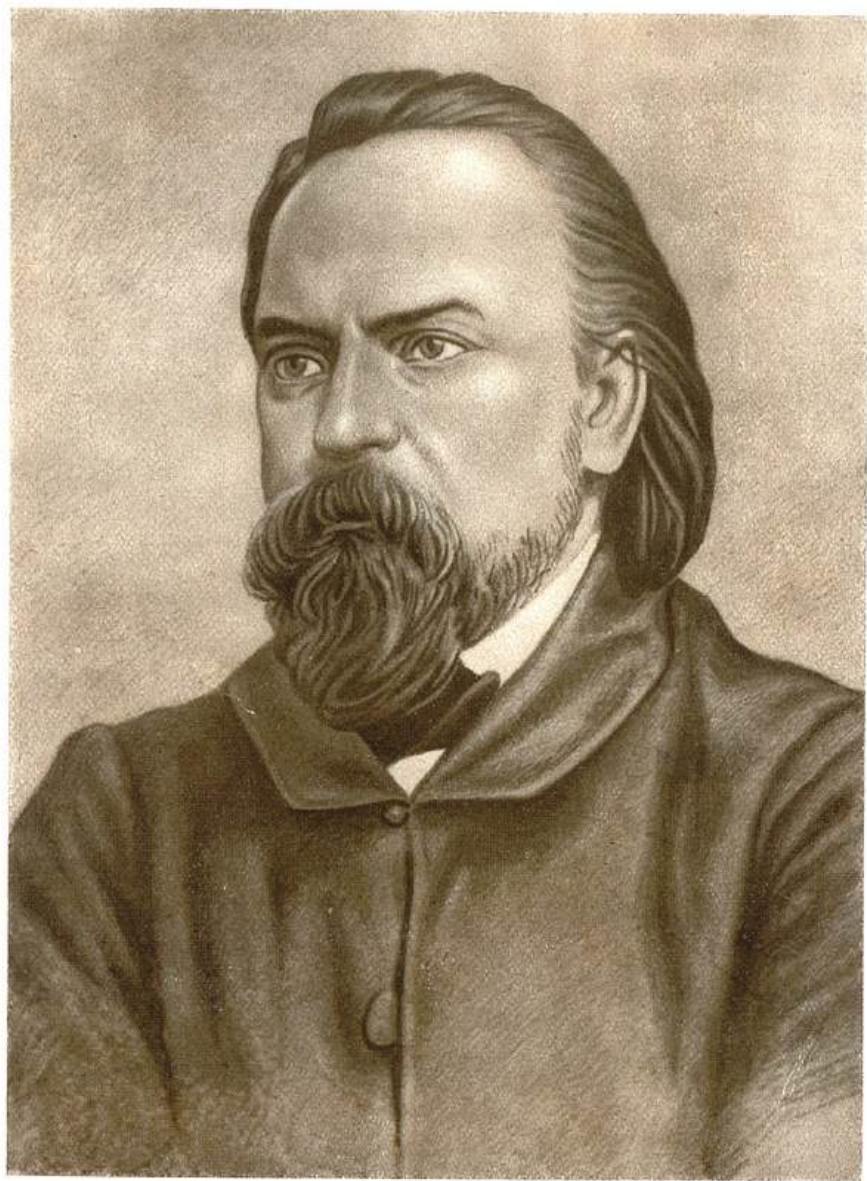




БИБЛИОТЕКА УЧИТЕЛЯ

Академия педагогических наук РСФСР

А. И. ГЕРЦЕН О ВОСПИТАНИИ

ИЗБРАННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Сборник составлен,
снабжён вступительной статьёй и комментариями
М. Ф. Шабасовой

Под редакцией действительного члена
Академии педагогических наук
Н. А. КОНСТАНТИНОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

МОСКВА • 1948



ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящий сборник включены основные высказывания Герцена по вопросам педагогики, воспитания и обучения. Это первая попытка систематизации педагогических взглядов Герцена.

Составление такого сборника представляет ряд трудностей. Герцен не был педагогом в прямом смысле этого слова. Он не писал педагогических трактатов и статей, за исключением двух обращений к молодёжи по вопросам изучения естествознания. Однако в его многостороннем литературном творчестве много глубоких мыслей педагогического содержания. Выбрать и отчленивать их от живого текста повести, романа, очерка, публицистической статьи, философского трактата и дать в закруглённой и схематической передаче весьма трудно. В произведениях Герцена его мысли тесно и жизненно взаимосвязаны, и выделение педагогических высказываний может исказить общий характер его мировоззрения, блестящего стиля и оригинальной манеры письма. Надо иметь в виду, что сам Герцен был ярким врагом всяких схем и классификаций и писал в широкой, свободной манере, переkreшивая свои мысли. Он говорил, что «в действительности нет никаких строго проведённых мер и границ», и часто нарушал в изложении формальные требования схемы.

Эту творческую особенность Герцена мы должны были учесть, составляя данный сборник под определённым, педагогическим углом зрения. Мы расположили все отрывки из произведений Герцена, освещающие педагогические вопросы, по четырём разделам в соответствии с различными областями, жанрами литературно-публицистического творчества Герцена, стремясь соблюсти внутри каждого раздела хронологический принцип расположения материала (каждый раздел предваряется пояснениями составителя).

Бережно сохраняя особенности герценовского текста, мы старались представить его основные педагогические высказывания в систематическом изложении и передать педагогическое мировоззрение в развитии.

Текст сборника перепечатывается по полному собранию сочинений А. И. Герцена под редакцией Лемке*). Некоторые отрывки взяты из более поздних изданий, что оговорено в примечаниях. Примечания, сделанные составителем сборника, помечены в тексте порядковыми номерами. Примечания Герцена даны в сносках под текстом и помечены его инициалами — «А. Г.». Переводы иностранных слов и объяснение некоторых выражений Герцена даны под текстом с обозначением «Ред». В ряде мест внизу текста под соответствующей сноской указывается кратко событие или факт, к которым относится приведённое педагогическое высказывание Герцена.

Составитель



*) А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем под редакцией Лемке, тт. I—XXII, Петроград, 1919—1923.



А. И. ГЕРЦЕН И ЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ

Александр Иванович Герцен является крупнейшим представителем революционного движения России.

Он соединял в себе талантливого писателя, блестящего публициста, крупнейшего политического деятеля. Он был личным другом многих западноевропейских революционных деятелей до-марковского периода. Своей многосторонней деятельностью он способствовал прославлению русского народа и, являясь патриотом России, всю свою жизнь служил интересам родины. Герцен вошёл в историю различных областей общественной и научной мысли России. Изменение устаревшей системы воспитания органически входило в его программу переустройства мира на новых началах. Он был ярым врагом крепостничества и самодержавия. Критика Герценом самодержавно-помещичьей России переходила в разоблачение буржуазного европейского общества, основанного на классовом угнетении.

В. И. Ленин в своей блестящей статье «Памяти Герцена» назвал его выдающимся предшественником русской социал-демократии. «Герцен, — говорит В. И. Ленин, — принадлежит к поколению дворянских, помещичьих революционеров первой половины прошлого века»^{*)}.

Ленин очень высоко ценил Герцена как мыслителя и философа.

«В крепостной России 40-х годов XIX века он, — говорит Ленин о Герцене, — сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени»^{**)}.

Характеризуя сущность философского мировоззрения Герцена, Владимир Ильич отмечал, что он вплотную подошёл к диалектическому материализму и остановился перед историческим материализмом.

Педагогические взгляды Герцена теснейшим образом связаны с его политическим и философским мировоззрением. Они являются блестящим этапом в развитии педагогической мысли и выра-

^{*)} Ленин, Соч., т. XV, стр. 464.

^{**)} Там же.

жают лучшие стремления и идеалы передовой части общества. В них слышится голос народа, протестующего против крепостнических устоев русской жизни. Педагогические взгляды Герцена отражают критическое отношение лучших людей России к буржуазно-демократическим педагогическим идеалам западноевропейских мыслителей.

Педагогическое наследство А. И. Герцена велико и многообразно. Мысли, замечания, характеристики щедро рассыпаны в литературных произведениях писателя. В его философских и научных трактатах поставлено и решено много актуальных вопросов, относящихся к содержанию образования и методов обучения будущих борцов за новую, свободную Россию. А. И. Герцен — материалист и выдающийся диалектик своего времени — боролся за внедрение естественных наук в систему воспитания русского юношества.

В заметках, политических памфлетах, статьях, помещавшихся в изданиях вольной русской печати за границей: «Полярная звезда» и «Колокол», А. И. Герцен вёл систематическую и беспощадную борьбу с правительственной политикой по народному образованию. Наконец, педагогические взгляды Герцена высказаны в его письмах к своим детям и к друзьям о детях.

Александр Иванович Герцен родился в Москве 7 апреля (н. ст.) 1812 г. в семье богатого русского помещика-аристократа И. А. Яковлева. Отец Герцена — Иван Алексеевич Яковлев и мать Луиза Карловна Гааг, уроженка гор. Вюртембурга (Германия), не были обвенчаны, и их сын считался по понятиям того времени «незаконнорожденным» ребёнком. «Незаконное положение» мальчика было одной из причин отчуждения его от дворянской среды.

Многие детские впечатления Саши Герцена связаны с событиями 1812 г.: «Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моей колыбельной песнью, детскими сказками, Илиадой и Одиссеей» (стр. 47 настоящего издания; в дальнейшем указывается только соответствующая страница). Эти рассказы мальчик слышал от крепостной прислуги, родителей и воспитателей, а также офицеров и генералов — участников героических подвигов русского народа в 1812—1814 гг., бывавших в доме его отца.

Отец Герцена по происхождению и воспитанию принадлежал к блестящей дворянской знати. Нелюдимый и неуживчивый по характеру, он не поддерживал связей с дворянами-аристократами. Он стоял в стороне от политической и светской жизни своего времени. Семья Яковлевых жила замкнуто, уединённо, и мальчик Саша воспитывался изолированно от своих дворянских сверстников. От угрюмой пустоты и чинной скуки барского дома он бежал в «девичью» и «переднюю», — туда, где собирались дворовые отца. Он сближался с крепостной прислугой. Русский народ

с его идеалами, осуждением крепостного рабства и прихотей капризного барина стал его воспитателем. Отец Герцена не применял к крестьянам жестоких средств управления, но был в душе глубоко равнодушен к народу. Больше того, скептик и нелюдим, он брезгливо сторонился «черни» и не признавал в своих «людях» человеческого достоинства. Не видел он этого достоинства и в своём сыне и теснил его мелким, надоедливym деспотизмом. Мальчик был жертвой родительского произвола, как дворовые — помещичьего, и это создавало основу для его сближения и внутреннего контакта с крепостными.

«Передняя, — говорит А. И. Герцен, — с ранних лет развила во мне непреодолимую ненависть ко всякому рабству, ко всякому произволу».

Отец стремился отдалить сына от крепостных людей; его воспитание Иван Алексеевич вверил иностранным гувернёрам — Иоганну Иокши и Зонненбергу. Немцы-гувернёры вызвали у воспитанника глубокое отвращение к ним своей моральной нечистоплотностью, фельдфебельской выправкой, тупым, мелочным педантизмом и раздражающей придирчивостью. В доме были также воспитатели-французы. Убеждённый почитатель классицизма Маршаль открыто не признавал достоинств современной ему французской и английской литературы; но он сумел привить мальчику любовь к античной древности и к изящному в жизни. Ещё более положительным было влияние другого учителя — француза Бушо. Он не мог так, как Маршаль, откровенно говорить о своих взглядах. Он был участником французской революции и сторонником казни Людовика XVI. Ему было не безопасно открывать себя в доме русского барина. Но одарённый пылким воображением, слышавший о якобинцах и симпатизировавший борцам за лучшую жизнь для народа, воспитанник заставляет своего учителя выявить его революционную настроенность.

Самым сильным воспитательным влиянием в жизни мальчика было русское влияние: крестьянство, учитель русской грамоты, отечественная литература были действительными воспитателями Герцена.

И. А. Яковлев, считавший себя обиженным и оттеснённым чиновниками-царедворцами, критически относился к самодержавным и православным устоям русской жизни. Потомок родовитой знати, он не терпел сановной бюрократии и алчного духовенства. Приглашая к сыну учителя, он не считал нужным пользоваться рекомендациями барских домов. В его доме могли появляться учителя-вольнодумцы. К ним принадлежал Иван Евдокимович Протопопов — студент Медико-хирургической академии, сыгравший огромную роль в воспитании подростка Герцена. Передовые воззрения учителя, его любовь к родине, к национальному русскому быстро приблизили к нему воспитанника. Своему одарённому, доброму сердцем, привязанному к народу ученику Протопопов передал глубочайшее преклонение перед вольнолюбивой

русской литературой. Он восторгался произведениями Грибоедова, Рыльева и особенно Пушкина. Установлению теснейшей связи между учеником и учителем способствовала также применённая последним система обучения. Домашнее образование Герцена началось рано и шло бессистемно. Учителя-иностранцы приходили в классную комнату, спрашивали заданный урок, диктовали, отмечали погтем в книге, что надо выучить по учебнику к следующему разу, и уходили. Мальчик не желал зубрить неинтересное и непонятное. Он не готовил заданных уроков. Учителя ругали его за это и продолжали требовать заученных из книг ответов.

Протопопов поступил иначе. Гуманный и добросовестный, он стремился пробудить в ученике интерес к учению. В живых беседах с учеником он стал передавать ему научные сведения из географии, риторики, истории, литературы.

Он требовал от ученика не только выучить заданное, но и пересказать выученное своими словами. Он добивался не только запоминания, но и понимания. Это дало исключительные результаты. В тринадцать лет мальчик приохотился к учению, и «мысль пробудилась в душе, жившей дотоле одним детским воображением». Учебные занятия стали органической частью внутреннего развития и духовного созревания Герцена. Его антикрепостнические и патриотические настроения, возникшие в результате жизненных наблюдений, росли и укреплялись. В процессе учения, бесед с учителем, самостоятельного чтения подросток подходил к осознанию острых социальных проблем, с детства неизменно привлекавших его внимание.

Когда в доме Яковлевых стало известно о восстании декабристов, подросток Герцен ощущал себя противником самодержавия. Казнь декабристов способствовала превращению смутного протеста в осознанный. «Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души». Невыносимым стало одиночество. Попытка Герцена откровенно поделиться затаёнными мыслями с некоторыми барчуками убедила в сильнейшем отчуждении от дворянских сверстников. Но вот он встречается с единомышленником — Николаем Платоновичем Огарёвым. Оба они симпатизировали простым, обездоленным людям, ненавидели аристократическое высокомерие, тупое самодовольство, педантизм, одинаково неприятные и в иронии И. А. Яковлева, и в мелочной аккуратности их общего воспитателя немца Зонненберга. Взволнованные открывшейся им общностью симпатий и воззрений, подростки мечтали о широкой общественной деятельности «без малейшей примеси самолюбия и личных выгод».

В Москве, на Воробьёвых горах, они в 16 лет принесли романтическую, торжественную клятву — всю жизнь отдать за освобождение народа и отомстить за казнённых декабристов. Этой клятве, как и дружбе с Огарёвым, Герцен был верен всю свою жизнь.

В 1829 г. Герцен поступил в Московский университет. Юноши из дворянских семей учились тогда главным образом гуманитарным и юридическим наукам. Герцен поступил на физико-математический факультет; в результате воспитания и окружающих влияний он чувствовал склонность к естественным наукам.

Отсутствие в семье Яковлевых культа дворянского усадебного быта и традиций ортодоксального православия делали возможным проникновение туда складывающегося русского материализма. Одним из его представителей был сводный двоюродный брат Герцена — Александр Александрович Яковлев. «Химик» — как иронически звали его в семье — в совершенстве знал учения всех крупных естествоиспытателей. Он резко критиковал их за непоследовательность, за то, что они, вопреки научным данным, продолжали верить в бога.

А. А. Яковлев стремился во всех явлениях природы, жизни отыскать материальные причины. Он как материалист не верил в бога. Он оказал огромное влияние на Герцена. Своё отвращение к крепостничеству и произволу юноша органически сочетал с материализмом.

Герцен любил читать литературно-художественные произведения Радищева, Пушкина, Рылеева и других прогрессивных писателей и поэтов, что несомненно имело большое влияние на формирование его общественно-политических взглядов.

Московский университет — центр русской науки — сыграл огромную роль в дальнейшем развитии философских и социальных взглядов Герцена. Всю свою дальнейшую жизнь он с величайшей теплотой вспоминал своё пребывание в университете. Он был здесь душой революционного студенческого кружка, члены которого считали себя продолжателями дела декабристов. «Мы были уверены, — говорил Герцен, — что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдёт вслед за Пестелем и Рылеевым...» (Герцен. Собр. соч., т. XII, стр. 108, под редакцией Лемке, М. 1917—1923. В дальнейшем мы будем ссылаться только на это издание).

В кружке занимались чтением литературы о французской революции, знакомились с революционной поэзией, спорили на актуальные общественные темы. Затем члены кружка, и в первую очередь Герцен и Огарёв, обратились к изучению социалистов-утопистов — Сен-Симона и Фурье.

«Первая идея, — говорил позже Огарёв, — которая запала в нашу голову, когда мы были ребятами, это — социализм».

В это же время Герцен встретился с В. Г. Белинским, дружба с которым продолжалась вплоть до смерти великого критика.

В 1833 г. Герцен окончил университет. Товарищи и близкие стоявшие к студентам профессора считали, что он получит золотую медаль. Ему дали серебряную. А в скором времени, в июле 1834 г., Герцен был арестован, как и его товарищи по кружку, и отправлен в ссылку. В Крутицкие казармы, где сидели арестован-

ные, пришла на прощальное свидание к Герцену его кузина Наталия Александровна Захарьина. Молодые люди впервые поняли, что их связывает не только дружба. С этого времени любовь к Наталии Александровне, ставшей в 1838 г. его женой, займёт огромное место в жизни Герцена. Это чувство, вполне разделённое Наталией Александровной, скрасит Герцену тягостную ссылку, а позже — идеологическое расхождение с друзьями.

В июне 1839 г., во время второй ссылки в г. Владимир, у Герцена родился сын Александр. В «Былом и думах» Герцен рассказывает об этом с глубочайшей проникновенностью, показывающей всё величие его отцовской любви и гордости. В день рождения своего сына он записывает в дневнике: «Тебя, существо народившееся... тебя благословляю! Иди в жизнь, иди на службу человечеству; я тебя обрёл на трудный путь...» (т. II, стр. 267). Отныне забота о сыне, его правильном развитии и воспитании займёт большое место в жизни этого великого человека.

В 1842 г. Герцен вернулся из ссылки в Москву и вскоре занял руководящее место в среде тогдашней передовой интеллигенции: общественных деятелей, учёных, писателей, литераторов. В лучших журналах появились его первые философские статьи: «Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы», литературные произведения: «Сорока-воровка», «Доктор Крупов», автобиографическая повесть «Записки одного молодого человека», с большой симпатией встреченные читателями и критикой, особенно Белинским и его друзьями. В это же время Герцен напечатал свой роман «Кто виноват?», который по праву может считаться педагогическим романом русской литературы, как «Эмиль, или о воспитании» Руссо — французской, «Лингард и Гертруда» Песталоцци — швейцарской. В этом романе Герцен на примере воспитания и жизни главного героя Бельтова показал всю несостоятельность абстрактного воспитания, оторванного от условий той жизни, в которой позже должен будет действовать воспитанник. Актуальность темы, оригинальность и глубина мысли автора, литературные достоинства романа обеспечили Герцену всеобщее признание.

Но российская николаевская действительность не удовлетворяла Герцена. Ему, мечтающему с ребяческих лет о широкой деятельности на благо народа, приходилось ограничиваться литературой и спорами внутри небольшого кружка. Да и в кружке не все были способны принять выводы социалиста и материалиста Герцена. Наоборот, многих членов кружка пугали эти выводы. «Долго не верил я, — пишет позже Герцен, — но наконец убедился, что ещё есть истины, которые их пугают... Кроме Белинского, я расходился со всеми... Открытие это наполнило меня глубокой печалью» (т. XIII, стр. 185).

Друзья, пугавшиеся выводов Герцена и Белинского, русские умеренные «западники», противники славянофилов, были идеалистами. Они мечтали о более широком участии интеллигенции

в государственных делах. Они вместе с Герценом считали формы и содержание экономической, политической и культурной жизни западноевропейских народов «несравненно выше... устройства России». Славянофилы в разгоревшейся борьбе с «западниками», всё более отдаляясь от них, настаивали на том, что Россия должна вернуться к формам народной и государственной жизни допетровского времени. Борясь единым лагерем со славянофилами, «западники» к 1846 г. распались на различные группы. Одни из них (Герцен, Белинский, Огарёв) стали на путь материализма и признали необходимость революционно-социалистического преобразования России. Другие (Боткин, Кетчер) остались идеалистами и защищали путь умеренно-буржуазных, либеральных реформ.

Счастливая семейная жизнь несколько скрашивала тягостные переживания Герцена, вызванные расхождениями со славянофилами, а позже с умеренными западниками. Наталия Александровна была не только любящей женой и нежной матерью. Она полностью разделяла социалистические и революционные убеждения своего мужа. Лучшие друзья Герцена, считая её полноправным членом их кружка, преклонялись перед покоряющей обаятельностью и твёрдостью его подруги. «Эта женщина, — писал о ней Белинский, — большая, низкого роста, худая, прекрасная, тихая, кроткая, с тоненьким голосом, но страшно энергичная: скажет тихо — и бык остановится с почтением, упрётся рогами в землю перед этим кротким взглядом и тихим голосом».

Герцена тянуло в Европу. Хотелось увидеть другую жизнь, проверить и подтвердить свои убеждения. После долгих хлопот, благодаря родственным связям, семья получила право на выезд. В 1847 г. Александр Иванович и Наталия Александровна с детьми Сашей 7½ лет, Колей 6 лет и Наташей (Татой) 3 лет выехали в Европу и больше в Россию не возвращались. Уезжавшая семья, как и провожавшие её родные и близкие, не знали, что это их последнее свидание, «смотрели печально вслед, но не догадывались, что то похороны и вечная разлука...» (т. XIII, стр. 202—203).

В Европе Герцен быстро сблизился со многими французскими, итальянскими, немецкими революционерами. Он считал себя среди них посланцем своего великого народа. Он быстро понял, что русский народ оклеветан в Европе. В европейских столицах знали в лучшем случае русскую аристократию, часто презрительно относящуюся ко всему русскому. В Европе часто судили о России по клеветническим отзывам немецких обедневших князей и принцев, через брачные союзы своих юных отпрысков, вступавших в родственные отношения с русскими царедворцами. Герцен поставил перед собой задачу способствовать ознакомлению Европы с настоящей Россией, её героическим народом. На Западе происходили в это время революционные события. Герцен принял в них активное участие и воочию увидел предательство европейской буржуазии по отношению к рабочим.

В «Письмах из Франции и Италии», а позже в произведении «С того берега» Герцен дал талантливую, уничтожающую критику капиталистической действительности и буржуазной цивилизации. В его лице передовая русская общественная мысль поставила вопрос о таком социальном перевороте, который принёс бы действительное улучшение материального, политического и культурного положения народных масс. Разочаровавшись в возможностях Европы произвести такой переворот, Герцен считал Россию наиболее способной к решению всех тех социальных проблем, которые встали перед человечеством. Он, пристально вглядываясь в жизнь, искал те социальные силы, которые способны на его родине к революционным действиям. Искал он также те экономические основания, которые сделают возможным осуществление в России социализма. Он ошибочно считал экономическим основанием русского социализма не развитие промышленности, а сохранившееся в деревне «общинное владение землёй» и крестьянство.

Герцен не поднялся до пролетарского, классового, социализма, но его теория «крестьянского» социализма стоит выше учения социалистов-утопистов. Герцен не верил, как это делали социалисты-утописты, в мирное внедрение социализма и звал крестьян к восстанию, однако совершенно справедливо Ленин называет его социализм «прекраснодушная фраза, доброе мечтание...»^{*)}.

За участие в революционном движении Герцен был выслан из Франции. Несколько позже пришло известие из Петербурга о том, что правительствующий Сенат лишил его всех прав состояния и изгнал из России. Герцен, беззаветно любивший свою родину и желавший работать для её счастья, отныне вынужден жить на чужбине. Это поставило его перед лицом тяжёлых, часто неразрешимых трудностей в деле воспитания его собственных детей, которых он страстно хотел видеть передовыми русскими людьми по убеждениям и стремлениям.

Расхождение с европейской буржуазной демократией, а также с русской буржуазной интеллигенцией Герцен переживал, как тяжёлую драму. В литературе о Герцене принято говорить о его духовной драме. Она была, по определению Ленина, «порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата ещё не созрела»^{**)}. Эта духовная драма углубилась и обострилась личными несчастьями, обрушившимися на Герцена вслед за изгнанием его из России.

В ноябре 1851 г. во время паровой катастрофы погибла мать, глухонемой сын Герцена Коля и его воспитатель Шпильман. Перенёсшая безрадостное детство, хрупкая от природы На-

^{*)} В. И. Ленин, Соч., т. XV, стр. 465.

^{**)} Там же.

татия Александровна, надломленная потрясением, заболела и больше не поднялась с постели. 2 мая 1852 г. она скончалась. Невыразимо тяжело переживал Герцен эту невозвратимую утрату. Она наложила неизгладимый след на всю его дальнейшую жизнь.

На руках Герцена осталось трое детей. Они были сиротами вдвойне: они потеряли мать, их лишили родины, вокруг них были чужие люди. Наталия Александровна, умирая, выразила желание поручить воспитание детей жене Огарёва, Наталии Алексеевне. Огарёвы собирались приехать в Европу. А пока девочки жили в Париже у друга семьи, Марии Каспаровны Рейхель, приехавшей вместе с Наталией Александровной и Александром Ивановичем из России.

«У меня, — сказал Герцен в это время, — остались на свете только мои дети и мой труд». Действительно, воспитание детей Герцен считал важнейшим делом своей жизни и борьбы. Он хотел сделать их продолжателями своего революционного дела.

Осенью 1852 г. Герцен переселился в Лондон, где организовал Вольную русскую типографию — первое учреждение бесцензурной русской печати для издания нелегальной литературы и распространения её в России и за границей. Он писал также своё монументальное произведение «Былое и думы», грандиозную эпопею его личной жизни, тесно связанную с историей России.

Герцен очень скучает в это время по девочкам и спешит организовать их переезд в Лондон. Выяснилось, что Огарёвы скоро в Европу не приедут, а М. К. Рейхель не может оставить свою семью, чтобы посвятить себя воспитанию детей умершего друга. Герцену приходится думать о приглашении иностранных воспитателей. «Боюсь этого, — пишет он, — больше, чем укуса бешеной собаки». Однако западноевропейских школ и пансионов он «боялся» ещё больше. Он не мог пойти на разлуку с детьми; они были не только «единственная оставшаяся поэзия» его личной жизни, они должны были вдали от России стать русскими революционерами. Герцен справедливо боялся, что разлука с детьми станет причиной окончательного отторжения их от России, народа, революционной традиции. В этих условиях Герцен пришёл к совершенно правильному решению — дать детям домашнее воспитание. Сохранив за собой руководство этим воспитанием, Герцен уделяет много времени подбору серьёзных, образованных учителей. Научным образованием его сына Александра занимаются крупнейшие учёные: К. Фогт — физиолог, Доливо — анатом, Эйре — физик, революционеры-эмигранты — Доманже, Бокэ и др. Для воспитания девочек к Герцену переезжает на жительство радикально настроенная, солидно образованная немка Мальвида Мейзенбург.

Оказывая на детей серьёзное образовательное влияние, передавая им глубокие научные знания, эти люди не могли, однако, сделать главного. Они не были в состоянии привить детям русского революционера любовь к их далёкой страдающей родине,

создать у них правильное представление о её всемирно-исторической будущности (так прозорливо ощущаемой их отцом), вызвать преданность делу борьбы за освобождение русского народа. Действия Мальвиды Мейзенбург в лондонском доме Герцена вызвали с его стороны серьёзные возражения. Она стремилась внести в семью немецкие бытовые устои и привычки, тот дух «германизма», который всегда был ненавистен Герцену (см. ниже). С приездом Огарёвых разыгрался конфликт на этой почве. Герцен решительно встал на сторону Огарёвой, ибо «с ней, — как писал Герцен М. К. Рейхель, — является: традиция, заветание, родной язык».

М. Мейзенбург передала Огарёвой свои воспитательные функции и оставила дом Герцена. Благодаря его тактичности их деловые и дружеские отношения, однако, продолжались. Мейзенбург позже снова стала воспитательницей младшей дочери Герцена Ольги и употребила своё влияние на воспитанницу во вред Герцену.

С приездом Огарёвых издательская деятельность Вольной русской типографии расширяется. Не довольствуясь изданием сборника «Полярная звезда», Герцен с 1857 г. приступает к выпуску газеты «Колокол». Он организует приток из России статей, заметок, сообщений о происходящих там событиях. Эти корреспонденции и сообщения печатаются Герценом в газете с добавлением составленных им и Огарёвым гневных саркастических изобличений. Герцен систематически разоблачал злодеяния и произвол помещиков, сановников, правительственных чиновников. В России одни боялись этих талантливых, остроумных, метко разящих изобличений, другие восторженно встречали их.

В заметках о жизни русских университетов, воскресных школ, гимназий, памфлетах на чиновников министерства просвещения, революционных обращениях к профессорам и студентам Герцен развернул целую систему требований к переустройству русского просвещения на новых, революционно-демократических началах.

Издательская и литературная работа, поддержка тайных сношений с Россией, участие в делах общеевропейской революционной эмиграции заполняют жизнь Герцена боевым напряжённым трудом и дают ему большое нравственное удовлетворение. «Дело детское» тоже шло и развивалось, хотя в нём было много осложнений. Приезд Огарёвых способствовал разрешению основных трудностей. Присутствие в доме Николая Платоновича Огарёва имело для детей большое положительное значение. Он ежедневно занимался с Сашей, а позже — с Татой. Своим духовным обликом он оказывал на детей огромное влияние в развитии «диапазона благородства», гуманности, преданности интересам русского народа. Он был для детей представителем русской революционной традиции, «второй отец».

Иногда Герцену удавалось привлечь к воспитанию детей других передовых русских людей. Так, в 1857 г. с детьми занимался

приехавший в Лондон Благосветлов, будущий редактор «Русского слова», работавший до этого преподавателем литературы в петербургских военно-учебных заведениях. Позже с младшей дочерью Лизой (матерью которой была Н. А. Огарёва) занимался русский учёный палеонтолог Владимир Онуфриевич Ковалевский. Большой проблемой для Герцена был вопрос о знании и употреблении детьми родной речи. В его «интернациональном» лондонском доме, где собирались буржуазные революционеры всех стран, эта речь, естественно, не всегда могла употребляться.

Отсюда постоянная тревога Герцена за то, чтобы дети владели русским языком и пользовались им в общении друг с другом. Герцен уделяет также много внимания подбору русских учебников, особенно по отечественной истории. По вечерам в доме часто читаются произведения русских писателей, устраиваются праздники, ставятся спектакли. На празднике ёлки 31 декабря 1854 г. Герцен дарит своему сыну русский экземпляр произведения «С того берега» и читает вслух своё «посвящение». Благословляя Александра на революционную борьбу, отец читает сыну: «Лучше с революцией погибнуть, нежели спастись в богачельные реакции» (т. V, стр. 382).

В день 14-летия Александра в домашнем спектакле, разыгранном детьми и их воспитателями, показываются сцены из жизни революционера-отца: клятва на Воробьёвых горах, арест Герцена, расстрел рабочих во Франции в 1848 г. и т. п. Часто в доме читаются лекции, проводятся беседы на научные темы, в которых дети принимают живейшее участие в качестве полноправных лиц. Иногда на этих вечерах Александр, к огромному удовольствию Герцена и Огарёва, читает лекции на естественноведческие темы.

В интересах развития больших художественных способностей старшей дочери Наталии в дом приглашаются крупнейшие деятели мирового искусства. В семье Герцена давал концерты русский композитор пианист Н. Г. Рубинштейн. В 1861 г., когда в Лондоне становится известно о том, что в России опубликован манифест об освобождении крестьян, в доме устраивается большой национальный праздник. Герцен всё время стремится приобщить детей к русской жизни и держать их в кругу русских интересов.

Он часто сетует на себя: «если бы все силы мои не были употреблены на наше дело, я сам мог бы взять в руки побольше воспитания». «Жизнь наша дурно устроена, на долю детей остаётся вечерняя усталость, раздражение дневными делами»; но эти самообвинения вряд ли справедливы.

Жгучее стремление Герцена сделать детей продолжателями революционной русской традиции встречало много трудностей. Чужбина, иностранное окружение людей, мало знающих и понимающих Россию, отсутствие матери, отношения Герцена с Огарёвой, ставшей вскоре по её приезде в Лондон фактической женой Герцена, — всё это осложняло решение поставленной задачи.

Но героические усилия Герцена принесли результат. Сын его

Александр Александрович неоднократно пытался вернуться в Россию. Вопрос об этом ставился перед русским правительством в 1865 г. и не получил положительного разрешения. Сделавшись крупным учёным, он вновь в 1868 г. пытался переехать в Россию вместе со своей женой. На вопросы русского посланника в Берлине он сказал, что, не занимаясь политикой, разделяет взгляды своего отца. Ему опять было отказано. Сын Александра Александровича — Пётр Александрович, известный русский хирург, умерший в 1947 г., выполнил завет своего деда. Живя в России, он как учёный, педагог, общественный деятель способствовал развитию русской науки.

Дочери Герцена тщательно собирали, любовно хранили, позже помогали издавать литературное наследство своего отца.

В общественной деятельности Герцена следует отметить годы накануне крестьянской реформы, когда деятельность русской типографии и издание «Колокола» шли особенно оживлённо. В статьях, посвящённых готовящейся реформе, Герцен колебался между либерально-буржуазным и революционно-демократическим решением вопроса об освобождении крестьян. Возлагая большие надежды на народ в будущем, он считал его неспособным самому решать вопросы освобождения. К этому делу должны быть привлечены, — думал Герцен, — передовые люди из дворянства. Он восторженно приветствовал поэтому либеральные стремления Александра II в первые годы его царствования. Это вызвало обострённые отношения Герцена с последовательными революционерами-демократами, группировавшимися вокруг Чернышевского и Добролюбова и их «Современника», которые считали крестьянскую революцию единственным средством освобождения России.

Против Герцена ополчились также умеренные дворянские либералы; они не прощали изгнаннику его атеизма, социалистических убеждений, обличительных выступлений и защиты польского восстания 1863 г.

Герцен был интернационалистом. Он считал, что национальную рознь в будущем «выполет социализм снятием земных границ» (т. IX, стр. 465). Он видел, что «императорская», «деспотическая Россия» не может создать условий для развития Польши. Другое дело Россия социалистическая. «Желаем ли мы, чтобы свободная Польша отторглась от свободной России?» — спрашивал Герцен и отвечал на этот вопрос: «Глубоко ненавидя всякую централизацию, я убеждён, что соплеменные федерализации дают среду государственную несравненно более широкую, чем раздробление одного рода на отдельные части» (т. IX, стр. 463), но такое «федеральное соединение», — считал Герцен, — «должно быть вольным даром» (там же). Исходя из этого, он признавал за поляками, как за любой другой нацией, «полное право на всяческую автономию от России» (там же).

Эта позиция Герцена вызвала в буржуазно-помещичьих кругах, объятых шовинизмом, резкое к нему отношение.

В этих условиях влияние «Колокола» стало резко падать. С 1865 до 1867 г., когда её издание прекратилось, газета печаталась в Женеве. В 1868 г. Герцен возобновил издание «Колокола» на французском языке с особыми «русскими прибавлениями».

К концу своей жизни Герцен изжил свои либеральные надежды, выступил резким обличителем Александра II и верил только в революционное преобразование России.

Теперь он считал, что народ нельзя освободить, не привлекая его к участию в собственном освобождении. Герцен предчувствует появление на мировой арене новой активной социальной силы — рабочих: «революционером, — говорит он, — является уже не гугенот, не протестант, не либерал, а работник» (т. VIII, стр. 37).

Указывая на рабочих как на силу будущей революции, Герцен продолжал считать общинное устройство крестьянской России основой её будущего социалистического преобразования.

Мощный ум Герцена, его исключительная воля к жизни и любовь к России противостояли всем общественным и личным трудностям его жизни. До конца своих дней он продолжал служить своей горячо любимой родине. Он ушёл из жизни с глубокой верой в то, что Россия совершит свой революционный переворот и укажет миру форму новой социальной жизни.

Умер Герцен 3 февраля (н. ст.) 1870 г.

Педагогические высказывания Герцена, как уже указывалось, тесно связаны с его мировоззрением.

В своих первых философских статьях: «Письма об изучении природы» и «Дилетантизм в науке» он отмечал отрыв тогдашней официальной науки от жизненных потребностей общества. Он требовал предоставить науке «действительный голос в действительных областях жизни». Он страстно желал довести научные выводы до сознания народа, распространить научные знания в широких народных массах. Демократизации науки в России противодействовали в это время помещики-крепостники во главе с царизмом, проводящим антинародную просветительную политику. Борьба Герцена за развитие и демократизацию науки и просвещения срасталась с освободительной борьбой против самодержавно-крепостнического строя.

В высказываниях Герцена содержится много чрезвычайно глубоких и интересных мыслей о развитии просвещения в России в XVIII и первой половине XIX в. Он называет этот период «петербургским» периодом истории русской культуры, имея в виду, что в эту полутравековую эпоху руководство просвещением находилось в руках дворянской монархии, избравшей своей резиденцией Петербург. Герцен даёт революционно-демократическое освещение истории развития в России дворянской культуры.

Дворянский период русской культуры открывается в начале XVIII в. глубоко прогрессивными, исторически важными, по мнению Герцена, реформами Петра I, сделавшего «много для развития материальных и умственных сил» России.

Но Герцен видел и другую сторону петровских преобразований, охватывавших главным образом дворянство: само овладевая культурой и наукой и оставляя народ попрежнему в темноте и невежестве, оно всё больше от него отдалялось.

Культура и наука, развиваясь в России после петровских реформ более быстрыми темпами, способствовали техническому и культурному прогрессу страны. Однако основы материального и политического существования народа не изменялись. Наоборот, царь расширял и укреплял крепостнические отношения, что служило базой для отдаления России «петербургской», т. е. помещичье-чиновной, от «Руси крепостной», «Руси рудников», т. е. крестьянства и крепостных, работавших на фабриках.

Герцен указывает на внутреннюю противоречивость процесса развития русского просвещения. Царь, создавая школы, университет, академию, расширяя средства технического образования, стремился достигнуть прежде всего материального эффекта.

Однако в науке была и другая, духовная, идеологическая сторона, и, развиваясь, она способствовала росту не только техники, промышленности, но и духовного самосознания русского общества.

Вопреки желанию дворянства, просвещение распространялось и в других сословиях, расширяло сознание людей, счастливо достигших образования.

Герцен считает, что в конце XVIII в. развившееся общественное сознание России противопоставило себя правительству в лице Ломоносова, Радищева, Новикова и других деятелей. Эти люди стремились к распространению просвещения среди непривилегированного населения. Своей деятельностью они показали, что в русской интеллигенции зреют силы, не согласные с просветительной политикой дворянского правительства.

Наметившееся расхождение обозначилось особенно резко в конце царствования Александра I — после 1812 г., оказавшего, по свидетельству Герцена, огромное влияние на рост национального самосознания русского общества. «Невелик, — говорит Герцен, — промежуток между 1810 и 1825 гг., но между ними находится 1812 г. Россия за это время поверила в свои силы и увидела себя освободительницей Европы. Но не захватнические идеи наполнили сердце русских людей восторгом, а законная гордость за свои гуманистические силы».

Результатом 1812 г. Герцен считает рост прогрессивных идей в русском обществе, его желания узнать свой героический народ, помочь ему в его тяжёлой доле, просветить его республиканскими идеями. Крепостники во главе с царём Николаем I выступили с репрессивными мероприятиями.

Герцен говорит о Николае I, что он «рассчитывал удержать могущество Петра I, отрицая его принцип, его идею» (т. VIII, стр. 415). Пётр I развивал просвещение, Николай I боролся с ним. «Император Николай, — говорит Герцен, — увидел, что с образованием больше идти нельзя, не утратив доли деспотического произвола, и отрёкся от него, т. е. не от деспотизма, а от образования». Герцен совершенно справедливо указывает на то, что во второй четверти XIX в. дворянская просветительная политика, имевшая до сих пор в виду задачи материального прогресса, теперь была направлена в первую очередь на укрепление самодержавно-крепостнической идеологии. Ярко, образно и талантливо рисует он картину борьбы реакционного дворянства и Николая I с передовыми людьми России, литературой, просвещением, учебными заведениями, студентами и гимназистами. Эта борьба кончилась, по мнению Герцена, только внешне в пользу самодержавия. Впечатление победы самодержавия, — говорит Герцен, — было обманчивым. Ибо «Николай заставил Россию замолчать, но он не мог её заставить говорить так, как ему хотелось».

Величайшая заслуга Герцена в том, что он назвал истинных двигателей культуры и просвещения в России первой половины XIX в. Герцен говорит о положительном воспитательном влиянии русского народа на подрастающее поколение. Он убедительно показывает, что именно крестьянство, придавленное ярмом крепостничества и отторгнутое дворянской политикой от просвещения, обеспечивает русскому воспитанию подлинно народный характер.

Лучшие люди из дворянства, получившие научное образование и владеющие передовыми идеями мировой науки, воспринимают от народа его социальные идеалы о несправедливости крепостного права, о «праве крестьян на землю». У народа они учатся по-настоящему любить свою родину.

В своих художественных произведениях: «Записки одного молодого человека», «Былое и думы» Герцен на примере как собственного воспитания, так и воспитания близких ему людей — Наталии Александровны Захарьиной, Николая Платоновича Огарёва — показал причины близости детей к народу. Они лежат, — говорил Герцен, — в естественном тяготении слабых и беззащитных друг к другу, в их стремлении дать совместный отпор поработителям. В крепостной России дети были часто, по мнению Герцена, жертвой родительского произвола, как крестьяне — помещичьего. И это приводило к тому, что некоторые наиболее чуткие, стремящиеся к справедливости и независимости дворянские подростки выносили из общения с народом не презрение к нему или равнодушие к его судьбе, а ненависть к его притеснителям.

Герцен решительно считал, что иностранные гувернёры и учителя, как правило в своей массе неверно представляющие

себе Россию, вредно влияют на русское юношество. Смутно почувствовав это в юности, Герцен не раз возвращался к этой мысли в зрелом возрасте. Критически отзываясь о системе воспитания немкой Мальвидой Мейзенбург его дочери Ольги, он восклицает: «Русская история, преподаваемая Доманже (нет ни одного француза, который бы понимал смысл этой истории)!» Герцену, считавшему главной задачей отечественного воспитания передачу детям любви к родине, создание у них правильного представления о роли русского народа в истории и будущем своей страны и Европы и чувства гордости за него, казалось, что в его время выполнить эту роль способны только русские учителя и воспитатели.

В произведениях Герцена талантливо и остро охарактеризованы отрицательные персонажи русского просвещения: его руководители — чиновники (например, меценат и директор гимназии в романе «Кто виноват?»), невежественные, опустившиеся учителя (коллеги Круциферского в том же романе, преподаватели гимназии гор. Манилова в «Записках одного молодого человека») и т. д. В образной, сатирической, порой гротескной форме Герцен пригвоздил к позорному столбу этих тупоумных проводников консервативно-дворянских влияний в учебных заведениях России.

Но он глубоко сочувствует деятельности тех домашних учителей, преподавателей учебных заведений, профессоров университетов, которые передавали своим ученикам истинно гуманистические воззрения и передовые научные взгляды.

В том же романе «Кто виноват?» он очень положительно отзывается о русских гувернантках из дворовых девочек, оканчивающих один из московских пансионов, симпатизирует мечтательному, честному учителю провинциальной гимназии Круциферскому. В «Былом и думах» он с исключительной теплотой рисует образы русской воспитательницы Наталии Александровны и своего учителя И. Е. Протопопова.

Герцен указывает на то, что Николай I встретился в России с оппозицией царской реакционной деятельности в области просвещения. Эта оппозиция, «раздавленная в газете... возрождалась на университетской кафедре; преследуемая в поэме, она продолжала своё дело в курсе естественных наук». По мнению Герцена, оппозиция проникла в учебные заведения России: «дортuary молодых институток, в залы военных упражнений в кадетских корпусах и в залы богословских диспутов в семинариях» (там же). Он указывает на русских учителей и профессоров как на некоторую силу, противодействующую царизму в распространении реакции. Несколько преувеличивая массовость этой оппозиции, он говорит: «Учителя лицеев, гимназий, кадетских корпусов были одиночками стражами, неизвестными пионерами великой гуманитарной пропаганды».

Герцен указывает на те русские учебные заведения, которые

сыграли наряду с революционными кружками, передовыми журналами, литературными произведениями русской классики большую роль в формировании молодёжи, в частности много сделал в этом отношении до восстания декабристов дворянский царскосельский лицей. Особенно подчёркивает Герцен роль Московского университета, называя его «Севастополь русской науки». Этим образным сравнением светоча русской науки с героическим городом, выдержавшим в 1855 г. длительную осаду иностранцев, Герцен оттеняет силу и твёрдость сопротивляющегося университета, подвергаемого Николаем I на протяжении всего его царствования длительному тридцатилетнему гонению.

Герцен, как и многие другие передовые люди России, видел, что в его время царизм для борьбы с русским просвещением часто вербует своих слуг из немцев.

Преклоняясь перед произволом, они рьяно и усердно поддерживают самый тяжёлый деспотизм. Ненавидя всё славянское, относясь с высокомерным презрением к русскому, немцы, состоящие на службе у русского правительства, быстро завоевывают его доверие своей аккуратностью, пассивным послушанием, жестоким отношением к русскому народу. «Немецкая часть..., начинаясь подмастерьями, мастерами, газелями, аптекарями, немцами при детях (подчёркнуто нами — М. Ш.) ..., быстро взползает по отлогой для неё лестнице — до немцев при России...», — говорит Герцен.

Выражая мнение лучших людей своего времени, Герцен видел в Пруссии и прусском влиянии на царский двор один из источников реакционной, деспотической и тупоумной политики Николая I. Это влияние осуществляется в России, — говорит он, — гувернёрами, учителями, учёными из немцев и онемеченными русскими правительственными чиновниками, часто вербуемыми в прибалтийских губерниях. Эти люди стремятся через воспитание подавить в детях всё русское, национальное. Они добиваются онемечивания русских людей, привития им презрения к своему народу, создания у них представления неполноценности русской нации и закономерной якобы подчинённости русской государственной политике воле иноземных крупных держав и в первую очередь Германии.

Выросший в дворянской аристократической семье, хорошо информированной о закулисных событиях дворцовой жизни правившей Россией династии Романовых, тесно переплетённой родственными узами со многими немецкими княжескими фамилиями, Герцен с ожесточением говорит о проникновении в государственную политику русских царей семейных интересов немецких князей. Многое в этом ожесточении принадлежит своему времени, однако надо отметить в целом глубоко справедливое возмущение революционера-демократа Герцена антинародным характером дворянской просветительной политики.

Герцен был хорошо знаком с постановкой воспитания и об-

разования в Европе. Подвергнув критике буржуазную культуру и цивилизацию, он не обошёл молчанием и деятельность европейских учебных заведений. Он отмечал проникновение в них политической реакции как следствие борьбы с революционными настроениями 1830 и 1848 гг. ... «В Пруссии, Баварии и Гессене, — свидетельствует Герцен, — в школах запрещено ученикам давать Шиллера». Вообще в Германии «свобода преподавания» сделалась «мифом». Но не только в Германии школьное преподавание подвергается стеснению, «во Франции запрещают в училищах не только чтение древних писателей и энциклопедистов, но и Фенелона».

Столкнувшись с необходимостью выбора воспитательных заведений для своих детей, Герцен ознакомился со многими школами и дошкольными учреждениями в разных странах Европы и остался о них очень невысокого мнения.

Вынужденный всё же использовать эти учреждения, Герцен всякий раз быстро должен был брать детей обратно. Так было с глухонемым Колей. Он воспитывался некоторое время в лучшем швейцарском институте для глухонемых детей, где администрация, узнав, что отец мальчика не сиятельный граф, а опальный человек, стала всячески преследовать воспитанника. Дочь Ольгу, отданную по рекомендации друзей в прославленный пансион Фрейлиха, пришлось возвратить в семью, как только Герцен сам воочию увидел холодность, чопорность, бездушные педагогов этого учреждения. Так же очень кратковременным было посещение Лизой детского сада Швейцарии, считавшегося там лучшим.

Во всех этих учреждениях на Герцена производили гнетущее впечатление крайняя политическая отсталость воспитателей, их бездушные, формальное отношение к детям. Особенно нетерпимо относился Герцен к мещанским, эгоистическим, узко-личным идеалам, прививаемым здесь детям. Очень сильно оберегал он также своих дочерей от распространённых в Европе мелкобуржуазных воззрений на роль женщины, на основы семьи и брака.

Не меньшее возмущение вызывали в нём некоторые традиции английского воспитания. Под «наносным слоем современного образования» он видел там много косного, отжившего. Поколение за поколением повторяло здесь «условную и неловкую жизнь, храня обряды, боясь перемен». Он отмечает «уничжительное положение» в английском обществе учителей и гувернанток. Он говорит, что положение учителей в «свободной», культурной Англии можно обрисовать теми же словами, «что мы слышали в детстве» о «жизни мамзелей и мадам в стенных провинциях наших».

Но Герцен видел не только отрицательные стороны. Он часто бывал в Швейцарии, в одном из кантонов которой был натурализован. С большой симпатией отзывался он о той «демократической простоте», которая характеризовала отношение кантональных властей к своим школам, к учащимся. Описывая

торжественные швейцарские празднества, посвященные окончанию учебного года в школах, он крайне неодобрительно отзывался об официальных, холодных, годичных актах учебных заведений России. Ему нравился народный характер школьных праздников Швейцарии.

Не сплошное опровержение всего неродного, иностранного руководило Герценом в его критическом отношении к западноевропейскому просвещению, а разумная требовательность революционера и социалиста.

Но Герцен подверг критике не только отрицательную практику западноевропейского воспитания, он выявил также слабые, уязвимые места педагогической мысли России и Европы XVIII и XIX вв. В своём педагогическом романе «Кто виноват?» он сделал сознательную попытку показать жизненную несостоятельность педагогических идеалов его времени. В его лице русское общество выступило с критикой индивидуалистической концепции воспитания, стремления педагогики и педагогов удалять детей от общества для спасения их от его якобы разлагающего влияния.

Человек, воспитанный, как главный герой романа «Кто виноват?» Бельтов, изолированно от жизни, никогда не видевший конфликтов, столкновений различных людей, не наблюдавший чужих страданий и не знавший собственных, не в состоянии в будущем бороться за свои идеалы. Он не умеет распознавать и побеждать своих врагов, проявить силу, закалённость, моральную стойкость. Встречаясь с действительностью, он трусит перед ней.

Герцен стремился сделать воспитание активным фактором преобразования русской жизни, придать ему жизненную силу и действенность. Этому мешали сантиментально-романтические, восторженно-мечтательные идеалы, проповедуемые западноевропейской педагогикой, проводником идей которой в романе является воспитатель швейцарец Жозеф, а также мать Бельтова. Они ввели Володю в заблуждение относительно настоящей сути жизненных отношений. Бельтов не умел «разбирать связный очерк живых событий». «Он был разобщён с миром...» Когда он подрос, то увидел, что «в жизни всё оказалось не так, как в словах Жозефа». Восторженный, беспочвенный мечтатель Жозеф жил индивидуальной, внутренней, созерцательной жизнью. Он сознательно сторонился жизненных повседневных отношений с людьми. Он проповедовал добро, не видя в мире виноватых. Он звал быть гуманным по отношению ко всем людям. Сам не зная действительности, Жозеф воспитал Бельтова так, что тот не сумел применить себя ни к какой практической деятельности. Это было убийственным приговором тому воспитанию, которое дали Бельтову его мать и Жозеф, искренно стремившиеся формировать своего воспитанника с помощью педагогической теории Европы — Руссо, Р. Оуэна, Песталоцци. Вскрытие несостоятельности этих теорий было у Герцена шагом на пути преодоления его

юношеской романтической экзальтации. Критикуя эти теории, он выдвигал вопрос о революционной демократической педагогике.

Герцен считал, что в его время надо заниматься не мирной проповедью неизбежного наступления лучшего будущего, а борьбой с тёмными силами — русскими крепостниками и западноевропейскими предпринимателями — за утверждение социализма.

Герцен приветствовал социалистическую деятельность Роберта Оуэна, с которым он познакомился в Англии в 1852 г. Русский революционер-демократ отозвался с симпатией об опыте английского социалиста, организовавшего в Нью-Ленарке социалистический эксперимент. В своих мероприятиях по улучшению условий жизни рабочих, их воспитанию и перевоспитанию Р. Оуэн обратил огромное внимание на воспитание детей рабочих. Он открыл школу, дошкольную площадку и развернул внешкольные мероприятия. Герцен глубоко сочувствовал также атеизму Оуэна, который считал религию главным препятствием к гармоническому развитию людей нового общества, и испытывал огромное нравственное удовлетворение от сознания, что Нью-Ленарк «костью стоит в горле людей, постоянно обвиняющих социализм в утопиях», что люди самого различного служебного ранга и общественного положения выходили «с удивлением и благоговением из школы» Оуэна. Герцен понимал, что школа и педагогические учреждения Нью-Ленарка были важнейшим и начальным звеном всех мероприятий Р. Оуэна, переоценивавшего силу воспитания.

Но Герцен был глубоко не согласен с основными положениями утопической теории Р. Оуэна, гласившими, что «главный путь водворения нового порядка — воспитание» и что человек — пассивный продукт среды. Он возражал против грубо механистического представления о предопределённости человеческой истории и людских поступков, сформулированного Р. Оуэном и положенного им в основу его практической деятельности.

Герцен решительно настаивал («мы ужасно напираем») на том, что события, повороты, изменения истории не делаются сами по себе, их делают люди, которые не являются рабами обстоятельств, которые не «нити и иголки» в руках «фатума истории». Человек не только продукт среды, но он и сам воздействует на неё, преобразует, изменяет обстоятельства жизни. В своей статье о Р. Оуэне Герцен говорит об активной революционной деятельности по преобразованию среды.

«Люди переделывают, — пишет он, — не только природу, но и историю». Человек, изучая историю, вглядываясь «в приливы и отливы волн, его несущих», изучая ритм их колебаний, открывает «себе бесконечные фарватеры». Герцен подчёркивает, что когда человек понимает своё положение в истории, он вырастает в рулевого, гордо рассекающего волны своей «лодкой». Человек в истории и «лодка, и волна, и кормчий», — говорит Герцен, поправляя Р. Оуэна, считавшего человека пассивным продуктом среды.

Герцен очень сочувственно оценивает революционную деятельность вождя «заговора равных» во Франции в 1796 г. Гракха Бабефа. Русского революционера-демократа сближает с французским предшественником научного коммунизма понимание истории не как школы, в которой, как думал Р. Оуэн, люди постепенно просвещаются, а как арены борьбы людей.

Однако Герцен не осознавал того, что преобразующей исторической деятельностью является деятельность передового класса, что пролетариат является социальной базой будущего общества. Свою статью о Р. Оуэне Герцен заканчивает таким ответом на вопрос собеседника: «Теперь вы понимаете, от кого и кого зависит будущее людей, народов?

— От кого?

— Как от кого... да от нас с вами, например.

— Как же после этого нам сложить руки».

Указывая на огромную силу воспитания, которое прививает «человеку историю и современность», т. е. всё то, что накопило человечество в своём развитии, Герцен в отличие от Р. Оуэна был, однако, далёк от приписывания ему ложной, не присущей силы. Материалистическое представление Герцена о роли воспитания было выше утопических представлений об иллюзорной силе воспитания.

Критикуя социально-педагогические взгляды утопистов, Герцен, однако, не поднялся до понимания роли передового класса — пролетариата в переустройстве мира на социалистических началах. Он говорил об индивидуальной деятельности людей в общественной жизни. Классовая ограниченность Герцена — дворянского революционера, постепенно переходившего к революционному демократизму, обусловила идеализм его взглядов на развитие общества.

Герцен считал главной задачей воспитания создание свободной творческой личности, активно действующей в человеческой истории.

Характеризуя путь воспитания нового человека, он говорит о теснейшей связи с народом, его интересами, стремлениями, социальными, нравственными идеалами. Герцен настаивает на использовании в воспитании примера трудовой настроенности простых людей. Он указывал на развращающее влияние на детей праздной жизни высших сословий. Он не мыслил себе совершенствования и развития человека вне напряжённой трудовой умственной и физической деятельности. Чрезвычайно поучительна в этом отношении его постоянная забота о предохранении собственных детей от тлетворного влияния пустой, праздной светской жизни. Будучи достаточно обеспеченным человеком, он постоянно требует от детей ограничения потребностей, отдаления от людей, бесцельно мотающих средства, нажитые чужим трудом. Гневный обличитель буржуазных идеалов стяжательства, умеренности, скопидомства, Герцен прививал своим детям пред-

ставление о том, что основой жизненного благосостояния человека должен быть его личный труд, приносящий пользу обществу.

В своих автобиографических произведениях Герцен показал огромную роль общественных интересов в воспитании молодёжи и подростков. Они направляют и определяют нравственное развитие человека. Возникшее у подростков стремление отдать себя высоким идеям борьбы за свободу и счастье народа облагораживает повседневную жизнь молодых людей, предохраняет их от безнравственных поступков. Патристические и гуманные идеи, правильно преподносимые воспитателями, легко прививаются, по мнению Герцена, молодёжи, они отвечают её склонностям к романтическому и возвышенному.

В посвящении себя общему делу Герцен видел естественный образ жизни человека. «Быть человеком в человеческом обществе — вовсе не тяжкая обязанность, а простое развитие внутренней потребности; никто не говорит, что на пчеле лежит священный долг делать мёд; она его делает потому, что она — пчела» (т. V, стр. 21).

Общечеловеческую активность личности Герцен понимал как революционное разумное деяние человека по изменению старого и построению нового. Вопрос о воспитании революционности в детях, привития им черт и качеств будущих революционеров много занимал Герцена.

Всю свою жизнь он звал из своего изгнания русскую молодёжь к революционной работе. Стремился познакомить своих детей с деятельностью Вольной русской типографии, с международным революционным движением и его деятелями. Он стремился передать им русские революционные традиции, объяснял им происходящие события. Когда дети уезжали из Лондона, он регулярно высылал им «Колокол» и другие русские издания.

К числу важнейших черт революционера Герцен относит принципиальность в убеждениях, поступках, отношении к самому себе, друзьям и всем окружающим. Примеры разрыва Герцена с друзьями Аксаковым, Грановским, Кетчером и т. д. делали особенно убедительными его высказывания о принципиальности человека.

Он стремился воспитать у собственных детей принципиальное отношение к людям и делам. Когда его сын увлёкся дочерью одного богатого человека, нажившего средства буржуазно-предпринимательскими путями, Герцен предупреждает сына: «я с этими людьми ничего общего иметь не хочу, кроме внешней учтивости». Он говорит, что, конечно, преступления отца не переходят к детям, но нельзя их и прощать ради детей. Он говорит сыну, что нравственная чистота даёт человеку силу и покой.

Интересно также обращение Герцена к сыну по поводу возможной встречи последнего с приехавшей в Европу четой помещиков, на родине гнусно обращающихся со своими крепостными: «Ник. Серг. Толстой человек пустой, а жена его мерзавка; её

люди хотели убить за жестокое обращение. Поэтому их знакомство отклони и всякий раз брани при них злодеев-помещиков». Умение Герцена пронизать принципиальностью все отношения к людям и делам, а также оттенить и показать детям принципиальный подход к обыденным вещам заслуживает самого пристального внимания советской педагогики.

Герцен умел показать детям необходимость и радость борьбы за правду, истину, даже если это влечёт за собой личные осложнения и неприятности. Конкретными примерами звал он своих детей убедиться в том, как хорошо чувствует себя человек, не поступившийся ради выгоды и личной пользы своими убеждениями. Этим объясняется высокая оценка Герценом произведения Ж. Занд «Грибуль» (отзыв его о котором мы помещаем здесь) и его постоянное стремление использовать образ Грибуля как средство педагогического воздействия на детей.

Интересно также в этом отношении его письмо к 12-летнему сыну. Герцен призывает мальчика к мужественной борьбе за правду — «стой за свою истину... а там что бы ни вышло...»

Считая одной из основных задач воспитания создание у детей общечеловеческих стремлений и интересов, Герцен требовал воспитания у детей патриотической настроенности, любви к родине и её народу.

«Национальная физиономия» придаёт, по его мнению, «цвет, стремление» всему облику человека, окрашивает особенными чертами личность человека и его деятельность.

Известно, как страстно стремился Герцен видеть своих детей продолжателями своего дела, русскими революционерами. Можно с уверенностью сказать, что тревога о том, чтобы они развились как русские люди, занимала не меньшее место в его жизни, чем деятельность Вольной русской типографии. Своим дочерям он постоянно твердит, что хочет видеть их прежде всего русскими девушками. С тем же обращается он к сыну. «Ты никогда не забывай, что ты должен быть русским», — говорит он, когда сыну исполнилось 12 лет. «Неужели у тебя недостаёт любопытства узнать, положить пальцы в раны родной страны», — спрашивает он его по получении Александром Александровичем звания доктора медицины.

Он с большим удовлетворением отзывается о развитии старшей дочери Таты, к которой легко прививается всё русское, «наша форма», как говорит Герцен. Наоборот, ему очень тревожно за младшую Ольгу, рождённую Наталией Александровной за границей, не помнящую мать и воспитанную иностранцами.

«Мне как-то страшно особенно за Ольгу, она совсем перестаёт быть русской», — пишет Герцен. Вся эта деятельность Герцена, как отца-воспитателя, направленная к развитию в детях чувства любви к их далёкой родине, имеет не только биографический интерес. Хотя патриотизм Герцена отличен от советского

патриотизма, здесь много сказано интересного по вопросу о воспитании у детей любви к родине.

✓ Герцен придавал огромное значение правильному развитию психических качеств и свойств личности. Он рассматривал стремление человека к действию не только исходящим от разума, но и от сердца. Он, как и Белинский, по-новому для всей тогдашней педагогики ставил вопрос о взаимоотношениях мышления, чувства и воли человека. Он выдвигал требование примирить сердце и разум, чтобы человек находил в своей общественной деятельности «наслаждение, как в образе действия, наиболее естественном ему» (Избр. философ. соч., стр. 141). В романе «Кто виноват?» Герцен, говоря о неприспособленности Бельтова к практической деятельности, широко ставил проблему воспитания воли. Воля, как способность к действию, необходимо должна быть, по его мнению, развита в человеке. Без этого он не может проявить себя и стать настоящим революционером. В вопросах воспитания воли высказывания Герцена во многом сходились с взглядами Белинского. Эти высказывания представляют исторический интерес и для нашей эпохи.

Выступая с оригинальной, глубокой постановкой вопроса о целях воспитания, Герцен требовал нового содержания умственного образования.

«Без естественных наук нет спасения современному человеку», — говорит Герцен. Демократизм и социализм Герцена тесно сочетались у него с атеизмом и материализмом. Герцен страстно боролся с проникновением религии в воспитание детей. Он считал атеизм необходимой чертой образованного человека и особенно настоящего революционера.

Он придавал исключительно большое значение изучению детьми наук о природе. Естественные науки наполняют ум человека истинным научным содержанием. Они создают и воспитывают в человеке ряд важнейших качеств.

«Никакая отрасль знания не приучает так ум к твёрдому положительному шагу и смирению перед истиной, к добросовестному труду... как изучение природы». И, продолжая защиту естествознания, Герцен говорит, что с него надо начинать воспитание для того, «чтобы очистить отроческий ум от предубеждений, дать ему возмужать на этой здоровой пище и потом уже раскрыть для него, окрепнувшего и вооружённого, мир человеческий... из которого двери отворяются прямо... в собственное участие в современных вопросах».

Герцен высказывал эти мысли, когда науки о природе занимали самое незначительное место в учебных планах тогдашних учебных заведений.

Он составил несколько специальных педагогических произведений по вопросу изучения детьми природы и естественных наук. Это глубоко содержательные, очень свежие для своего времени «Разговоры с детьми» и «Беседы с молодыми людьми». Эти

статьи свидетельствуют об умении Герцена говорить с детьми на сложные темы строго научно и вместе с тем живо, увлекательно, с учётом их возрастных особенностей и запросов.

Приведём как пример разговор Герцена по вопросу о материальности души, об единстве души и тела.

«Так, вопрос: может ли душа существовать без тела? — говорит Герцен, — заключает в себе целое нелепое рассуждение, предшествовавшее ему и основанное на том, что душа и тело — две разные вещи. Что сказали бы вы человеку, который бы вас спросил: может ли чёрная кошка выйти из комнаты, а чёрный цвет остаться? Вы его сочли бы за сумасшедшего, а оба вопроса совершенно одинаковые».

Подобных примеров обращения к детям, остроумных по форме, глубоких по содержанию, доступных для читателей, чрезвычайно много в этих произведениях.

У Герцена имеется много интересных высказываний о методах обучения.

Учение — не пассивное усвоение добытого другими, а процесс активной умственной самостоятельности. Он возмущается тем, что в школах «мысли, суждения» «прививаются, как оспа», что дети с молоком матери всасывают «готовые истины». Настоящие знания, по его мнению, являются результатом глубоких размышлений, процесс их приобретения не заканчивается в школьном возрасте.

В своих беседах с молодёжью по вопросам естествознания, о которых мы говорили выше, он так обращается к читателям: «Мне хотелось бы не столько сообщить вам сведения, дать ответы на ваши вопросы, как научить вас спрашивать». Человек учится и по окончании школы, вглядываясь в жизнь, осознавая законы действительности.

Его глубоко волновал вопрос не только о том, что должны знать дети. Не меньшее значение имеет то, как они получают знания. Есть ли в этом процессе их собственный труд. Напрягали они или нет внимание, память, размышление. К задачам образования он относил необходимость воспитания увеличивающегося интереса к умственному совершенствованию. Поэтому Герцен много говорит о самостоятельном чтении детьми художественной и научной литературы. «Самое колоссальное орудие многостороннего образования — чтение».

В этом отношении очень интересны его мысли в письмах к сыну и дочери, а также его высказывания по этому вопросу в «Записках одного молодого человека».

Герцен осуждал учебные методы, применяемые к нему иностранными учителями, задававшими «от сих до сих пор» («отмечали ногтем в истории Шрекке»). Он говорил об огромном значении для умственного развития детей живой беседы учителя, его приёмов, стимулирующих понимание и осознание учениками сообщённых знаний.

Мы приглашаем наших читателей с глубоким интересом отнестись ко всем этим мыслям Герцена, не потерявшим, с нашей точки зрения, своего значения и для настоящего времени.

Не менее актуальный интерес представляют высказывания Герцена о дисциплинированности как одном из главных качеств личности и дисциплине как необходимом условии воспитания. «Без дисциплины, — говорит Герцен, — нет ни спокойной уверенности, ни повиновения, ни способа оградить здоровье и предупредить опасность».

Во времена Герцена в России была популярна теория Руссо и его последователей о свободном воспитании детей. В произведении «Былое и думы» (глава «Кетчер») Герцен сообщает, что, будучи очень любящим и нежным отцом, он считал нужным требовать от ребёнка подчинения. Между Герценом и его тогдашним другом Кетчером было много споров на эту тему. В этих спорах Герцен занимал твёрдую позицию предъявления детям определённых требований, вытекающих из правил общежития.

Эту линию Герцен последовательно и твёрдо проводил в отношении своих детей и тогда, когда ему пришлось приглашать к ним иностранных воспитателей.

Чрезвычайно интересно, что в спорах с М. Мейзенбуг о проблемах введения в воспитание «русского элемента», привития детям русского склада характера и привычек Герцен настаивал на воспитании в детях дисциплинированности. Он упрекает Мейзенбуг в невнимании к внешней выправке. «Мейзенб. плоха во внешней выправке: по серонемецкому уму она считает это за вздор и дисциплины держать не умеет», — пишет он в письме к М. Р. Рейхель. Нескольким позже он пишет самой Мейзенбуг: «Я об этом много думал в течение двух лет и должен признать, что предоставление свободы — дело опасное и вредное; лесть, предпочтение, снисходительность быстро развращают ребёнка».

Он считает, что с малых лет ребёнок должен приучаться себя ограничивать. Иное воспитание только развращает ребёнка.

Педагогические мысли Герцена содержательны, глубоки и актуальны для своего времени.

Он решал педагогические вопросы, поставленные его современностью, с позиций передовой научной теории, руководствуясь революционными требованиями, и бесспорно оказал большое влияние на развитие в России педагогической мысли, теории и практики воспитания. Отзвуки идей Герцена мы найдём у всех русских педагогов 60-х годов XIX в.

До Великой Октябрьской революции учение Герцена преследовалось в России. Его сочинения доходили до русских людей нелегально или в укороченном, неполном виде. Произведения, написанные в период пребывания за границей, были изданы только после 1905 г. с большими цензурными пропусками. О педагогических взглядах Герцена, о его деятельности как

отца-воспитателя серьёзных работ не было. Педагогические высказывания отдельно не издавались.

Наша работа продолжает начатые советскими педагогами исследования классического наследства русской педагогики и в частности педагогических высказываний Герцена.

В настоящем издании впервые печатаются избранные педагогические высказывания Герцена.

Мы уверены, что советский учитель найдёт в них много свежего, интересного, поучительного.

М. Шабеева





РАЗДЕЛ I

ОТРЫВКИ ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ ИЗ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Пояснения к 1-му разделу

Основное содержание первого раздела данного сборника составляют отрывки из произведения Герцена «Былое и думы», в которых изложены педагогические взгляды писателя.

«Былое и думы» — величайшее произведение мировой мемуарной литературы. В нём Герцен с исключительным мастерством, блеском, оригинальным талантом дал своеобразную «хронику» своего времени. В «Былом и думах» рассказывается о важнейших событиях русской и мировой истории со времени Отечественной войны 1812 г. до кануна Парижской Коммуны — 1870 г. Герцен с исключительной глубиной и предельной правдивостью описал общественную и политическую жизнь России, Франции, Англии, Германии, Швейцарии. Он уделил здесь огромное внимание вопросам воспитания и образования. Описывая собственное воспитание и близких к нему людей, Герцен остро и метко характеризует отношение к воспитанию офранцузенных русских помещиков (семья Яковлевых), онемеченных руководителей русского просвещения (Уваров) и немцев — профессоров русских университетов (Гейм и др.). Он ярко показал отрицательное влияние, оказываемое на воспитание русской молодёжи, учителей, гувернёров и профессоров из иностранцев. Пользуясь приёмами художественно-публицистического бытописания, собственного формирования, Герцен прекрасно выявляет те факты русской жизни, которые способствуют воспитанию в детях патристической и революционной настроенности (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, ожесточённая борьба Николая I с передовыми людьми России). Проникнутый глубокой любовью и признательностью к Московскому университету, Герцен указывает на особую роль этого учреждения в развитии отечественной науки и формировании революционных настроений молодёжи. Трудно найти другое произведение русской литературы, в котором бы так убедительно, как это сделал Герцен

в «Былом и думах», была показана положительная роль русского народа (хотя и задавленного ярмом крепостничества) в деле формирования передовых социальных идеалов у подрастающего поколения.

В главах произведения «Кетчер», «Р. Оуэн» читатель вводится в круг педагогических проблем, актуальных для мировой педагогики, широко дискутируемых в среде передовой русской интеллигенции. Из фактов, правдиво зафиксированных Герценом и мастерски им переданных, читатель видит, что передовые русские люди, зная в совершенстве западноевропейские теории, имели по существенным педагогическим вопросам собственную точку зрения (роль и значение воспитания в переустройстве общества, место гуманитарных и естественных наук в образовании молодого поколения, значение и границы свободы и принуждения в воспитании и т. д.). В России, как о том убедительно свидетельствует Герцен, раньше чем где-либо был правильно поставлен вопрос о создании новой революционно-демократической педагогики.

Перед отрывками из «Былого и дум» мы приводим «Записки одного молодого человека» (сокращённый текст). Эти «Записки» являются ранним вариантом первых глав «Былого и дум». Мы поместили и то и другое, так как «Записки» больше, чем соответствующие главы «Былого и дум», запечатлели особенности воспитания в русской аристократической семье того времени. В «Былом и думах» Герцен указывает на социальные явления, определившие его революционную настроенность. В «Записках» он фиксирует внимание на педагогических факторах: влияние в этом отношении учителей, характер обучения; его содержание и методы.

Часто в литературе указывается на роль учителя Бушо в формировании личности Герцена. Мы обращаем внимание читателя на то, что Герцен особенно выделяет из всех своих наставников не Бушо, а русского учителя — И. Е. Протопопова, названного в повести Пациферским.

Вывод Герцена, что способы учения, применяемые Пациферским, способствовали развитию мыслей и сознания ученика, есть заслуженная похвала тогдашней русской методике обучения в её положительных образцах. «Отрицательное преподавание» Пациферского способствовало росту критической самостоятельной мысли дворянского подростка. В беседах со своим учителем о риторике, географии и особенно русской литературе ученик приобщался к общественным идеалам своего времени. Это делало его способным как опровергать эстетические взгляды его учителя Маршала — любителя ложноклассической литературы, так и заметить у раздражительного и сурового Бушо его молчаливую преданность французской революции.

В «Записках» говорится также о влиянии на тогдашнюю молодёжь переводной литературы, романов Лафонтена, Дюкре-

Дюмениля, Вульпиуса и т. д., которые широко рекламировались тогдашними издателями и часто распространялись ими сильнее, чем произведения отечественной литературы. Пациферский привил своему ученику любовь к русской литературе, тайком носил ему ходившие в списках стихи и поэмы Рыльева и Пушкина. Пушкин стал воспитателем литературных вкусов и нравственных идеалов Герцена. Перед его гением померкли все иностранные посредственные сочинители.

Из «Записок одного молодого человека» читатель узнаёт также причины, определившие симпатию передовых людей России 30—40-х годов к классицизму — к изучению литературы и истории древних греков и римлян.

Герцен назвал классицизм «эстетической школой гражданской нравственности». Признание воспитательной и образовательной ценности наук, созданных греками и римлянами, было характерно тогда для всей мировой педагогики. Точка зрения Герцена, однако, имеет свои особенности, свойственные только русской педагогике. Герцен, настаивая на изучении детьми древней истории, говорит о современности. Воспитанник, получивший на великих примерах древности представление о гражданской нравственности, будет считать для себя невозможным удовлетвориться плавным течением личной жизни. Говоря о классицизме, Герцен органически сочетает его с изучением современности.

В этом разделе печатается также в сокращённом виде роман Герцена «Кто виноват?», в котором писатель подверг беспощадной критике теорию воспитания детей в условиях, изолирующих их от повседневной действительности. Своими корнями эта теория уходит в учение о природосообразном, естественном воспитании детей, об удалении их от развращающего влияния «ложного» светского общества и «искусственной» цивилизации феодализма. Теория изоляции детей от «дурного» общества и в первую очередь от общения с крепостной прислугой в целях воспитания у них «доброй нравственности», лишённая демократических и революционных устремлений, широко распространялась в царствование Екатерины II. Прогрессивный дворянский реформатор Бецкой превратил в 60-х годах XVIII в. учебные заведения Петербурга и Москвы в изолированные, замкнутые учреждения. Дети, находясь в них 10—12 лет, могли встречаться с родителями и близкими только в стенах учреждения. На этих же принципах Бецким с санкции Екатерины был создан ряд новых учебно-воспитательных заведений, в том числе Институт благородных девиц, известный как «Смольный институт». В стенах этого института в 60-х годах XIX в. великий русский педагог Ушинский боролся с самым консервативным воплощением охарактеризованной выше теории.

Во времена Герцена в России выходило много отечественных и переводилось иностранных произведений, герои которых, звав-

шиеся Эмилиями, Бургардами и другими французскими, немецкими, английскими именами, были олицетворением пошлых сентиментально-романтических понятий о воспитании.

Эти произведения способствовали созданию в русском обществе ложных представлений о путях воспитания и нравственных качествах настоящего человека.

Они воспевали восторженность, мечтательность, уход от действительности в природу, культ чувства, романтическую настроенность.

Критическая литература, разбирая роман Герцена, обычно указывает две его темы: резкое отрицание феодально-крепостнической действительности и показ глубокого образа русской литературы «лишнего человека» в лице Бельтова.

Педагогический анализ заставляет признать важнейшей темой этого произведения борьбу Герцена с теорией воспитания, требующей изоляции детей от суровой действительности. В этом романе Герцен не принимал не только отсталую крепостническую российскую действительность, но резко критиковал и вскрывал недостатки буржуазных и мелкобуржуазных педагогических теорий XVIII и начала XIX в. Он отчётливо поставил здесь вопрос о новых задачах и путях воспитания. Это воспитание должно привить человеку закалённость, любовь к труду, умение быть настойчивым в осуществлении поставленной цели и другие качества, свойственные борцу со старыми отношениями.

ЗАПИСКИ ОДНОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА¹⁾

РЕБЯЧЕСТВО

До пяти лет я ничего ясно не помню, ничего в связи... Голубой пол в комнатке, где я жил; большой сад и в нём множество ворон. Идучи в сад, надобно было проходить сарай; тут обыкновенно сидел кучер Мосей с огромной бородой, который ласкал меня и на которого я смотрел с каким-то подобострастием; с ним, кажется, ни за какие блага в мире я не решился бы остаться наедине. Тогда при мне уже была *m-me Proveau**), которая водила меня за руку по лестнице, занималась моим воспитанием и, сверх того, по дружбе в свободные часы присматривала за хозяйством. Ещё года два-три наполнены смутными, неясными воспоминаниями; потом мало-помалу образы яснеют, как деревья и горы из-за тумана, вырезаются мелкие подробности детства и крупные события, о которых все говорили и которые дошли даже до меня. Помню смерть Наполеона.

Рассказами о пожаре Москвы меня убаюкивали; сверх того,

*) Мадам Прово. (М. Ш.)

у меня были карты, где на каждую букву находилась карикатура на Наполеона с острыми двустипиями, например:

Широк француз в плечах, ничто его неймёт,
Авось-либо моя нагайка зашибёт, —

и с ещё более острыми изображениями, например, Наполеон едет на свинье, и проч. Мудрено ли, что и я радовался смерти его? Помню умерщвление Коцебу. За что Занд убил его, я никак не мог понять, но очень помню, что племянник m-me Groveau... приносил картинку, на которой был представлен юноша с длинными волосами, и рассказывал, что он убил почтенного старика, что юноше отрубили голову, и я очень жалел, разумеется, юношу.

Я был совершенно один; игрушки стали скоро мне надоедать, а их у меня было много: чего-чего не дарил мне дядюшка! И кухню, в которой готовился недели три обед, готовился бы и до сего дня и часа, ежели б я не отклеил задней стены, чтоб посмотреть секрет, и избу, покрытую мхом, в которой обитал купидон, весь в фольге, и *lanterne magique**), занимавший меня всего более... Вот является на стене яркое пятно, и больше ничего; надумаешься тут, что-то явится в этих лучах славы и вогнутого стекла... Вдруг выступает слон, увеличивается, уменьшается, точно живой; иной раз пройдёт вверх ногами, чего живому слону и не сделать; потом Давид и Голиаф дерутся и двигаются оба вместе; потом арап, чёрный, как моська Карла Ивановича, камердинера дядюшки (и она уже умерла, бедная Крапка!). Весело было смотреть на такое общество и вверх головою и вверх ногами. Но недоставало важного пополнения: некому было мне показать его, и потому я часто покидал игрушки и просил Лизавету Ивановну что-нибудь рассказать, смиренно садился на скамеечку и часы целые слушал её с самым напряжённым вниманием. Молчаливость не принадлежала к числу добродетелей m-me Groveau; она не заставляла повторять просьбу и, продолжая вязать свой чулок, начинала рассказ...

Но что же она мне рассказывала? Во-первых, — это была её любимая тема, — как покойный муж её был каким-то метр-д'отелем в масонской ложе; как она раз зашла туда: всё обтянуто чёрным сукном, а на столе лежит череп на двух шпагах... Я дрожал, как осиновый лист, слушая её...

Потом рассказывала она интересные отрывки из истории французской революции: как опять-таки покойный сожитель её чуть не попал на фонарь, как кровь текла по улицам; какие ужасы делал Робеспьер...

В русской грамоте мы оба тогда были недалеки...

Однако, горестное время учения подступило. Раз вечером батюшка говорил с дядюшкой, не отдать ли меня в пансион. Фу!.. Услышав это ужасное слово, я чуть не умер от страха, выбежал в девичью и горько заплакал; ночью просыпался, осматривался, не в пансионе ли я, и старался уверить себя, что страшное слово только присни-

*) Волшебный фонарь.

лось. Впрочем, батюшка решился воспитывать меня дома. И воспитание моё началось, как разумеется, с французской грамоты. М-г Bouchot — первое лицо, являющееся возле Лизаветы Ивановны в деле моего воспитания; вслед за ним выступает Карл Карлович...

Я боялся Бушо, особенно сначала...

Он уехал из Парижа в самый разгар революции, и, припоминая теперь его слова и лицо, я воображаю, что *citoyen Bouchot**) не был лишним или праздным ни при взятии Бастилии, ни 10 августа; он обо всём говорил с пренебрежением, кроме Меца и тамошней соборной церкви; о революции он почти никогда не говорил, но, как-то грозно улыбаясь, молчал о ней. Холостой, серьёзный, важный, он со мной не тратил слов, спрягал глаголы, диктовал из «*Les Incas*» de Marmontel²), расставлял *accent grave* и *aigu*³), отмечал на поле, сколько ошибок, бранился и ухаживал, опираясь на огромную сучковатую палку...

Несмотря на занимательность педагогов, я скучал; мне некуда было деть мою деятельность, охоту играть, потребность разделить впечатления и игры с другими детьми. Один товарищ, одна подруга была у меня — Берта, полушарлот и полуиспанская собака батюшки. Много делил я с ней времени, запрягал её; бывало ездил на ней верхом, дразнил её, а в зимние дни сидел с нею у печки: я пою песни, а она спит, и время идёт незаметно...

Кроме Берты, был у меня ещё ресурс: дети повара, никогда не утиравшие нос и вечно валявшиеся где-нибудь в дряни на дворе. Но с ними играть было мне строго запрещено, и я, побеждая разные опасности, мог едва на несколько минут ускользнуть на двор, чтобы порубить с ними лёд около кухни зимой или замараться в грязи летом. Сверх того, я и играть почти не умел с другими: малейшая оппозиция меня бесила, оттого что игрушки не перечили ни в чём, а дети вообще большие демократы и не терпят товарища, который берёт верх над ними.

Между тем, важные обстоятельства совершились. Лизавета Ивановна занемогла... Как теперь, помню её похороны: я провожал тело старухи на католическое кладбище и плакал.

В жизни моей многое переменилось: кончились рассказы Лизаветы Ивановны; кончилось патриархальное царствование её надо мною; кончилась непомерная благодать, с которой она вступалась за обиды, нанесённые мне. Словом, весь прежний быт ниспровергнулся; во время Лизаветы Ивановны ходила за мной няня, столько же добрая, как она, Вера Артамоновна, как две капли похожая на индейку в косынке — такая же шея в складочках и морщинах, тот же вид *ingenu***). Теперь приставили ко мне камердинера Ванюшку, которому я обязан первыми основаниями искусства курить табак (завёрнутый в мокрую бумажку, свёрнутую трубочкой) и богатой фразеологией, в которой хозяином раскинулся русский дух. Время, в которое ребёнка передают с жен-

*) Гражданин Бушо. (М. III.)

**) Простодушный. (М. III.)

ских рук в мужские, — эпоха, перелом; с мальчиком это бывает лет в семь, восемь, с девочкой — лет в семнадцать, восемнадцать.

Ребячество оканчивалось преждевременно; я бросил игрушки и принялся читать. Так иногда в тёплые дни февраля наливаются почки на деревьях, подвергаясь ежедневно опасности погибнуть от мороза и лишить дерево лучших соков. За книги принялся я, скуки ради, — само собой разумеется, не за учебные. Развившаяся охота к чтению выучила меня очень скоро по-французски и по-немецки и с тем вместе послужила вечным препятствием доучиться. Первая книга, прочитанная *сop amoge**), была «Лолотта и Фанфан»⁴⁾, вторая — «Алексис или домик в лесу»⁵⁾. С лёгкой руки мамзель Лолотты, я пустился читать без выбора, без усталости, понимая, не понимая, старое и новое, трагедии Сумарокова, «Россиаду», «Российский театр»⁶⁾ etc... etc**). И, повторяю, это неумеренное чтение было важным препятствием учению. Покидая какой-нибудь том «Детей аббатства»⁷⁾ и весь занятый лордом Мортимером, мог ли я с охотой заниматься грамматикой и спрягать глаголы *aimer****), с его адъютантами — *être* и *avoir*****)⁸⁾, после того, как я знал, как спрягается он жизнью и в жизни. К тому же романы я понимал, а грамматику нет; то, что теперь кажется так ясно текущим из здравого смысла, тогда представлялось какими-то путями, нарочно выдуманными затруднениями...

Перечитав все книги, найдённые мною в сундуке, стоявшем в кладовой, я стал промышлять другие, и провизор на Маросейке, приносивший когда-то Зандов портрет и всегда запах ребарбара с розой, прислал мне засаленные и опцианные тома Лафонтена; тома эти совершенно свели меня с ума. Я начал с романа «Der Sonderling»⁹⁾ и пошёл, и пошёл!.. Романы поглотили всё моё внимание: читая, я забывал себя в камлотовой курточке и переселялся последовательно в молодого Бургарда, Алкивиада, Ринальдо-Ринальдини и т. д. Но как моё умственное обжорство не знало меры, то вскоре недостало в аптеке на Маросейке романов, а я начал отыскивать везде всякую дрянь, между прочим, отрыл и «Письмовник» Курганова — этот блестящий предшественник нравственно-сатирической школы в нашей литературе. Богатым запасом истин и анекдотов украсил Курганов¹⁰⁾ мою память; даже до сих пор не забыты некоторые...

Полезные занятия Кургановым и Лафонтеном были вскоре прерваны новым лицом. К человеку французской грамоты присоединился человек русской грамматики, Василий Евдокимович Пациферский****), студент медицины. Господи, боже мой, как он бывало стучит дверь, когда придёт, как снимает калоши, как

*) С любовью.

**) И т. д., и т. д.

***). Любить.

****) Быть и иметь.

*****) Иван Евдокимович Протопопов. — А. Г.

топает. Волосы носил он ужасно длинные и никогда не чесал их по выходе из рязанской епархиальной семинарии; на иностранных словах ставил он дикие ударения школы, а французские L щедро снабжал греческой λ и русской ъ на конце. Но благодарность студенту медицины; у него была тёплая человеческая душа, и с ним с первым стал я заниматься, хотя и не с самого начала.

Пока дело шло о грамматике, которая шла в корню, и о географии и арифметике, которые бежали на пристяжке, Пациферский находил во мне упорную лень и рассеянность, приводившую в удивление самого Бушо, не удивлявшегося ничему (как было сказано), кроме соборной церкви в Меце. Он не знал, что делать, не принадлежа к числу записных учителей, готовых за билет*) час целый толковать свою науку каменной стене. Василий Евдокимович, краснея, брал деньги и несколько раз хотел бросить уроки. Наконец, он переменял одну пристяжную и, наскоро прочитавши в Гейме, изданном Титом Каменецким¹¹⁾, о ненужной и только для баланса выдуманной части света, Австралии, принялся за историю и вместо того, чтоб задать в Шрекке до отметки ногтем, он мне рассказывал, что помнил и как помнил; я должен был на другой день ему повторять своими словами, и я историей начал заниматься с величайшим прилежанием. Пациферский удивился и, утомлённый моей ленью в грамматике, он поступил, как настоящий студент: положил её к стороне и вместо того, чтоб мучить местничеством между е и ѣ¹²⁾, он принялся за словесность. Повторяю, у него душа была человеческая, сочувствовавшая изящному, — и ленивый ученик, занимавшийся во время класса вырезыванием иероглифов на столе, быстро усваивал себе школьно-романтические воззрения будущего медико-хирурга. Уроки Пациферского много способствовали к раннему развитию моих способностей. В двенадцать лет я помню себя совершенным ребёнком, несмотря на чтение романов; через год я уже любил заниматься, и мысль пробудилась в душе, жившей дотоле одним детским воображением.

Но в чём же состояло преподавание словесности Василия Евдокимовича? Мудрено сказать: это было какое-то отрицательное преподавание. Принимаясь за риторику, Василий Евдокимович объявил мне, что она — пустейшая ветвь из всех ветвей и сучков древа познания добра и зла, вовсе ненужная; «кому бог не дал способности красно говорить, того ни Квинтилиан, ни Цицерон не научат, а кому дал, тот родился с риторикой». После такого введения он начал по порядку толковать о фигурах, метафорах, хриях¹³⁾. Потом он мне предписал *diurna manu postur nache**)* переворачивать листы «Образцовых сочинений», гигантской хрестоматии томов в двенадцать, и прибавил для поощрения, что десять строк «Кавказского пленника» лучше всех образцовых сочинений Муравьёва, Капниста и компании. Несмотря на

*) Т. е. за деньги. Б и л е т — денежная купюра.

**) И днём и ночью.

всю забавность отрицательного преподавания, в совокупности всего, что говорил Василий Евдокимович, проглядывал живой, широкий современный взгляд на литературу, который я умел усвоить и, как обыкновенно делают последователи, возвёл в квадрат и в куб все односторонности учителя. Прежде я читал с одинаким удовольствием всё, что попадалось: трагедии Сумарокова, сквернейшие переводы восьмидесятих годов разных комедий и романов; теперь я стал выбирать, ценить. Пациферский был в восторге от новой литературы нашей, и я, бравши книгу, справлялся тотчас, в котором году печатана, и бросал её, ежели она была печатана больше пяти лет тому назад, хотя бы имя Державина или Карамзина предохраняло её от такой дерзости. Зато поклонение юной литературе сделалось безусловно, — да она и могла увлечь именно в ту эпоху, о которой идёт речь. Великий Пушкин явился царём-властителем литературного движения; каждая строка его летала из рук в руки; печатные экземпляры «не удовлетворяли», списки ходили по рукам. «Горе от ума» наделало более шума в Москве, нежели все книги, писанные по-русски, от путешествия Коробейникова ко святым местам до «Плодов чувствований» князя Шаликова. «Телеграф» начинал энергически своё поприще и неполными, угловатыми знаками быстро передавал европеизм: альманахи с прекрасными стихами, поэмы сыпались со всех сторон; Жуковский переводил Шиллера, Козлов — Байрона; и во всём, у всех была бездна надежд, упований, верований горячих и сердечных. Что за восторг, что за восхищение, когда я стал читать только что вышедшую первую главу «Онегина»! Я её месяца два носил в кармане, вытвердил на память. Потом, года через полтора, я услышал, что Пушкин в Москве. О, боже мой, как пламенно я желал увидеть поэта! Казалось, что я вырасту, поумнею, поглядевши на него. И я увидел, наконец, и все показывали, с восхищением говоря: «Вот он, вот он...»

Чацкий.

Вы помните?

Софья.

Ребачество?

Чацкий.

Да-с, а теперь...

Нет, лучше промолчим, потому что Софья Павловна Фамусова совсем не параллельно развивалась с нашей литературой...

Бушо уехал в Мец; его заменил м-г Маршаль. Маршаль был человек большой учёности (во французском смысле), нравственный, тихий, кроткий; он оставил во мне память ясного летнего вечера без малейшего облака. Маршаль принадлежал к числу тех людей, которые от роду не имели знойных страстей, которых характер светел, ровен, которым дано настолько любви, чтоб они были счастливы, но не настолько, чтоб она сожгла их. Все люди

такого рода — классики *par droit de naissance**), его прекрасные познания в древних литературах делали его, сверх того, классиком *par droit de conquête***))...

При всём этом, ни в одном слове Маршалья не было пошлости. Он стал со мною читать Расина в то самое время, как я попался в руки шиллеровским «Разбойникам»: ватага Карла Моора увела меня надолго в Богемские леса романтизма. Василий Евдокимович неумолимо помогал разбойникам, и китайские башмаки лагарповского воззрения рвались по швам и по коже.

Из сказанного уже видно, что всё ученье было бессистемно; оттого я выучился очень немногому и вместо стройного целого в голове моей образовалась беспорядочная масса разных сведений, общих мест, переплетённых фантазиями и мечтами. Наука зато для меня не была мёртвой буквой, а живую часть моего бытия; но это увидим после. Ко времени, о котором речь, относится самая занимательная статья моего детства. Мир книжный не удовлетворял меня; распускавшаяся душа требовала живой симпатии, ласки, товарища, любви, а не книгу, — и я вызвал, наконец, себе симпатию и ещё из чистой груди девушки***).

Ещё в те времена, когда были живы m-me Прово и m-me Берта, Бушо не уезжал в Мец, а Карл Карлович не улетал в рай с звуками органа, гостила у нас иногда родственница, приезжавшая из Владимирской губернии; сначала она была маленькая девушка, потом девушка побольше. Приезжала она из Меленок всегда в сопровождении своей тётки, разительно похожей на принцессу ангулемскую и на брабантские кружева; эта тётка имела приятное обыкновение ежегодно класть деньги в ломбард. У меленовской родственницы была душа добрая, мечтательная; девицы вообще несравненно экспансивнее нашего брата, в них есть теплота, всегда греющая, есть симпатия, всегда готовая любить; у них редко чувства подавлены эгоизмом и нет мужского, расчётливого ума. Она в один из приездов своих пригостила меня, приласкала; ей стало жаль, что я так одинок, так без привета; она со мною, тринадцатилетним мальчиком, стала обходиться, как с большим; я полюбил её от всей души за это; я подал ей с горячностью мою маленькую руку, поклялся в дружбе, в любви, и теперь, через 13 других лет, готов снова протянуть руку, — а сколько обстоятельств, людей, вёрст протеснилось между нами!.. Светлым призраком прилетала она с берегов Клязьмы и надолго исчезала потом; тогда я писал всякую неделю эпистолы в Меленки, и в этих эпистолах сохранились все тогдашние мечты и верования. Она в долгу не оставалась, отвечала на каждое письмо и расточала с чрезвычайной щедростью существительные и прила-

*) По праву рождения.

**) По праву завоевания.

***) Герцен говорит о симпатии к своей кузине Пасек Т. П., названной в «Записках» «кузиной из Меленок» и в «Былом и думах» — «корчевской кузиной». (М. Ш.)

гательные для описания меленковских окрестностей, своей комнаты с зелёными шторочками и с лиловыми левкойчиками на окнах. Но я мало довольствовался письмами и ждал с нетерпением её самой; решено было, что она приедет к нам на целые полгода; я рассчитывал по пальцам дни... И вот, одним зимним вечером сижу я с Василием Евдокимовичем; он толкует о четырёх родах поэзии и запивает квасом каждый род. Вдруг шум, поцелуй, громкий разговор радости, её голос... Я отворил дверь: по зале таскают узелки и картончики; щёки вспыхнули у меня от радости, я не слушал больше, что Василий Евдокимович говорил о дидактической поэзии (может потому и поднесь не понимаю её, хотя с тех пор имел случай прочесть Петрозилиусову поэму «О фарфоре»¹⁴), через несколько минут она пришла ко мне в комнату и после оскорбительного: «Ах, как ты вырос!» — она спросила, чем мы занимаемся. Я гордо отвечал: «Разбором поэтических сочинений»...

Ленивее опять пошло ученье: живая симпатия мне нравилась больше книги. Ни с кем и никогда до неё я не говорил о чувствах, а между тем их было уж много благодаря быстрому развитию души и чтению романов. Ей-то передал я первые мечты, — мечты пёстрые, как райские птицы, и чистые, как детский лепет; ей писал я раз двадцать в альбом по-русски, по-французски, по-немецки, даже, помнится, по-латыни. Она пресерьёзно выслушивала меня и уверяла ещё больше, что я рождён быть Роландом Роландини¹⁵) или Алкивиадом; я её больше полюбил за эти удостоверения. Отогревался я тогда за весь холод моей короткой жизни милою дружбою меленковской пери. Передавая друг другу плоды чувствований, мы принялись вместе читать сначала разные повести: «Вакесфильдского священника»¹⁶), «Нуму Помпилия» Флориана¹⁷) и т. п., обливая их реками горячих слёз; потом принялись за «Анахарсисово путешествие»¹⁸), она имела самоотвержение слушать эту, положим, чрезвычайно учёную, полезную и умную, но тем не менее скучную и безжизненную компиляцию в семь томов...

Так оканчивался период прозябания моей жизни. Вот предыдущее, с которым я вошёл в пропилен юности. Маршаль завещал мне любовь к изящной форме, любовь к Греции и Риму, логическую ясность, историю французской литературы и «Art poétique»*) Буало, которого первую песнь помню до сих пор; Василий Евдокимович завещал поклонение Пушкину и юной литературе, метафизическую неясность романтизма и тетрадь писанных стихов, которые я ещё лучше вытвердил на память, нежели Буало; Темира — искреннее, тёплое чувство любви и дружбы, слёзы о «Вакесфильдском священнике» и потом о ней самой, когда она осенью уехала в Меленки. Ergo**), с одной стороны — классицизм

*) Трактат о поэзии.

**) Следовательно.

в виде Маршала, с другой — романтизм в виде Пациферского и жизнь в виде Темиры, — а средоточие всего — я сам: мальчик пылкий, готовый ко всяким впечатлениям, не по летам умудрившийся, развитой отчасти насильственно или, вернее, искусственно чтением романов и вечным одиночеством.

Так продолжалась моя жизнь до пятнадцатого года.

ЮНОСТЬ

„Respekt vor dem Traume deiner Jugend!“*)

Schiller

Gaudeamus, igitur!

Juvenes dum sumus **).

Прелестное время в развитии человека, когда дитя сознаёт себя юношей и требует в первый раз доли во всём человеческом: деятельность кипит, сердце бьётся, кровь горяча, сил много, а мир так хорош, нов, светел, исполнен торжества, ликования, жизни... Удадь Ахиллеса и мечтательность Позы наполняют душу. Время благородных увлечений, самопожертвований, платонизма, пламенной любви к человечеству, беспредельной дружбы, — блестящий пролог, за которым часто-часто следует пошлая мещанская драма.

Разум восходит, но, проходя через облака фантазии, он окрашивает, как восходящее солнце, пурпуром весь мир. Освещение истинное, которое исчезает, должно исчезнуть, но прелестное, как летнее утро на берегу моря. О, юность, юность!..

Темира уехала в Меленки. Я долго смотрел на ворота, пропустившие коляску-бричку, в которой повезли её; день был мертвосоенный. Печально воротился я в свою комнатку и развернул книгу. Старый друг... опять книга, одна книга осталась товарищем; я принялся тщательно перечитывать греческую и римскую историю. Разумеется, я за историю принялся не так, как за книгу народов, — зеркало того и сего, — а опять, как за роман, и читал её по той же методе, то-есть сам выступая на сцену в акрополисе и на форуме. Ещё больше разумеется, что Греция и Рим, восстановленные по Сегюру, были нелепы, но живы и соответствовали тогдашним потребностям. Театральных натяжек, всех этих Курциев, бросающихся в пропасти, вовсе не существующие, Спевол¹⁹⁾, жгущих себе руки по локоть и проч. я не замечал, а гражданские добродетели их понимал. Напрасно нынче восстают против прежней методы пространно преподавать детям древнюю историю, это — эстетическая школа нравственности. Великие

*) «Уважение к грёзам твоей юности!» Шиллер.

**) Так, будем веселы, пока мы молоды.

люди Греции и Рима имеют в себе ту поражающую, пластическую, художественную красоту, которая навек отпечатлевается в юной душе. Оттого-то эти величественные тени Фемистокла, Перикла, Александра провожают нас через всю жизнь так, как их самих провожали величественные образы Зевса, Аполлона. В Греции всё было так проникнуто изящным, что самые великие люди её похожи на художественные произведения. Не напоминают ли они собою, например, светлый мир греческого зодчества? Та же ясность, гармония, простота, юношество, благодатное небо, чистая детская совесть; даже черты лица Плутарховых героев так же дивно изящны, открыты, исполнены мысли, как фронтоны и портики Парфенона²⁰). Самое триединое зодчество Греции имеет параллель с героями её трёх эпох, так изящное тесно спаяно было у них жизнью. Гомеровские герои — не дорические ли это колонны, твёрдые, безыскусные? Герои персидских войн и целопонесской — не сродни ли ионическому стилю так, как Алкивиад изнеженный — тонкой кудрявой коринфской колонне²¹). Пусть же встречают эти высоко изящные статуи юношу при первом шаге его в область сознания, с высоты величия своего вперят ему первые уроки гражданских добродетелей.

Сильно действовало на меня чтение греческой и римской истории. Я скорбел о том, что этот мир добродетелей и энергии давно схоронен, плакал на его могиле, как вдруг более внимательное чтение одного автора, бывшего в моих руках, доказало мне, что и тот мир, который окружает меня, в котором я живу, не изъят доблестного и великого. Открытие это сделало переворот в моём бытии.

Шиллер! Благословляю тебя, тебе обязан я святыми минутами начальной юности! Сколько слёз из глаз моих на твои поэмы! Какой алтарь я воздвигнул тебе в душе моей! Ты — по превосходству поэт юношества. Тот же мечтательный взор, обращённый на одно будущее «туда, туда!»; те же чувства, благородные, энергические, увлекательные; та же любовь к людям и та же симпатия к современности... Однажды, взяв Шиллера в руки, я не покидал его, и теперь, в грустные минуты, его чистая песнь врачует меня. Долго ставил я Гёте ниже его. Для того чтобы уметь понимать Гёте и Шекспира, надобно, чтобы все способности развернулись, надобно познакомиться с жизнью, надобны грозные опыты, надобно пережить долю страданий Фауста, Отелло. Стремление к добродетели, горячая симпатия к высокому достаточны, чтоб сочувствовать Шиллеру. Я боялся Гёте: он оскорблял меня своим пренебрежением, своим несимпатизированием со мною, — симпатии со вселенной я понять тогда не мог. Пусть, — думал я, — Гёте — море, на дне которого невесты какие драгоценности, я люблю лучше германскую реку, этот Рейн, — любящийся между феодальными замками и виноградниками, — Рейн, свидетель Тридцатилетней войны²²), отражающий Альпы и облака, покрывающие их вершины. Я забывал тогда, что река вливается тоже в море, в землеобнимающий океан, равно нераздельный с

небом и с землёю. Гораздо после мощный Гёте увлѣк меня; я тогда ещё не вполне понял его, но почувствовал его морскую волну, его глубину, его пространство и (болезнь юности — никогда не знать веса и меры!) на Шиллера взглянул иначе: тем взглядом, которым юноша, приехавший в отпуск, смотрит на добрые черты старца-воспитателя, привыкнув к строгому лицу своего начальника, — немножко вниз, немножко с благосклонностью. Но я скоро опомнился, покраснел от своей неблагодарности и с горячими слезами раскаяния бросился в объятия Шиллера. Им обоим не тесно было в мире, — не тесно будет и в моей груди; они были друзьями, — такими да идут в потомство.

Но в ту эпоху, о которой идёт речь, я никак не мог понимать Гёте: у него в груди не билось так человечески нежное сердце, как у Шиллера. Шиллер со своим Максом, Дон-Карлосом жил в одной сфере со мною, — как же мне было не понимать его? Суха душа того человека, который в юности не любил Шиллера, завяла у того, кто любил, да перестал!

У меня страсть перечитывать поэмы великих maestri*): Гёте, Шекспира, Пушкина, Вальтер-Скотта. Казалось бы, зачем читать одно и то же, когда в это время можно «украсить» свой ум произведениями гг. А., В., С.? Да в том-то и дело, что это не одно и то же, в промежутки какой-то дух меняет очень много в вечно живых произведениях маэстро. Как Гамлет, Фауст прежде были шире меня, так и теперь шире, несмотря на то, что я убеждён в своём расширении. Нет, я не оставлю привычки перечитывать, — по этому я наглазно измеряю своё возрастание, улучшение, падение, направление. Прошли годы первой юности, и над Моором, Позой выставилась мрачная, задумчивая тень Валленштейна, и выше их парила дева Орлеанская; прошли ещё годы — и Изабелла, дивная мать, стала гордой девственницей. Где же прежде была Изабелла? Места, приводившие меня, пятнадцатилетнего, в восторг, поблекли, например, студенческие выходки, сентенции в «Разбойниках», а те, которые едва обращали внимание, захватывают душу. Да, надобно перечитывать великих поэтов и особенно Шиллера, поэта благородных порывов, чтобы поймать свою душу, если она начнёт сохнуть!..

Поза! Поза! где ты, юноша-друг, с которым мы обручимся душою, с которым выйдем рука об руку в жизнь, крепкие нашей любовью? В этом вопросе будущему было упование и молитва, грусть и восторг. Я вызывал симпатию, потому что не было места в одной груди вместить всё, волновавшее её. Мне надобна была другая душа, которой я мог бы высказать свою тайну; мне надобны были глаза, полные любви и слёз, которые были бы устремлены на меня; мне надобен был друг, к которому я мог бы броситься в объятия и в объятиях которого мне было бы приятно, вольно; Поза, где же ты?..

*) Мастеров.

Он был близок...

В малом числе моих знакомых был полуюноша, полуребёнок, одних лет со мною, кроткий, тихий, задумчивый; печально сидел он обыкновенно на стуле и как-то невнимательно смотрел на окружающие предметы своими большими серыми глазами, особо рассечёнными, и того серого цвета, который лучше голубого. Непонятною силою тяготели мы друг к другу; я предчувствовал в нём брата, близкого родственника душе, — и он во мне тоже. Но мы боялись показать начинавшуюся дружбу; мы оба хотели говорить ты и не смели даже в записках употреблять слово «друг», придавая ему смысл обширный и святой... Милое время детской непорочности и чистоты душевной!.. Мало-помалу слова дружбы и симпатии начали вырываться стороною, как бы нехотя; посылая мне идиллии Геснера, он написал маленькое письмо и в раздумье подписал: «Ваш друг ли, — не знаю ещё». Перед отъездом моим в деревню, он приносил том Шиллера, где его «*Philosophische Briefe*»*), и предложил читать вместе... Ах, как билось сердце, слёзы навёртывались на глазах. Мы тщательно скрывали слёзы. «Ты уехал, Рафаил²³⁾», — и жёлтые листья валяются с деревьев, и мгла осеннего тумана, как гробовой покров, лежит на вымершей природе. Одинокó брожу я по печальным окрестностям, зову моего Рафаила, и больно, что он не откликается мне». Я схватил Карамзина и читал в ответ: «Нет Агатона²⁴⁾, нет моего друга». Мы явно понимали, что каждый из нас адресует эти слова от себя, но боялись прямо сказать. Так делают неопытные влюблённые, отмечая друг другу места в романах; да мы и были *à la lettre***) влюблённые и влюблялись с каждым днём больше и больше. Дружба, прозябнувшая под благословением Шиллера, под его благословением расцветала: мы усваивали себе характеры всех его героев. Не могу выразить всей восторженности того времени. Жизнь раскрывалась перед нами торжественно, величественно; мы откровенно клялись пожертвовать наше существование во благо человечеству; чертили себе будущность несбыточную, без малейшей примеси самолюбия, личных видов. Светлые дни юношеских мечтаний и симпатии, они проводили меня далеко в жизнь...

... В деревне я сделал знакомство, достойное сделанного в Москве, — я в первый раз после ребячества явился лицом к лицу с природой, и её выразительные черты сделались понятны для меня. Это отдохновение от школьных занятий было на месте; я закрыл учебную книгу, несмотря на то, что надобно было готовиться к университету. Колоссальная идиллия лежала развёрнутая передо мной, и я не мог наглядеться на неё: так нова она была мне, выросшему в третьем этаже на Пречистенке... читал я мало и то одного Шиллера; на высокой горе, с которой откры-

*) «Философские письма».

**) Буквально.

вались пять-шесть деревенок, пробежал я «Телля» и в мрачном лесу перечитывал Карла Моора, — и, казалось, молодецкий посвист его ватаги и топот конницы, окружавшей его, раздавался между соснами и елями. Но чаще всего я бросал книгу и долго-долго смотрел на окружающие поля, на реку, прорезывающую их, на храм божий, белый, как лилия, и, как лилия, окружённый зеленью. Иногда мне казалось, что вся эта даль — продолжение меня, что гора со всем окружающим — моё тело, и мне слышался пульс её, и мы вместе вдыхали и выдыхали воздух. Иногда мне казалось, что я совершенно потерял в этой бесконечности — листок на огромном дереве, — но бесконечность эта не давила меня, мне было хорошо лежать на моей горе; я понимал, что я дома, что всё это — родное...

Смешно, что я останавливаюсь на этих подробностях медового месяца моей жизни; я очень знаю, что все видали природу днём и ночью и чувствовали при этом и то, и сё; что тысяча лет тому назад люди восхищались ею, потому что в ней также просвечивал на каждой строчке её творец, — но... но... но, пожалуй, воротимся в Москву. Вот глубокая осень, грязь по колено; иное утро подмёрзнет, иное — льётся мелкий дождь, работы оканчиваются, один цеп стучит в такт; сборы, хлопоты; священник с просвиры и напутственным благословением; староста провожает верхом за десять вёрст на мирской лошади, чтоб убедиться, что господа точно уехали... Карета вязнет в грязи просёлочной дороги, едва двигается, иногда склоняется на бок, и всякий раз батюшкин камердинер, преданный, как в «Айвенго» Гурт Седрику Саксону, выходит из кибитки и поддерживает карету, — а сам такой щедущий, что десяти фунтов не подымет. Наконец, вот Дорогомиловский мост, освещённые лавочки, «калачи горячи!» — и мы в Москве.

Так доехал я через Дорогомиловский мост до окончания первой части моей юности. Отсюда начинается новая жизнь, — жизнь аудитории, жизнь студента; отселе не пустынные четыре стены родительского дома, а семья трёхсотголовая, шумная и неугомонная...

«БЫЛОЕ И ДУМЫ» ²⁵⁾

Глава I

1812—1822

... Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моей колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей. Моя мать и наша прислуга, мой отец и Вера Артамоновна беспрестанно возвращались к грозному времени, поразившему их так недавно, так близко и так круто. Потом возвратившиеся генералы и офицеры

стали наезжать в Москву. Старые сослуживцы моего отца по Измайловскому полку, теперь участники, покрытые славой, едва кончившейся кровавой борьбы, часто бывали у нас. Они отдыхали от своих трудов и дел, рассказывая их. Это было, действительно, самое блестящее время петербургского периода; сознание силы давало новую жизнь; дела и заботы, казалось, были отложены на завтра, на будни, теперь хотелось попировать на радостях победы.

Тут я ещё больше наслушался о войне, чем от Веры Артамоновны. Я очень любил рассказы графа Милорадовича; он говорил с чрезвычайной живостью, с резкой мимикой, с громким смехом, и я не раз засыпал под них на диване за его спиной.

Разумеется, что при такой обстановке я был отчаянный патриот и собирался в полк...

За мной ходили две нянюшки: одна русская и одна немка; Вера Артамоновна и м-ме Прово были очень добрые женщины, но мне было скучно смотреть, как они целый день вяжут чулок и пикируются между собой, а потому при всяком удобном случае я убегал на половину Сенатора (бывшего посланника), к моему единственному приятелю — к его камердинеру Кало.

Добрее, кротче, мягче я мало встречал людей. Совершенно одинокий в России, разлучённый со всеми своими, плохо говоривший по-русски, он имел женскую привязанность ко мне. Я часы целые проводил в его комнате, докучал ему, притеснял его, шалил, — он всё выносил с добродушной улыбкой, вырезывая мне всякие чудеса из картонной бумаги, точил разные безделицы из дерева (зато ведь как же я его и любил). По вечерам он приносил ко мне наверх из библиотеки книги с картинками: путешествия Гмелина и Палласа и ещё толстую книгу «Свет в лицах»²⁶), которая мне до того нравилась, что я её смотрел до тех пор, что даже кожаный переплёт не вынес. Кало часа по два показывал мне одни и те же изображения, повторяя те же объяснения в тысячный раз...

Глава II

1823—1826

Лет до десяти я не замечал ничего странного, особенного в моём положении; мне казалось естественно и просто, что я живу в доме моего отца, что у него на половине я держу себя чинно, что у моей матери другая половина, где я кричу и шалю, сколько душе угодно. Сенатор баловал меня и дарил игрушки, Кало носил на руках. Вера Артамоновна одевала меня, клала спать и мыла в корыте, м-ме Прово водила гулять и говорила со мной по-немецки. Всё шло своим порядком, а между тем я начал призадумываться.

Беглые замечания, неосторожно сказанные слова стали обра-

пять моё внимание²⁷). Старушка Прово и вся дворян любили без памяти мою мать, боялись и вовсе не любили моего отца. Домашние сцены, возникавшие иногда между ними, служили часто темой разговоров т-те Прово с Верой Артамоновной, бравших всегда сторону моей матери...

Дети вообще проникательнее, нежели думают; они быстро рассеиваются, на время забывают, что их поразило, но упорно возвращаются, особенно ко всему таинственному или страшному, и допытываются с удивительной настойчивостью и ловкостью до истины.

Однажды насторожённый, я в несколько недель узнал все подробности о встрече моего отца с моей матерью, о том, как она решилась оставить родительский дом, как была спрятана в русском посольстве в Касселе у Сенатора и в мужском платье переехала границу. Всё это я узнал, ни разу не сделав никому ни одного вопроса.

Первое следствие этих открытий было отдаление от моего отца...

Вторая мысль, укоренявшаяся во мне с того времени, состояла в том, что я гораздо меньше завишу от моего отца, нежели вообще дети. Эта самобытность, которую я сам себе выдумал, мне нравилась...

При всём этом можно себе представить, как томно и однообразно шло для меня время в странном аббатстве родительского дома. Не было мне ни поощрений, ни рассеяний; отец мой был почти всегда мною недоволен, — он баловал меня только лет до десяти; товарищей не было, учителя приходили и уходили, и я украдкой убегал, провожая их, на двор поиграть с дворовыми мальчиками, что было строго запрещено. Остальное время я скитался по большим почернелым комнатам с закрытыми окнами днём, едва освещёнными вечером, ничего не делая или читая всякую всячину.

Передняя и девичья составляли единственное живое удовольствие, которое у меня оставалось. Тут мне было совершенное раздолье: я брал партию одних против других, судил и рядил вместе с моими приятелями их дела, знал все их секреты и никогда не проболтался в гостиной о тайнах передней...

Дети вообще любят слуг; родители запрещают им сближаться с ними, особенно в России; дети не слушают их, потому что в гостиной скучно, а в девичьей весело. В этом случае, как в тысяче других, родители не знают, что делают. Я никак не могу себе представить, чтоб наша передняя была вреднее для детей, чем наша «чайная» или «диванная». В передней дети перенимают грубые выражения и дурные манеры, это правда; но в гостиной они принимают грубые мысли и дурные чувства.

Самый приказ удаляться от людей, с которыми дети в беспрерывном сношении, безнравственен...

Разница между дворянами и дворовыми так же мала, как

между их названиями. Я ненавижу, особенно после бед 1848 года, демагогическую лесть толпе, но аристократическую клевету на народ ненавижу ещё больше...

Перебирая воспоминания мои не только о дворовых нашего дома и Сенатора, но о слугах двух-трёх близких нам домов в продолжение двадцати пяти лет, я не помню ничего особенно порочного в их поведении. Разве придётся говорить о небольших кражах... но тут понятия так сбиты положением, что трудно судить: человек-собственность*) не церемонится с своим товарищем и поступает за панибрата с барским добром...

Разумеется, отсутствие, с одной стороны, всякого воспитания, с другой — крестьянской простоты, при рабстве, внесло бездну уродливого и искажённого в их нравы, но при всём этом они, как негры в Америке, остались полудетьми: безделица их тешит, безделица огорчает; желания их ограничены и скорее наивны и человечественны, чем порочны...

На этом сходстве детей с слугами и основано взаимное пристрастие их. Дети ненавидят аристократию взрослых и их благо-склонно-снисходительное обращение, от того что они умны и понимают, что для них они — дети, а для слуг — лица. Вследствие этого, они гораздо больше любят играть в карты и лото с горничными, чем с гостями. Гости играют для них из снисхождения, уступают им, дразнят их и оставляют игру, как вздумается; горничные играют обыкновенно столько же для себя, сколько для детей; от этого игра получает интерес.

Прислуга чрезвычайно привязывается к детям, и это — вовсе не рабская привязанность, это — взаимная любовь слабых и простых...

В заключение этого печального предмета скажу только одно: на меня передняя не сделала никакого действительно дурного влияния. Напротив, она с ранних лет развила во мне непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Бывало, когда я ещё был ребёнком, Вера Артамоновна, желая меня сильно обидеть за какую-нибудь шалость, говаривала мне: «Дайте срок, — вырастете, такой же барин будете, как другие». Меня это ужасно оскорбляло. Старушка может быть довольна: таким, как другие, по крайней мере, я не сделался.

Сверх передней и девичьей, было у меня ещё одно рассеяние, и тут, по крайней мере, не было мне помехи. Я любил чтение столько же, сколько не любил учиться. Страсть к бессистемному чтению была вообще одним из главных препятствий серьёзному учению. Я, например, прежде и после терпеть не мог теоретического изучения языков, но очень скоро выучивался кой-как понимать и болтать с грехом пополам, и на этом останавливался, потому что этого было достаточно для моего чтения.

У отца моего вместе с Сенатором была довольно большая би-

*) Т. е. крепостной человек. (М. Ш.)

блиотека, составленная из французских книг прошлого столетия. Книги валялись грудями в сырой нежилой комнате нижнего этажа в доме Сенатора. Ключ был у Кало; мне было позволено рыться в этих литературных закромах, сколько я хотел, и я читал себе да читал. Отец мой видел в этом двойную пользу: во-первых, что я скорее выучусь по-французски, а сверх того, что я занят, т. е. сижу смиренно, и притом у себя в комнате. К тому же я не все книги показывал или клал у себя на столе, — иные прятались в шифоньер...

Лет до четырнадцати я не могу сказать, чтоб мой отец особенно теснил меня, но просто вся атмосфера нашего дома была тяжела для живого мальчика. Строптивая и ненужная заботливость о физическом здоровье рядом с полным равнодушием к нравственному страшно надоедала. Предостережения от простуды, от вредной пищи, хлопоты при малейшем насморке, кашле. Зимой я по неделям сидел дома, а когда позволялось проехаться, то в тёплых сапогах, шарфах и пр. Дома был постоянно нестерпимый жар от печей. Всё это должно было сделать из меня хилого и изнеженного ребёнка, если б я не наследовал от моей матери непреодолимого здоровья. Она, со своей стороны, вовсе не делила этих предрассудков и на своей половине позволяла мне всё то, что запрещалось на половине моего отца.

Учение шло плохо, без соревнования, без поощрений и одобрений; без системы и без надзору я занимался спустя рукава и думал памятью и живым соображением заменить труд. Разумеется, что и за учителями не было никакого присмотра; однажды условившись в цене, лишь бы они приходили в своё время и сидели свой час, они могли продолжать годы, не отдавая никакого отчёта в том, что делали...

Лет двенадцати я был переведён с женских рук на мужские. Около того времени мой отец сделал два неудачных опыта представить за мной немца.

Немец при детях — и не гувернёр, и не дядька, это — совсем особенная профессия. Он не учит детей и не одевает, а смотрит, чтоб они учились и были одеты, печётся о их здоровье, ходит с ними гулять и говорит тот вздор, который хочет, не иначе, как по-немецки. Если есть в доме гувернёр, немец ему покоряется; если есть дядька, он покоряется немцу.

Учителя, ходящие по билетам, опаздывающие по непредвиденным причинам и уходящие слишком рано по обстоятельствам, не зависящим от их воли, строят немцу куры, и он при всей безграмотности начинает считать себя учёным. Гувернантки употребляют немца на покупки, на всевозможные комиссии, но позволяют ухаживать за собой только в случае физических недостатков и при совершенном отсутствии других поклонников. Лет четырнадцати воспитанники ходят тайком от родителей к немцу в комнату курить табак; он это терпит, потому что ему необходимы сильные вспомогательные средства, чтоб оставаться

в доме. В самом деле, большей частью в это время немца при детях благодарят, дарят ему часы и отсылают; если он устал бродить с детьми по улицам и получать выговоры за насморк и пятна на платьях, то немец при детях становится просто немцем, заводит небольшую лавочку, продаёт прежним питомцам мундштуки из янтаря, одеколон, сигарки и делает другого рода тайные услуги им.

Первый немец, приставленный за мною, был родом из Шлезии и назывался Йокиш; по-моему этой фамилии было заглаза довольно, чтоб его не брать. Высокий, плешивый мужчина, он отличался чрезвычайной нечистоплотностью и хвастался своим знанием агрономии; я думаю, что отец мой именно поэтому его и взял. Я с отвращением смотрел на шленского великана и только на том мирился с ним, что он мне рассказывал, гуляя по Девичьему полю и на Пресненских прудах, сальные анекдоты, которые я передавал передней. Он прожил не больше года, напакостил что-то в деревне, садовник хотел его убить косой; отец мой велел ему убраться.

На его место поступил брауншвейг-вольфенбюттельский солдат (вероятно, беглый) Фёдор Карлович, отличавшийся каллиграфией и непомерным тупоумием. Он уже был прежде в двух домах при детях и имел некоторый навык, т. е. придавал себе вид гувернёра; к тому же он говорил по-французски на «ши», с обратным ударением.

Я не имел к нему никакого уважения и отравлял все минуты его жизни, особенно с тех пор, как я убедился, что, несмотря на все мои усилия, он не может понять двух вещей: десятичных дробей и тройного правила. В душе мальчиков вообще много беспощадного и даже жестокого; я с свирепостью преследовал бедного вольфенбюттельского егеря пропорциями; меня это до того занимало, что я, мало вступавший в подобные разговоры с моим отцом, торжественно сообщил ему о глупости Фёдора Карловича...

При брауншвейг-вольфенбюттельском воине я иногда похаживал к каким-то мальчикам, при которых жил его приятель тоже в должности «немца» и с которыми мы делали дальние прогулки; после него я снова оставался в совершенном одиночестве, скучал, рвался из него и не находил выхода. Не имея возможности пересилить волю отца, я, может, сломился бы в этом существовании, если б вскоре новая умственная деятельность и две встречи, о которых скажу в следующей главе, не спасли меня. Я уверен, что моему отцу ни разу не приходило в голову, какую жизнь он заставляет меня вести, иначе он не отказывал бы мне в самых невинных желаниях, в самых естественных просьбах.

Изредка отпускал он меня с Сенатором во французский театр; это было для меня высшее наслаждение; я страстно любил представления, но и это удовольствие приносило мне столько же

горя, сколько радости. Сенатор приезжал со мною в полниесы и, вечно куда-нибудь званный, увозил меня прежде конца. Театр был у Арбатских ворот, в доме Апраксина; мы жили в Старой Конюшенной, т. е. очень близко, но отец мой строго запретил возвращаться без Сенатора.

Мне было около пятнадцати лет, когда мой отец пригласил священника давать мне уроки богословия, насколько это было нужно для вступления в университет. Катехизис попался мне в руки после Вольтера. Нигде религия не играет такой скромной роли в деле воспитания, как в России, и это разумеется, — величайшее счастье. Священнику за уроки закона божия платят всегда полцены, и даже это так, что тот же священник, если даёт тоже уроки латинского языка, то он за них берёт дороже, чем за катехизис.

Мой отец считал религию в числе необходимых вещей благовоспитанного человека; он говорил, что надобно верить в священное писание без рассуждений, потому что умом тут ничего не возьмёшь, и все мудрования затемняют только предмет; что надобно исполнять обряды той религии, в которой родился, не вдаваясь, впрочем, в излишнюю набожность, которая идёт старым женщинам, а мужчинам неприлична. Верил ли он сам? Я полагаю, что немного верил, по привычке, из приличия и на всякий случай. Впрочем, он сам не исполнял никаких церковных постановлений, защищаясь расстроеным здоровьем...

Мать моя была лютеранка и, стало быть, степенью религиознее; она всякий месяц раз или два ездила в воскресенье в свою церковь или, как Бакай²⁸) упорно называл, «в свою кирху», и я от нечего делать ездил с ней. Там я выучился до артистической степени передразнивать немецких пасторов, их декламацию и цустословие, — талант, который я сохранил до совершеннолетия.

Каждый год отец мой приказывал мне говеть. Я побаивался исповеди, и вообще церковная *mise en scène**) поражала меня и пугала; с истинным страхом подходил я к причастию; но религиозным чувством я этого не назову; это был тот страх, который наводит всё непонятное, таинственное, особенно, когда ему придают серьёзную торжественность: так действует ворожба, заговаривание. Разговевшись после заутрени на святой неделе и объевшись красных яиц, пасхи и кулича, я целый год больше не думал о религии.

Но евангелие я читал много и с любовью: по-славянски и в лютеровском переводе. Я читал без всякого руководства, не всё понимал, но чувствовал искреннее и глубокое уважение к читаемому. В первой молодости моей я часто увлекался вольтерианизмом, любил иронию и паемешку, но не помню, чтоб когда-нибудь я взял в руки евангелие с холодным чувством; это меня проводило через всю жизнь; во все возрасты, при разных событиях я

*) Постановка (франц.).

возвращался к чтению евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу*).

Когда священник начал мне давать уроки, он был удивлён не только общим знанием евангелия, но тем, что я приводил тексты буквально. «Но господь бог, — говорил он, — раскрыв ум, не раскрыл ещё сердце». И мой теолог, пожимая плечами, удивлялся моей «двойственности», однако же был доволен мною, думая, что у Терновского²⁹⁾ сумею держать ответ.

Вскоре религия³⁰⁾ другого рода овладела моей душой.

Глава III

1825—1827

...Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чём дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души.

Все ожидали облегчения в судьбе осуждённых, — коронация была на дворе. Даже мой отец, несмотря на свою осторожность и на свой скептицизм, говорил, что смертный приговор не будет приведён в действие, что всё это делается для того, чтоб поразить умы. Но он, как и все другие, плохо знал юного монарха...

Жители Москвы едва верили своим глазам, читая в «Московских ведомостях» страшную новость 14 июля...

Несмотря на то, что политические мечты занимали меня день и ночь, понятия мои не отличались особенной проницательностью; они были до того сбивчивы, что я воображал, в самом деле, что петербургское возмущение имело, между прочим, целью посадить на трон цесаревича, ограничив его власть...

Само собою разумеется, что одиночество теперь тяготило меня больше прежнего, мне хотелось кому-нибудь сообщить мои мысли и мечты, проверить их, слышать им подтверждение; я слишком гордо признавал себя «злоумышленником», чтоб молчать об этом или чтоб говорить без разбора.

Первый выбор пал на русского учителя.

И. Е. Протопопов был полон того благородного и неопределённого либерализма, который часто проходит с первым седым волосом, с женитьбой и местом, но всё-таки облагораживает человека. Иван Евдокимович был тронут и, уходя, обнял меня со словами: — Дай бог, чтоб эти чувства созрели в вас и укрепились. Его сочувствие было для меня великой отрадой. Он после этого стал носить мне мелко переписанные и очень затёртые тет-

*) Неоднократные свидетельства Герцена об его восторженном отношении к евангелию говорят о наличии в его идеологии следов юношеской религиозно-мистической экзальтации. (М. III.)

радки стихов Пушкина: «Ода на свободу», «Кинжал», «Думы» Рыльева; я их переписывал тайком...

Разумеется, что и чтение моё переменялось. Политика вперёд, а главное — история революции; я её знал только по рассказам т-те Прово. В подвальной библиотеке открыл я какую-то историю девятидесятых годов, писанную роялистом. Она была до того пристрастна, что даже я, 14 лет, ей не поверил. Слышал я мельком от старика Бушо, что он во время революции был в Париже, мне очень хотелось расспросить его; но Бушо был человек суровый и угрюмый, с огромным носом и очками; он никогда не пускался в излишние разговоры со мной, спрягал глаголы, диктовал примеры, бранил меня и уходил, опираясь на толстую сучковатую палку.

— Зачем, — спросил я его среди урока, — казнили Людовика XVI?

Старик посмотрел на меня, опуская одну седую бровь и поднимая другую, поднял очки на лоб, как забрало, вынул огромный синий носовой платок и, утирая им нос, с важностью сказал:

— Parce qu'il a été traître à la patrie*).

— Если бы вы были между судьями, вы подписали бы приговор?

— Обеими руками.

Этот урок стоил всяких субъюнктивов³¹⁾; для меня было довольно: ясное дело, что поделом казнили короля.

Старик Бушо не любил меня и считал пустым шалуном за то, что я дурно приготовлял уроки; он часто говаривал: «Из вас ничего не выйдет», но когда заметил мою симпатию к его идеям regicides**), он сменил гнев на милость, прощал ошибки и рассказывал эпизоды 93 года и как он уехал из Франции, когда «развратные и плуты» взяли верх. Он с тою же важностью, не улыбаясь, оканчивал урок, но уже снисходительно говорил: — Я право думал, что из вас ничего не выйдет, но ваши благородные чувства спасут вас.

Глава IV

Ник и Воробьёвы горы

«Нашей тогда, как в этом месте (на Воробьёвых горах) развивалась история нашей жизни, т. е. моей и твоей».

Письмо Огарёва к Герцену 1833 г.

...Карл Иванович Зонненберг оканчивал тогда немецкую часть воспитания каких-то двух повес, от них он перешёл к одному симбирскому помещику, от него — к дальнему родственнику моего отца³²⁾. Мальчик, которого физическое здоровье и герман-

*) Потому что он изменил отечеству (франц.).

**) Цареубийственным (франц.).

ское произношение было ему вверено и которого Зонненберг называл Ником³³), мне правился: в нём было что-то доброе, кроткое и задумчивое; он вовсе не походил на других мальчиков, которых мне случалось видеть; тем не менее сближались мы туго. Он был молчалив, задумчив; я резв, но боялся его тормозить.

Около того времени, как тверская кузина уехала в Корчеву, умерла бабушка Ника; матери он лишился в первом детстве. В их доме была суета, и Зонненберг, которому нечего было делать, тоже хлопотал и представлял, что сбит с ног; он привёл Ника с утра к нам и просил его на весь день оставить у нас. Ник был грустен, испуган: вероятно, он любил бабушку...

...Посидевши немного, я предложил читать Шиллера. Меня удивляло сходство наших вкусов; он знал на память гораздо больше, чем я, и знал именно те места, которые мне так нравились; мы сложили книгу и выпытывали, так сказать, друг в друге симпатию.

От Мёроса, шедшего с кинжалом в рукаве, «чтоб город освободить от тирана», от Вильгельма Телли, поджидавшего на узкой дорожке в Кюснахте Фогта, переход к 14 декабря и Николаю был лёгок. Мысли эти и эти сближения не были чужды Нику, непечатанные стихи Пушкина и Рылеева были и ему известны; разница с пустыми мальчиками, которых я изредка встречал, была разительна.

Незадолго перед тем, гуляя на Пресненских прудах, я, полный моим бушотовским терроризмом, объяснял одному из моих ровесников справедливость казни Людовика XVI. — Всё так, — заметил юный князь О., — но ведь он был помазанник божий! — Я посмотрел на него с сожалением, разлюбил его и ни разу потом не просился к ним.

Этих пределов с Ником не было; у него сердце так же билось, как у меня; он так же отчалил от угрюмого консервативного берега; стоило дружнее отпихиваться...

Прежде мы имели мало долгих бесед. Карл Иванович мешал, как осенняя муха, и портил всякой разговор своим присутствием, во всё мешался, ничего не понимая, делал замечания, поправлял воротник рубашки у Ника, торопился домой, словом, был очень противен. Через месяц мы не могли провести двух дней, чтоб не увидеться или не написать письмо; я с порывистостью моей натуры привязывался больше и больше к Нику, он тихо и глубоко любил меня.

Дружба наша должна была с самого начала принять характер серьёзный. Я не помню, чтоб шалости занимали нас на первом плане, особенно, когда мы были одни. Мы, разумеется, не сидели с ним на одном месте, — лета брали своё: мы хохотали и дурачились, дразнили Зонненберга и стреляли на нашем дворе из лука; но основа всего была очень далека от пустого товарищества; нас связывала, сверх равенства лет, сверх нашего «химического» средства, наша общая религия. Ничего в свете не очищает,

не облагораживает так отроческий возраст, не хранит его, как сильно возбуждённый общечеловеческий интерес. Мы уважали в себе наше будущее, мы смотрели друг на друга, как на сосу-ды избранные, предназначенные.

Часто мы ходили с Ником за город; у нас были любимые ме-ста — Воробьёвы горы, поля за Дорогомиловской заставой. Он приходил за мной с Зонненбергом часов в шесть или в семь утра и, если я спал, бросал в моё окно песок и маленькие камешки. Я просыпался, улыбаясь, и торопился выйти к нему.

Ранние прогулки эти завёл неутомимый Карл Иванович.

Зонненберг в помещичье-патриархальном воспитании Огарёва играет роль Бирона. С его появлением влияние старика дядьки было устранено; скрепя сердце, молчала недовольная олигархия передней, понимая, что проклятого немца, кушающего за господ-ским столом, не перешибешь. Круто изменил Зонненберг прежние порядки; дядька даже прослезился, узнав, что немчура повёл мо-лодого барина самого покупать в лавке готовые сапоги. Перево-рот Зонненберга так же, как переворот Петра I, отличался воен-ным характером в делах самых мирных. Из этого не следует, чтобы худенькие плечи Карла Ивановича когда-нибудь прикры-вались погоном или эполетами, но природа так устроила немца, что если он не доходит до неряшества и *sans gêne**) филологией или теологией, то какой бы он ни был статский, всё-таки он во-енный. В силу этого и Карл Иванович любил и узкие платья, застёгнутые и с перехватом, в силу этого и он был строгий блюститель собственных правил и, положивши встать в шесть часов утра, поднимал Ника в 59 минуту шестого и никак не позже одной минуты седьмого и отправлялся с ним на чистый воздух.

Воробьёвы горы, у подножия которых тонул Карл Иванович, скоро сделались нашими «святыми холмами».

Раз после обеда отец мой собрался ехать за город. Огарёв был у нас; он пригласил и его с Зонненбергом.

...Мы ушли от них вперёд и, далеко опередивши, взбежали на место закладки Витбергова храма на Воробьёвых горах.

Запылавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозри-мое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, опёрлись друг на друга и, вдруг обняв-шись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу.

Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театраль-ной, а между тем, через двадцать шесть лет я тронут до слёз, вспоминая её: она была свято искренна; это доказала вся жизнь наша...

Мы не знали всей силы того, с чем вступали в бой, но бой приняли.

*) Бесцеремонность (франц.).

Сила сломила в нас многое, но не она нас сокрушила, и ей мы не сдались, несмотря на все её удары...

С 1827 мы не разлучались. В каждом воспоминании того времени, отдельно и общем, везде на первом плане он с своими отроческими чертами, с своей любовью ко мне...

Я не знаю, почему дают какую-то монополию воспоминаниям первой любви над воспоминаниями молодой дружбы. Первая любовь потому так благоуханна, что она забывает различие полов, что она — страстная дружба. С своей стороны, дружба между юношами имеет всю горячность любви и весь её характер: та же застенчивая боязнь касаться словом своих чувств, то же недоверие к себе, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исключительности...

Шиллер остался нашим любимцем; лица его драм были для нас существующие личности, мы их разбирали, любили и ненавидели не как поэтические произведения, а как живых людей. Сверх того, мы в них видели самих себя. Я писал к Нику, несколько озабоченный тем, что он слишком любит Фиеско, что за «всяким» Фиеско стоит свой Веринна. Мой идеал был Карл Моор, но я вскоре изменил ему и перешёл в маркиза Позу. На сто лавров придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит. Странная вещь, что почти все наши грёзы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда — торжеством. Неужели это — русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?³⁴⁾

Так-то, Огарёв, рука в руку входили мы с тобой в жизнь! Шли мы безбоязненно и гордо, не скупясь, отвечали всякому призыву, искренно отдавались всякому увлечению. Путь, нами избранный, был не лёгок; мы его не покидали ни разу; раненые, сломанные, мы шли, и нас никто не обгонял. Я дошёл... не до цели, а до того места, где дорога идёт под гору, и невольно ищу твоей руки, чтобы вместе выйти, чтобы позвать её и сказать, грустно улыбаясь: «Вот и всё».

Глава VI

...отец мой определил-таки меня на службу к князю Н. Б. Юсупову³⁵⁾ в Кремлёвскую экспедицию. Я подписал бумагу, тем дело и кончилось, больше я о службе ничего не слышал, кроме того, что года через три Юсупов прислал дворцового архитектора... известить, что я получил первый офицерский чин³⁶⁾. Все эти чудеса, заметим мимоходом, были ненужны: чины, полученные службой, я разом наверхстал, выдержавши экзамен на кандидата; из-за каких-нибудь двух-трёх годов старшинства не стоило хлопотать³⁷⁾. А между тем, эта мнимая служба чуть не помешала мне вступить в университет. Совет, видя, что я числюсь в канце-

лярии Кремлёвской экспедиции, отказал мне в праве держать экзамен.

Для служащих были особые курсы после обеда, чрезвычайно ограниченные и дававшие право на так называемые «комитетские экзамены». Все лентяи с деньгами, баричи, ничему не учившиеся, всё, что не хотело служить в военной службе и торопилось получить чин асессора, держало комитетские экзамены^{*)}; это было нечто вроде золотых принсков, уступленных старым профессорам, дававшим *privatissime*^{*)} по двадцати рублей за урок.

Начать мою жизнь этими кавдинскими фурулами^{**)} науки далеко не согласовалось с моими мыслями. Я сказал решительно моему отцу, что, если он не найдёт другого средства, я подам в отставку.

Отец мой сердился, говорил, что я своими капризами мешаю ему устроить мою карьеру, бранил учителей, которые натолковали мне этот вздор, но, видя, что всё это очень мало меня трогает, решил ехать к Юсупову.

Юсупов рассудил дело вмиг, отчасти по-барски и отчасти по-татарски. Он позвал секретаря и велел ему написать отпуск на три года. Секретарь помялся, помялся и доложил со страхом пополам, что отпуск более, нежели на четыре месяца, нельзя давать без высочайшего разрешения.

— Какой вздор, братец, — сказал ему князь, — что тут затрудняться! Ну — в отпуск нельзя — пиши, что я командирую его для усовершенствования в науках слушать университетский курс.

Секретарь написал, и на другой день я уже сидел в амфитреатре физико-математической аудитории.

В истории русского образования и в жизни двух последних поколений Московский университет и Царскосельский лицей играют значительную роль.

Московский университет вырос в своём значении вместе с Москвою после 1812 г.; разжалованная императором Петром из царских столиц, Москва была произведена императором Наполеоном (сколько волею, а вдвое того неволею) в столицу народа русского. Народ догадался по боли, которую чувствовал при вести о её занятии неприятелем, о своей кровной связи с Москвою. С тех пор началась для неё новая эпоха. В ней университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены: историческое значение, географическое положение и отсутствие царя.

Сильно возбуждённая деятельность ума в Петербурге после Павла мрачно замкнулась 14 декабрём. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнём и голубым Бенкендорфом.

*) Частным образом (лат.).

**) Кавдинское ущелье в Италии.

Всё пошло назад; кровь бросилась к сердцу; деятельность, скрытая снаружи, закипала, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана. Государь его возненавидел с полежаевской истории. Он прислал А. Писарева³⁹), генерал-майора «Калужских вечеров», попечителем; велел студентов одеть в мундирные сюртуки, велел им носить шпагу, потом запретил носить шпагу, отдал Полежаева в солдаты за стихи, Костенецкого с товарищами — за прозу, уничтожил Критских за бюст, отправил нас в ссылку за сен-симонизм, посадил князя Сергея Михайловича Голицына попечителем и не занимался больше этим «рассадником разврата», благочестиво советуя молодым людям, окончившим курс в лицее и в школе правоведения, не вступать в него.

Голицын был удивительный человек; он долго не мог привыкнуть к тому беспорядку, что когда профессор болен, то и лекции нет; он думал, что следующий по очереди должен был его заменять, так что отцу Терновскому пришлось бы иной раз читать в клинике о женских болезнях, а акушеру Рихтеру — толковать бессеменное зачатие.

Но, несмотря на это, опальный университет рос влиянием: в него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоёв; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои её.

До 1848 г. устройство наших университетов было чисто демократическое. Двери их были открыты всякому, кто мог выдержать экзамен и не был ни крепостным, ни крестьянином, ни уволенным своей общиной. Николай всё это искал, он ограничил приём студентов, увеличил плату своекоштных и дозволил избирать от неё только бедных дворян...

Пёстрая молодёжь, пришедшая сверху, снизу, с юга и севера, быстро сплавливалась в компактную массу товарищества. Общественные различия не имели у нас того оскорбительного влияния, которое мы встречаем в английских школах и казармах; об английских университетах я не говорю: они существуют исключительно для аристократии и для богатых. Студент, который бы вздумал у нас хвастаться своей белой костью или богатством, был бы отлучён от «воды и огня», замучен товарищами.

Внешние различия, и то неглубокие, делившие студентов, шли из других источников; так, например, медицинское отделение, находившееся по другую сторону сада, не было с нами так близко, как прочие факультеты; к тому же его большинство состояло из семинаристов и немцев. Немцы держали себя несколько в стороне и были очень пропитаны западно-мещанским духом. Всё воспитание несчастных семинаристов, все их понятия были совсем иные, чем у нас, мы говорили разными языками; они, выросшие под гнётом монашеского деспотизма, забытые своей

риторикой и теологией, завидовали нашей развязности: мы досадовали на их христианское смирение.

Я вступил в физико-математическое отделение, несмотря на то, что никогда не имел ни большой способности, ни большой любви к математике. Учились ей мы с Ником у одного учителя, которого мы любили за его анекдоты и рассказы; при всей своей занимательности, он вряд ли мог развить особую страсть к своей науке. Он знал математику включительно до конических сечений, т. е. ровно столько, сколько было нужно для приготовления гимназистов к университету; настоящий философ, он никогда не полюбоществовал заглянуть в «университетские части» математики. Особенно замечательно при этом, что он только одну книгу и читал и читал её постоянно, лет десять, это Франкеров курс⁴⁰), но, воздержный по характеру и не любивший роскоши, он не переходил известной страницы.

Я избрал физико-математический факультет, потому что в нём же преподавались естественные науки, а к ним именно в это время развилась у меня сильная страсть.

Довольно странная встреча навела меня на эти занятия*)...

С самого начала нашего знакомства Химик увидел, что я серьёзно занимаюсь, и стал уговаривать, чтоб я бросил «пустые» занятия литературой и «опасные без всякой пользы» — политикой, а принялся бы за естественные науки. Он дал мне речь Кювье о геологических переворотах и де-Кандолеву растительную органографию. Видя, что чтение идёт на пользу, он предложил свои превосходные собрания, снаряды, гербарии и даже своё руководство. Он на своей почве был очень занимателен, чрезвычайно учён, остр и даже любезен; но для этого ненадобно было ходить дальше обезьян; от камней до orang-утанга его всё интересовало, далее он неохотно пускался, особенно в философию, которую считал болтовней. Он не был ни консерватор, ни отсталой человек, он просто не верил в людей, т. е. верил, что эгоизм — исключительное начало всех действий, и находил, что его сдерживают только безумие одних и невежество других.

Меня возмущал его материализм. Поверхностный и со страхом пополам вольтерианизм наших отцов несколько не был похож на материализм Химика. Его взгляд был спокойный, последовательный, оконченный; он напоминал известный ответ Лаланда Наполеону: «Кант принимает гипотезу бога», — сказал ему Бонапарт. — «Sire**), — возразил астроном, — мне в моих занятиях никогда не случалось нуждаться в этой гипотезе».

Атеизм Химика шёл далее теологических сфер. Он считал Жофруа Сент-Илера мистиком, а Окена — просто повреждённым.

*) Далее Герцен рассказывает о встрече со своим сводным двоюродным братом Алексеем Александровичем Яковлевым, русским естествоиспытателем, прозванным в семье «химик».

**) Государь (франц.).

Он с тем пренебрежением, с которым мой отец сложил «Историю» Карамзина, закрыл сочинения натурфилософов. «Сами выдумали первые причины, духовные силы, да и удивляются потом, что их ни найти, ни понять нельзя». Это был мой отец в другом издании, в ином веке и иначе воспитанный.

Взгляд его становился ещё безотраднее во всех жизненных вопросах. Он находил, что на человеке так же мало лежит ответственности за добро и зло, как на звере; что всё — дело организации, обстоятельств и вообще устройства нервной системы, от которой больше ждут, нежели она в состоянии дать...

Теорий своих, кроме химических, он никогда не проповедывал, они высказывались случайно, вызывались мною. Он даже нехотя отвечал на мои романтические и философские возражения; его ответы были коротки, он их делал улыбаясь и с той деликатностью, с которой большой, старый мастиф играет со шпиком, позволяя ему себя теревить и только легко отгоняя лапой. Но это-то и дразнило всего больше, и я неутомимо возвращался *à la charge**), не выигрывая, впрочем, ни одного пальца почвы. Впоследствии, т. е. лет через двенадцать, я много раз поминал Химика так, как поминал замечания моего отца; разумеется, он был прав в трёх четвертях всего, на что я возражал. Но ведь и я был прав. Есть истины, — мы уже говорили об этом, — которые, как политические права, не передаются раньше известного возраста.

Влияние Химика заставило меня избрать физико-математическое отделение; может, ещё лучше было бы вступить в медицинское, но беды большой в том нет, что я сперва посредственно выучил, потом основательно забыл дифференциальные и интегральные исчисления.

Без естественных наук нет спасения современному человеку; без этой здоровой пищи, без этого строгого воспитания мысли фактами, без этой близости к окружающей нас жизни, без смирения перед её независимостью где-нибудь в душе остаётся монашеская келья, и в ней — мистическое зерно, которое может разлиться тёмной водой по всему разумению...

Итак, наконец, затворничество родительского дома пало. Я был *au large***); вместо одиночества в нашей небольшой комнате, вместо тихих и полускрываемых свиданий с одним Огарёвым, шумная семья в семьсот голов окружила меня. В ней я больше оклиматился в две недели, чем в родительском доме с самого дня рождения.

А дом родительский меня преследовал даже в университете в виде лакея, которому отец мой велел меня провожать, особенно, когда я ходил пешком. Целый семестр я отделялся от про-

*) Возобновлял попытку (франц.).

**) На просторе (франц.).

вожатого и насилу официально успел в этом. Я говорю «официально», потому что Пётр Фёдорович, мой камердинер, на которого была возложена эта должность, очень скоро понял, во-первых, что мне неприятно быть провожаемым, во-вторых, что самому ему гораздо приятнее в разных увеселительных местах, чем в передней физико-математического факультета, в которой всё удовольствие ограничивалось беседою с двумя сторожами и взаимным потчеванием друг друга и самих себя табаком.

К чему посылали за мной провожатого? Неужели Пётр, с молодых лет зашибавший по несколько дней сряду, мог меня остановить в чём-нибудь? Я полагаю, что мой отец и не думал этого, но для своего спокойствия брал меры недействительные, но всё же меры, вроде того, как люди, не веря, говеют. Черта эта принадлежит нашему старинному помещичьему воспитанию. До семи лет было приказано водить меня за руку по внутренней лестнице, которая была несколько крута; до одиннадцати лет мыла в корыте Вера Артамоновна; стало очень последовательно — за мной, студентом, посылали слугу и до 21 года мне не позволялось возвращаться домой после половины одиннадцатого. Я практически очутился на воле и на своих ногах в ссылке; если бы меня не сослали, вероятно, тот же режим продолжался бы до 25 лет... до 35.

Как большая часть живых мальчиков, воспитанных в одиночестве, я с такой искренностью и стремительностью бросался каждому на шею, с такой безумной неосторожностью делал пропаганду и так откровенно сам всех любил, что не мог не вызвать горячий ответ со стороны аудитории, состоявшей из юношей почти одного возраста (мне был тогда семнадцатый год).

Мудрые правила: со всеми быть учтивым и ни с кем близким, никому не доверяться — столько же способствовали этим сближениям, как неотлучная мысль, с которой мы вступили в университет, — мысль, что здесь совершатся наши мечты, что здесь мы бросим семена, положим основу союзу. Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдёт вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней.

Молодёжь была прекрасная в наш курс. Именно в это время пробуждались у нас больше и больше теоретические стремления. Семинарская выучка и шляхетская лень равно исчезали, не заменяясь ещё немецким утилитаризмом, удобряющим умы наукой, как поля навозом, для усиленной жатвы. Порядочный круг студентов не принимал больше науку за необходимый, но скучный просёлок, которым скорее обезжуют в коллежские ассесоры. Возникавшие вопросы вовсе не относились до таблицы о рангах.

С другой стороны, научный интерес не успел ещё выродиться в доктринаризм; наука не отвлекала от вмешательства в жизнь, страдавшую вокруг. Это сочувствие с нею необыкновенно поднимало гражданскую нравственность студентов. Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто всё, что приходило в го-

лову; тетрадки за запрещённых стихов ходили из рук в руки, запрещённые книги читались с комментариями, и при всём том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства. Были робкие молодые люди, уклонявшиеся, отстранявшиеся, но и те молчали...

Ректором был тогда Двигубский, один из остатков и образцов допотопных профессоров или, лучше сказать, до пожара^{ных}, то есть до 1812 г. Они вывелись теперь; с попечительством князя Оболенского вообще оканчивается патриархальный период Московского университета. В те времена начальство университетом не занималось, профессора читали и не читали, студенты ходили и не ходили и ходили при том не в мундирских сюртуках *à l'instar**) конногегерских, а в разных отчаянных эксцентрических платьях, в крошечных фуражках, едва державшихся на девственных волосах. Профессора составляли два стана или слоя, мирно ненавидевшие друг друга; один состоял исключительно из немцев, другой — из не немцев. Немцы, в числе которых были люди добрые и учёные, как Лодер, Фишер, Гильдебрандт и сам Гейм, вообще отличались незнанием и нежеланием знать русского языка, хладнокровием к студентам, духом западного клиентизма, ремесленничества, неумеренным курением сигар и огромным количеством крестов, которых они никогда не снимали. Не немцы, с своей стороны, не знали ни одного (живого) языка, кроме русского, были отечественно-раболопны, семинарски неуклюжи, держались, за исключением Мерзлякова, в чёрном теле и, вместо неумеренного употребления сигар, употребляли неумеренно настойку. Немцы были больше из Геттингена, не немцы — из поповских детей...

Учились ли мы при всём этом чему-нибудь? Могли ли научиться? Полагаю, что «да». Преподавание было скуднее, объём его меньше, чем в сороковых годах. Университет, впрочем, не должен оканчивать научное воспитание; его дело — поставить человека *à tête***) продолжать на своих ногах, его дело — возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и делали такие профессора, как М. Г. Павлов, а с другой стороны, и такие, как Каченовский. Но больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений... Московский университет своё дело делал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и ещё спокойнее лежать под землёй...

К чрезвычайным событиям нашего курса, продолжавшегося четыре года (потому что во время холеры университет был закрыт целый семестр), принадлежат сама холера, приезд Гумбольдта и посещение Уварова.

*) По образцу (франц.).

**) В состоянии (франц.).

Гумбольдт, возвращаясь с Урала, был встречен в Москве в торжественном заседании общества естествоиспытателей при университете, членами которого были разные сенаторы, губернаторы, вообще люди, не занимавшиеся ни естественными, ни неестественными науками. Слава Гумбольдта, тайного советника его прусского величества, которому государь император изволил дать Анну и приказал не брать с него денег за материал и диплом, дошла и до них. Они решились не ударить себя лицом в грязь перед человеком, который был на Чимборазо и жил в Сан-Суси.

Мы до сих пор смотрим на европейцев и Европу в том роде, как провинциалы смотрят на столичных жителей — с подобострастием и чувством собственной вины, принимая каждую разницу за недостаток, краснея своих особенностей, скрывая их, подчиняясь и подражая. Дело в том, что мы были застрашены и не оправившись от насмешек Петра I, от оскорблений Бирона, от выскомерия служебных немцев и воспитателей французов...

Второй «знаменитый» путешественник был тоже в некотором смысле «Промифей наших дней», только что он свет крал не у Юпитера, а у людей. Этот Промифей, воспетый не Глинкою, а самим Пушкиным в послании к Лукуллу, был министр народного просвещения С. С. (ещё не граф) Уваров⁴¹). Он удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал; настоящий сиделец за прилавком просвещения, он берёт в памяти образчики всех наук, их казовые концы или, лучше, начала. При Александре он писал либеральные брошюры по-французски, потом переписывался с Гёте по-немецки о греческих предметах. Сделавшись министром, он толковал о славянской поэзии IV столетия, на что Каченовский ему заметил, что тогда впору было с медведями сражаться нашим праотцам, а не то песнопеть о самофракийских богах и самодержавном милосердии. Вроде патента, он носил в кармане письмо от Гёте, в котором Гёте ему сделал прекурёзный комплимент, говоря: «Напрасно извиняетесь вы в вашем слоге: вы достигли до того, до чего я не мог достигнуть, — вы забыли немецкую грамматику».

Вот этот-то действительный тайный Пико де ла Мирандола завёл нового рода испытания. Он велел отобрать лучших студентов для того, чтоб каждый из них прочёл по лекции из своих предметов вместо профессора. Деканы, разумеется, выбрали самых бойких.

Лекции эти продолжались целую неделю. Студенты должны были приготавливаться на все темы своего курса, декан вынимал билет и имя. Уваров созвал всю московскую знать. Архимандриты и сенаторы, генерал-губернатор и Ив. Ив. Дмитриев — все были налицо.

Мне пришлось читать у Ловецкого из минералогии...

Когда декан вызвал меня, публика была несколько утомлена; две математические лекции распространили уныние и грусть на людей, не понявших ни одного слова. Уваров требовал что-ни-

будь поживее и студентов с «хорошо повешенным языком». Щепкин указал на меня.

Я взошёл на кафедру...

Пока я придумывал, с чего начать, мне пришла счастливая мысль в голову: если я и ошибусь, заметят, может, профессора, но ни слова не скажут, другие же сами ничего не смыслят, а студенты, лишь бы я не срезался на полдороге, будут довольны, потому что я у них в фаворе. Итак, во имя Гайюи, Вернера и Митчерлиха, я прочёл свою лекцию, заключил её философскими рассуждениями и всё время относился и обращался к студентам, а не к министру. Студенты и профессора жали мне руки и благодарили. Уваров водил представлять князю Голицыну; он сказал что-то одними гласными так, что я не понял. Уваров обещал мне книгу в знак памяти и никогда не прислал...

Но не довольно ли студентских воспоминаний? Я боюсь, не старчество ли это останавливаться на них так долго; прибавлю только несколько подробностей о холере 1831 года...

Я был всё время жесточайшей холеры 1849 (года) в Париже. Болезнь свирепствовала страшно. Июньские жары ей помогали, бедные люди мёрзли, как мухи; мещане бежали из Парижа, другие сидели на заперти. Правительство, исключительно занятое своей борьбой против революционеров, не думало брать действительных мер. Тщедушные коллэкты*) были несоразмерны требованиям. Бедные работники оставались покинутыми на произвол судьбы, в больницах не было довольно кроватей, у полиции не было достаточно гробов, и в домах, битком набитых разными семьями, тела оставались дня по два во внутренних комнатах.

В Москве было не так.

Князь Д. В. Голицын, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, увлёк московское общество, и как-то всё уладилось по-домашнему, т. е. без особенного вмешательства правительства. Составился комитет из почётных жителей — богатых помещиков и купцов. Каждый член взял себе одну из частей Москвы. В несколько дней было открыто двадцать больниц, они не стоили правительству ни копейки, всё было сделано на пожертвованные деньги. Купцы давали даром всё, что нужно для больниц: одеяла, бельё и тёплую одежду, которую оставляли выздоравливавшим. Молодые люди шли даром в смотрителя больниц для того, чтобы приношения не были наполовину украдены служащими.

Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекаря *en masse***) привели себя в распоряжение холерного комитета; их разослали по больницам, и они остались там безвыходно до конца заразы. Три или четыре месяца эта чудная молодёжь прожила в больницах ординаторами, фельдшерами, сидел-

*) Сбор пожертвований (франц.).

**) Во множестве (франц.).

ками, письмоводителями — и всё это без всякого вознаграждения и, притом, в то время, когда так преувеличенно боялись заразы. Я помню одного студента, малороссиянина, кажется, Фицхеллаурова, который в начале холеры просился в отпуск по важным семейным делам. Отпуск во время курса дают редко: он, наконец, получил его; в самое то время, как он собирался ехать, студенты отправлялись по больницам. Малороссиянин положил свой отпуск в карман и пошёл с ними. Когда он вышел из больницы, отпуск был давно просрочен, и он первый от души хохотал над своей поездкой.

Москва, повидимому, сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольем, свадьбами и ничем, просыпается всякий раз, когда надобно, и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза.

Она в 1612 году кроваво обвенчалась с Россией и сплавилась с нею огнём 1812...

Хмура брови и надувая губы, ждал Наполеон ключей Москвы у Дорогомиловской заставы, нетерпеливо играя мундштуком и теребя перчатку. Он не привык один входить в чужие города. Но не пошла Москва моя, — так говорит Пушкин, — а зажгла самой себя.

Явилась холера, и снова народный город показался полным сердца энергии!

... Сеть шпионства, обведённая около университета с начала царствования*), стала затягиваться. В 1832 году пропал поляк, студент нашего отделения. Присланный на казённый счёт, не по своей воле, он был помещён в наш курс; мы познакомились с ним; он вёл себя скромно и печально; никогда мы не слыхали от него ни одного резкого слова, но никогда не слыхали и ни одного слабого. Одним утром его не было на лекциях, на другой день тоже нет...

Прошло несколько месяцев; вдруг разнёсся в аудитории слух, что схвачено ночью несколько человек студентов...

Все мы лихорадочно ждали, что с ними будет, но и они сначала, как будто, канули в воду. Буря, ломавшая поднимавшиеся всходы, была возле. Мы уже не то, что чуяли её приближение, а слышали, видели и жались теснее и теснее друг к другу.

Опасность поднимала ещё более наши раздражённые нервы, заставляла сильнее биться сердца и с большей горячностью любить друг друга...

Прошло с год, дело взятых товарищей окончилось. Их обвинили (как впоследствии нас, потом петрашевцев) в намерении составить тайное общество, в преступных разговорах; за это их отправляли в солдаты, в Оренбург...

*) Николая I.

После декабристов все попытки основывать общества не удавались действительно; бедность сил, неясность целей указывали на необходимость другой работы, — предварительной, внутренней...

Глава VII

Пока ещё не разразилась над нами гроза, мой курс пришёл к концу. Обыкновенные хлопоты, неспяные ночи для бесполезных мнемонических попыток, поверхностное учение на скорую руку и мысль об экзамене, побеждающая научный интерес, — всё это, как всегда. Я писал астрономическую диссертацию на золотую медаль и получил — серебряную...

Выходя из-за университетских ворот, я чувствовал, что не так выхожу, как вчера, как всякий день; я отчуждался от университета, от этого общего родительского дома, в котором провёл так юно-хорошо четыре года; а с другой стороны, меня тешило чувство признанного совершеннолетия, и отчего же не признаться, и название кандидата, полученное сразу.

Alma mater! Я так много обязан университету и так долго после курса жил его жизнью, с ним, что не могу вспоминать о нём без любви и уважения. В неблагодарности он меня не обвинит, по крайней мере, в отношении к университету легка благодарность: она нераздельна с любовью, с светлым воспоминанием молодого развития... И я благословляю его из дальней чужбины!

Год, проведённый нами после курса, торжественно заключил первую юность. Это был продолжающийся пир дружбы, обмена идей, вдохновенья, разгула...

Я считаю большим несчастьем положение народа, которого молодое поколение не имеет юности; мы уже заметили, что одной молодости на это недостаточно. Самый уродливый период немецкого студенчества во сто раз лучше мещанского совершеннолетия молодёжи во Франции и Англии; для меня американские пожилые люди лет в пятнадцать отроду просто противны.

Во Франции некогда была блестящая аристократическая юность, потом революционная...

... С Наполеоном из юношей делаются ординарцы; с реставрацией, «с воскресением старости» юность вовсе несовместна: всё становится совершеннолетним, деловым, т. е. мещанским.

Последние юноши Франции были сен-симонисты и фаланга. Несколько исключений не могут изменить прозаически-плоский характер французской молодёжи...

В Англии артистический период заменён пароксизмом милых оригинальностей и эксцентрических любезностей, т. е. безумных проделок, нелепых трат, тяжёлых шалостей, увесистого, но тщательно скрытого разврата, бесплодных поездок в Калабрию или Квито, на юг, на север; по дороге — лошади, собаки, скачки, глупые обеды, а тут и жена с неимоверным количеством румяных и

дебелых baby*), обороты, «Times»**), парламент и придавливающий к земле ольд-порт***).

Делали шалости и мы, пировали и мы, но основной тон был не тот, диапазон был слишком поднят. Шалость, разгул не становились целью. Цель была вера в призвание; положимте, что мы ошибались, но, фактически веруя, мы уважали в себе и друг в друге орудия общего дела...

Общие вопросы, гражданская экзальтация спасали нас; и не только они, но сильно научный и художественный интерес. Они, как зажёжённая бумага, выжигали сальные пятна...

Время, следовавшее за умирением польского восстания, быстро воспитывало. Нас уже не одно то мучило, что Николай вырос и оселся в строгости; мы начали с внутренним ужасом разглядывать, что и в Европе, и особенно во Франции, откуда ждали пароль политический и лозунг, дела идут неладно — теории наши становились нам подозрительны.

Детский либерализм 1826 года, сложившийся мало-помалу в то французское воззрение, которое проповедывали Лафайет и Бенжамен Констан, пел Беранже, терял для нас после гибели Польши свою чарующую силу.

Тогда-то часть молодёжи... бросилась на глубокое и серьёзное изучение русской истории, другая — в изучение немецкой философии.

Мы с Огарёвым не принадлежали ни к тем, ни к другим. Мы слишком сжились с иными идеями, чтоб скоро поступиться ими. Вера в беранжеровскую застольную революцию была потрясена, но мы искали чего-то другого, чего не могли найти ни в несторовской летописи, ни в трансцендентальном идеализме Шеллинга.

Середь этого брожения, середь догадок, усилий понять сомнения, пугавшие нас, попались в наши руки сен-симонистские брошюры, их проповеди, их процессы. Они поразили нас...

Великие слова, заключающие в себе целый мир новых отношений между людьми, — мир здоровья, мир духа, мир красоты, мир естественно-нравственный и потому нравственно чистый...

Новый мир толкался в дверь; наши души, наши сердца растворялись ему. Сен-симонизм лёг в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном.

Удобовпечатлимые, искренно-молодые, мы легко были подхвачены мощной волной его и рано переплыли тот рубеж, на котором останавливаются целые ряды людей, складывают руки, идут назад или ищут по сторонам броду через море!

Но не все рискнули с нами. Социализм и реализм остаются до сих пор пробными камнями, брошенными на путях революции и науки.

*) Детей.

**) «Таймс» — английская газета.

***) Старый порт.

Сирота

В половине 1825 года Химик, принявший дела отца в большом беспорядке, отправил из Петербурга в Шацкое имение своих братьев и сестёр; он давал им господский дом и содержание, предоставляя впоследствии заняться их воспитанием и устроить их судьбу. Княгиня⁴³⁾ поехала на них взглянуть. Ребёнок восьми лет поразил её своим грустно-задумчивым видом. Княгиня посадила его в карету, привезла домой и оставила у себя.

Мать была рада и отправилась с другими детьми в Тамбов. Химик согласился — ему было всё равно.

«Помни всю жизнь, — говорила маленькой девочке, когда они приехали домой, компаньонка, — помни, что княгиня твоя благодетельница, и молись о продолжении её дней. Что была бы ты без неё?»

И вот, в этом отжившем доме, над которым угрюмо тяготели две неугомонные старухи: одна, полная причуд и капризов, другая⁴⁴⁾ её беспокойная лазутчица, лишённая всякой деликатности, всякого такта, — явилось дитя, оторванное от всего близкого ему, чужое всему окружающему и взятое от скуки, как берут собачонок, или как князь Фёдор Сергеевич⁴⁵⁾ держал канареек.

В длинном траурном шерстяном платье, бледная до синеватого отлива, девочка сидела у окна, когда меня привёз через несколько дней отец мой к княгине. Она сидела молча, удивлённая, испуганная, и глядела в окно, боясь смотреть на что-нибудь другое...

Тяжёлая жизнь начиналась для неё. Ни одного тёплого слова, ни одного нежного взгляда, ни одной ласки; возле, около — посторонние, морщины, пожелтелые щёки, существа потухающие, хилые. Княгиня была постоянно строга, взыскательна, нетерпелива и держала себя слишком далеко от сироты, чтоб ей в голову пришло приютиться к ней, отогреться, утешиться в её близости или поплакать... Компаньонка сносила её, как каприз княгини, как вещь лишнюю, но которая ей вредить не может; она, особенно при посторонних, даже показывала, что покровительствует ребёнку и ходатайствует перед княгиней о ней.

Ребёнок не привыкал и через год был столько же чужд, как в первый день, и ещё печальнее. Сама княгиня удивлялась его «серioзности» и иной раз, видя, как она часы целые уныло сидит за маленькими пальцами, говорила ей: «Что ты не порезвишься, не пробежишь?» Девочка улыбалась, краснела, благодарила, но оставалась на месте.

И княгиня оставляла её в покое, несколько не заботясь, в сущности, о грусти ребёнка и не делая ничего для его развлечения. Приходили праздники; другим детям дарили игрушки, другие дети рассказывали о гуляньях, об обновлениях. Сироте ничего не

дарили. Княгиня думала, что довольно делает для неё, давая ей кров; благо есть башмаки, на что ещё куклы! Их, в самом деле, было не нужно — она не умела играть, да и не с кем было.

Одно существо поняло положение сироты: за ней была представлена старушка-няня; она одна просто и наивно любила ребёнка. Часто вечером, раздевая её, она спрашивала: «Да что же это вы, моя барышня, такие печальные?» Девочка бросалась к ней на шею и горько плакала, и старушка, заливаясь слезами и качая головой, уходила с подсвечником в руке.

Так шли годы. Она не жаловалась, она не роптала, она только лет двенадцати хотела умереть. «Мне всё казалось, — писала она, — что я попала ошибкой в эту жизнь и что скоро ворочусь домой, — но где же был мой дом?.. — Уезжая из Петербурга, я видела большой сугроб снега на могиле моего отца; моя мать, оставляя меня в Москве, скрылась на широкой, бесконечной дороге... Я горячо плакала и молила бога взять меня скорей домой».

«... Мое ребячество было самое печальное, горькое; сколько слёз пролито, невидимых никем, сколько раз, бывало, ночью, не понимая ещё, что такое молитва, я вставала украдкой (не смея и молиться не в назначенное время) и просила бога, чтоб меня кто-нибудь любил, ласкал. У меня не было той забавы или игрушки, которая бы заняла меня и утешила, потому что ежели и давали что-нибудь, то с упрёком и с непременно прибавлением: «ты этого не стоишь». Каждый лоскут, получаемый от них, был мною оплакан; потом я становилась выше этого, стремление к науке душило меня, я ничему больше не завидовала в других детях, как учёню. Многие меня хвалили, находили во мне способности и с состраданием говорили: «Если бы приложить руки к этому ребёнку!» «Он дивил бы свет», — договаривала я мысленно, и щёки мои горели, я спешила идти куда-то, мне виднелись мои картины, мои ученики, а мне не давали клочка бумаги, карандаша...» ...

Глубоко грустная нота постоянно звучала в её груди; вполне она никогда не исключалась, а только иногда умолкала, поглощённая светлой минутой жизни.

Месяца за два до своей кончины, возвращаясь ещё раз к своему детству, она писала:

«Кругом было старое, дурное; холодное, мёртвое, ложное; моё воспитание началось с упрёков и оскорблений, вследствие этого — отчуждение от всех людей, недоверчивость к их ласкам, отвращение от их участия, углубление в самое себя...»

Но для такого углубления в самого себя надобно было иметь не только страшную глубь души, в которой привольно нырять, но страшную силу независимости и самобытности. Жить своею жизнью в среде неприязненной и пошлой, гнетущей и безвыходной могут очень немногие: иной раз дух не вынесет, иной раз тело сломится.

Сиротство и грубые прикосновения в самый нежный возраст оставили чёрную полосу на душе, рану, которая никогда не срасталась вполне.

«Я не помню, — пишет она в 1837, — когда бы я свободно и от души произнесла слово «маменька», к кому бы, беспечно забывая всё, склонилась на грудь. С восьми лет чужая всем, я люблю мою мать... но мы не знаем друг друга».

Глядя на бледный цвет лица, на большие глаза, окаймлённые тёмной полоской, двенадцатилетней девочки, на её томную усталость и вечную грусть, многим казалось, что это — одна из предназначенных, ранних жертв чахотки, — жертв, с детства отмеченных перстом смерти, особым знамением красоты и преждевременной думы. «Может, — говорит она, — я и не вынесла бы этой борьбы, если бы я не была спасена нашей встречей»...

...Редко, и всякий раз поневоле, ездил я к княгине; ещё реже привозила её княгиня к нам. Визиты княгини производили к тому же почти всегда неприятные впечатления; она обыкновенно ссорилась из-за пустяков с моим отцом, и, не видавший месяца два, они говорили друг другу колкости, прикрывая их нежными оборотами, в том роде, как леденцом покрывают противные лекарства. «Голубчик мой», — говорила княгиня; «голубушка моя», — отвечал мой отец, и ссора шла своим порядком. Мы всегда радовались, когда княгиня уезжала. Сверх того не надобно забывать, что я тогда был совершенно увлечён политическими мечтами, науками, жил университетом и товариществом.

Но чем жила она, сверх своей грусти, в продолжение этих тёмных, длинных девяти годов, окружённая глупыми ханжами, надменными родственниками, скучными иеромонахами, толстыми попадьями, лицемерно покровительствуемая компаньонкой и не выпускаемая из дома далее печального двора, поросшего травой, и маленького палисадника за домом?

Из приведённых строк уже видно, что княгиня не особенно изубычивалась на воспитание ребёнка, взятого ею. Нравственностью занималась она сама; это преподавание состояло из наружной выправки и из привития целой системы лицемерия. Ребёнок должен был быть с утра зашнурован, причёсан, на вытяжке; это можно бы было допустить в ту меру, в которую оно не вредно здоровью; но княгиня шнуровала вместе с талней и душу, подавляя всякое откровенное, чистосердечное чувство; она требовала улыбку и весёлый вид, когда ребёнку было грустно, ласковое слово — когда ему хотелось плакать, вид участия к предметам безразличным, словом, постоянной лжи.

Сначала бедную девочку ничему не учили под предлогом, что раннее учение бесполезно; потом, т. е. года через три или четыре, наскучив замечаниями Сенатора и даже посторонних, княгиня решилась устроить учение, имея в виду наименьшую трату денег.

Для этого она воспользовалась старушкой-гувернанткой, ко-

торая считала себя обязанной княгине и иногда нуждалась в ней; таким образом французский язык доведён был до последней дешевизны, зато и преподавался à batons rompus*).

Но и русский язык был доведён до того же; для него и для всего прочего был приглашён сын какой-то вдовы-попадьи, благодетельствованной княгиней, разумеется, без особых трат: через её ходатайство у митрополита двое сыновей попадьи были сделаны соборными священниками. Учитель был их старший брат, дьякон бедного прихода, обременённый большой семьёй; он гибнул от нищеты, был доволен всякой платой и не смел делать условий с благодетельницей братьев.

Что может быть жалче, недостаточнее такого воспитания, а между тем всё пошло на дело, всё принесло удивительные плоды, так мало нужно для развития, если только есть чему развиваться.

Бедный, худой, высокий и плешивый дьякон был один из тех восторженных мечтателей, которых не лечат ни лета, ни бедствия, напротив, бедствия их поддерживают в мистическом созерцании. Его вера, доходившая до фанатизма, была искренна и не лишена поэтического оттенка. Между ним, отцом голодной семьи, и сиротой, кормимой чужим хлебом, тотчас образовалось взаимное понимание.

В доме княгини дьякона принимали так, как следует принимать беззащитного и к тому же кроткого бедняка, — едва кивая ему головой, едва устаивая его словом. Даже компаньонка считала необходимым обращаться с ним свысока; а он едва замечал и их самих и их приём, с любовью давал свои уроки, был тронут понятием ученицы и умел трогать её самое до слёз. Этого княгиня не могла понять, журила ребёнка за плаксивость и была очень недовольна, что дьякон расстраивает нервы: «Уж это слишком как-то эдак, совсем не по-детски!»

А между тем, слова старика открывали перед молодым существом иной мир, иначе симпатичный, нежели тот, в котором сама религия делалась чем-то кухонным, сводилась на соблюдение постов, да на хождение ночью в церковь, где всё было ограничено, поддельно, условно и жало душу своей узкостью. Дьякон дал ученице в руки евангелие, — и она долго не выпускала его из рук. Евангелие была первая книга, которую она читала и перечитывала с своей единственной подружкой Сашей, племянницей няни, молодой горничной княгини**).

... Две молодые девушки (Саша была постарше) вставали рано по утру, когда всё в доме ещё спало, читали евангелие и молились, выходя на двор, под чистым небом. Они молились о княгине, о компаньонке, просили бога раскрыть их души; выдумывали себе испытания, не ели целые недели мяса, мечтали о монастыре и о жизни за гробом.

*) Через пятое на десятое (франц.).

**) См. наше примечание к стр. 54.

Такой мистицизм идёт к отроческим чертам, к тому возрасту, где всё — ещё тайна, всё — религиозная мистерия, пробуждающаяся мысль ещё не ясно светит из-за утреннего тумана, а туман ещё не рассеян ни опытом, ни страстью...

Одни сухие и недаровитые натуры не знают этого романтического периода; их столько же жаль, как те слабые и хилые существа, у которых мистицизм переживает молодость и остаётся навсегда. В наш век с реальными натурами этого и не бывает; но откуда могло проникнуть в дом княгини светское влияние девятнадцатого столетия? — он был так хорошо законопачен.

Щель нашлась-таки.

Корчевская кузина иногда гостила у княгини. Она любила «маленькую кузину», как любят детей, особенно несчастных, но не знала её. С изумлением, почти с испугом разглядела она впоследствии эту необыкновенную натуру и, порывистая во всём, тотчас решилась поправить своё невнимание. Она просила у меня Гюго, Бальзака или вообще что-нибудь новое. «Маленькая кузина, — говорила она мне, — гениальное существо, нам следует её вести вперёд».

«Большая кузина», — и при этом названии я не могу без улыбки вспомнить, что она была прекрошечная ростом, — сообщила разом своей ставленнице всё, бродившее в её собственной душе: шиллеровские идеи и идеи Руссо, революционные мысли, взятые у меня, и мечты влюблённой девушки, взятые у самой себя. Потом она ей тайком надавала французских романов, стихов, поэм. Это были большею частью книги, вышедшие после 1830 года. Они, при всех недостатках, сильно будили мысль и крестили огнём и духом юные сердца. В романах и повестях, в поэмах и песнях того времени, с ведома писателя или нет, везде сильно билась социальная артерия, везде обличались общественные раны, везде слышался стон сгнетённых голодом невинных каторжников работы; тогда ещё этого ропота и этого стога не боялись, как преступления.

Само собою разумеется, что «кузина» надавала книг без всякого разбора, без всяких объяснений, и я думаю, что в этом не было вреда; есть организации, которым никогда не нужна чужая помощь, опора, указка, которые всего лучше идут там, где нет решётки.

Вскоре прибавилось другое лицо, продолжавшее светское влияние корчевской кузины. Княгиня, наконец, решилась взять гувернантку и, чтобы недорого платить, пригласила молодую русскую девушку, только что выпущенную из института.

Русские гувернантки у нас ни по чём, по крайней мере так ещё было в тридцатых годах, а между тем, при всех недостатках они всё же лучше большинства француженок из Швейцарии, бессрочно отпускных лореток и отставных актрис, которые с отчаянья бросаются на воспитание, как на последнее средство доставать насущный хлеб, — средство, для которого не нужно ни

таланта, ни молодости, ничего, кроме произношения «гррра» и манер *d'une dame de comptoir**), которые часто у нас по провинциям принимаются за «хорошие» манеры. Русские гувернантки выпускаются из института или из воспитательных домов, стало быть, всё же имеют какое-нибудь правильное воспитание и не имеют того мещанского *pli***), которое вывозят иностранки.

Нынешних французских воспитательниц не надобно смешивать с теми, которые приезжали в Россию до 1812 года. Тогда и Франция была меньше мещанской, и приезжавшие женщины принадлежали совсем другому слою. Долею это были дочери эмигрантов, разорившихся дворян, вдовы офицеров, часто их покинутые жёны...

... К числу прежних гувернанток принадлежала француженка, гасивавшая у княгини. Она говорила с улыбкой, отборным слогом и никогда не употребляла ни одного сильного выражения. Она вся состояла из хороших манер и никогда ни на минуту не забывалась. Я уверен, что она ночью в постели больше преподавала, как следует спать, нежели спала.

Молодая институтка была девушка умная, бойкая, энергическая, с прибавкой пансионской восторженности и врождённого чувства благородства. Деятельная и пылкая, она внесла в существование ученицы-подруги больше жизни и движения.

Унылая, грустная дружба с увядающей Сашей имела печальный, траурный отблеск. Она вместе со словами дьякона и с отсутствием всякого развлечения удаляла молодую девушку от мира, от людей. Третье лицо, живое, весёлое, молодое и с тем вместе сочувствовавшее всему мечтательному и романтическому, было очень на месте: оно стягивало на землю, т. е. на действительную, истинную почву.

Сначала ученица приняла несколько наружных форм Эмилии; улыбка чаще стала показываться, разговор становился живее, но через год времени натуры двух девушек заняли места по удельному весу. Рассеянная милая Эмилия склонилась перед сильным существом и совершенно подчинилась ученице, видела её глазами, думала её мыслями, жила её улыбкой, её дружбой...

Глава XXIV

13 Июня 1839 года⁴⁶⁾

... Что, кажется, можно было бы прибавить к нашему счастью, а между тем весть о будущем младенце раскрыла новые, совсем невиданные нами области сердца, упоений, тревог и надежд.

Несколько испуганная и встревоженная любовь становится нежнее, заботливее ухаживает; из эгоизма двух она делается не

*) Конторщицы (франц.).

**) Складки (франц.).

только эгоизмом трёх, но самоотвержением двух для третьего; семья начинается с детей. Новый элемент вступает в жизнь, какое-то таинственное лицо стучится в неё — гость, который есть и которого нет, но который уже необходим, которого страстно ждут. Кто он? Никто не знает, но кто бы он ни был, он — счастливый незнакомец; с какой любовью его встречают у порога жизни!

А тут мучительное беспокойство: родится ли он живым или нет? Столько несчастных случаев. Доктор улыбается на вопросы; «он ничего не смыслит или не хочет говорить»; от посторонних всё ещё скрыто; не у кого спросить, да и совестно.

Но вот младенец подаёт знаки жизни. Я не знаю выше и религиознее чувства, как то, которое наполняет душу при осязании первых движений будущей жизни, рвущейся наружу, расправляющей свои не готовые мышцы; это — первое рукоположение, которым отец благословляет на бытие грядущего пришельца и уступает ему долю своей жизни.

«Моя жена, — сказал мне раз один французский буржуа, — моя жена, — он осмотрелся и, видя, что ни дам, ни детей нет, прибавил в полслуха: — беременна».

Действительно, путаница всех нравственных понятий такова, что беременность считается чем-то неприличным; требуя от человека безусловного уважения к матери, какова бы она ни была, завешивают тайну рождения не из чувства уважения, внутренней скромности, а из приличия. Всё это — идеальное распутство, монашеский разврат, проклятое заклание плоти; всё это — несчастный дуализм, в котором нас тянут, как магдебургские полушария, две разные стороны. Жан Деруан, несмотря на свой социализм, намекает в «*Almanach des femmes*»*), что со временем дети будут родиться иначе. Как иначе? — Так, как ангелы родятся. — Ну оно и ясно.

Честь и слава нашему учителю, старому реалисту Гёте: он осмелился рядом с непорочными девами романтизма поставить беременную женщину и не побоялся своими могучими стихами изваять изменившуюся форму будущей матери, сравнивая её с гибкими членами будущей женщины.

Действительно, женщина, несущая вместе с памятью былого упоения весь крест любви, всё бремя её, жертвующая красотой, временем, страданием, питающая свою грудь, — один из самых изящных и трогательных образов.

В римских элегиях, в «Ткачихе», в Гретхен и её отчаянной молитве Гёте выразил всё торжественное, чем природа окружает созревающий плод, и все тернии, которыми венчает общество этот сосуд будущего.

Бедные матери, скрывающие, как позор, следы любви! Как грубо и безжалостно гонит их мир и гонит в то время, когда женщине так нужен покой и привет, дико отравляя ей те неза-

*) «Альманахе для женщин» (франц.).

менимые минуты полноты, в которые жизнь, слабея, склоняется под избытком счастья...

... С ужасом открывается мало-помалу тайна; несчастная мать сперва старается убедиться, что ей только показалось, но вскоре сомнение невозможно; отчаянием и слезами сопровождает она всякое движение младенца; она хотела бы остановить тайную работу жизни, вести её назад, она ждёт несчастья, как милосердия, как прощения, а неотвратимая природа идёт своим путём: она здорова, молода!

Заставить, чтоб мать желала смерти своего ребёнка, а иногда и больше — сделать из неё его палача, а потом её казнить нашим палачом или покрыть её позором, если сердце женщины возьмёт верх, — какое умное и нравственное устройство!

И кто взвесил, кто подумал о том, что и что было в этом сердце, пока мать переходила страшную тропу от любви до страха, от страха до отчаяния, от отчаяния до преступления, до безумия, потому что детоубийство есть физиологическая нелепость. Ведь были же и у неё минуты забвения, в которые она страстно любила своего будущего малютку, и тем больше, что его существование была тайна между ними двумя; было же время, в которое она мечтала об его маленькой ножке, об его молочной улыбке, целовала его во сне, находила в нём сходство с кем-то, который был ей так дорог...

«Да чувствуют ли они это? Конечно, есть несчастные жертвы... но... но другие, но вообще?»

Мудрено, кажется, пасть далее этих летучих мышей, шныряющих в ночное время среди тумана и слякоти по лондонским улицам, этих жертв неразвития, бедности и голода, которыми общество обороняет честных женщин от излишней страстности их поклонников... Конечно, в них всегда труднее предположить след материнских чувств. Не правда ли?

Позвольте же мне рассказать вам небольшое происшествие, случившееся со мною. Года три тому назад я встретился с одной красивой и молодой девушкой. Она принадлежала почётному гражданству разврата, т. е. не «делала» демократически «тро-туар», а буржуазно жила на содержании у какого-то купца...

Нынешней зимой, в ненастный вечер, я пробирался через улицу под аркаду Пель-Мель, спасаясь от усилившегося дождя; под фонарём за аркой стояла, вероятно, ожидая добычи и дрожа от холода, бедно одетая женщина. Черты её показались мне знакомыми; она взглянула на меня, отвернувшись и хотела спрятаться, но я успел узнать её. — «Что с вами сделалось?» — спросил я её с участием. Яркий пурпур покрывал её исхудалые щёки; стыд ли это был или чахотка, не знаю, только, казалось, не румяны; она в два года с половиной состарилась на десять.

— Я была долго больна и очень несчастна, — она с видом сильной горести указала мне взглядом на своё изношенное платье.

— Да где же ваш друг?

— Убит в Крыму.

— Да ведь он был какой-то купец?

Она смешалась и, вместо ответа, сказала:

— Я и теперь ещё очень больна, да к тому же работы совсем нет. А что, я очень переменялась? — спросила она вдруг, с смущением глядя на меня.

— Очень; тогда вы были похожи на девочку, а теперь я готов держать пари, что у вас есть свои дети.

Она побагровела и с каким-то ужасом спросила:

— Отчего же вы это узнали?

— Да видите, узнал. Теперь расскажите-ка мне, что с вами в самом деле было?

— Ничего, но только вы правы, — у меня есть маленький... Если бы вы знали, — и при этих словах лицо её оживилось, — какой славный, как он хорош, даже соседи все удивляются ему. А тот-то женился на богатой и уехал на материк. Малютка родился после. Он-то и причина моему положению. Сначала были деньги, я всего накупила ему в самых больших магазинах, а тут пошло хуже, да хуже, я всё снесла «на крючок»; мне советовали отдать малютку в деревню; оно, точно, было бы лучше, да не могу; я посмотрю на него, посмотрю, — нет, лучше вместе умирать; хотела места искать, — с ребёнком не берут. Я воротилась к матери; она ничего, добрая, простила меня, любит маленького, ласкает его, да вот пятый месяц, как отнялись ноги; что доктору переплатили и в аптеку, а тут, сами знаете, нынешний год уголь, хлеб, — всё дорого; приходится умирать с голоду. Вот я, — она приостановилась, — ведь, конечно, лучше б броситься в Темзу, чем... да малютку жаль, на кого же я его оставлю? ведь уж он очень, очень мил!

Я дал ей что-то и сверх того вынул шиллинг и сказал:

— А на это купите что-нибудь вашему малютке.

Она с радостью взяла монету, подержала её в руке и, вдруг отдавая мне её назад, прибавила с печальной улыбкой:

— Уж если вы так добры, купите ему тут где-нибудь в лавке сами что-нибудь, игрушку какую-нибудь; ведь этому бедному малютке, с тех пор как он родился, никто ещё не подарил ничего.

Я с умилением взглянул на эту потерянную женщину и дружески пожал ей руку.

Охотники до реабилитации всех этих дам с камелиями и с жемчугами лучше бы сделали, если б оставили в покое бархатные мебели и будуары рококо и взглянули бы поближе на несчастный, язбнувший голодный разврат, — разврат роковой, который насильно влечёт свою жертву по пути гибели и не даёт ни опомниться, ни раскаяться. Ветошники чаще в уличных канавах находят драгоценные камни, чем подбирая блёстки мишурного платья...

Н. Х. Кетчер

Отец Кетчера был инструментальный мастер. Он славился своими хирургическими инструментами и высокой честностью. Он умер рано, оставив большую семью на руках вдовы и очень расстроенные дела. Происхождением он был, кажется, швед. Стало, об истинной связи с народом, о той непосредственной связи, которая всасывается с молоком, с первыми играми даже в господском доме, не может быть и речи. Общество иностранных производителей, индустриалов, ремесленников и их хозяев составляет замкнутый круг жизнью, привычками, интересами, всем на свете отделённый и от верхнего, и от низшего русского слоя. Часто эта среда внутри своей семейной жизни гораздо нравственнее и чище, чем дикая тирания и затворнический разврат нашего купечества, чем печальное и тяжёлое пьянство мещан, чем узкая, грязная и основанная на воровстве жизнь чиновников, но тем не меньше она совершенно чуждая окружающему миру, иностранная, дающая с самого начала другой *pli**) и другие основы.

Мать Кетчера была русская, вероятно, оттого Кетчер и не сделался иностранцем. В воспитание детей я не думаю, чтоб она входила; но чрезвычайно важно было то, что дети были крещёны в православной вере, т. е. не имели никакой. Будь они лютеране или католики, они совсем бы отошли на немецкую сторону, они бы ходили в ту или другую кирку и вступили бы незаметно в выделяющуюся, обособляющуюся *Gemeinde***) с её партиями, приходскими интересами. В русскую церковь, конечно, Кетчера никто не посылал; сверх того, если он иногда и хаживал ребёнком, то она не имеет того паутинного свойства, как её сёстры, особенно на чужбине. Надобно вспомнить, что время, о котором идёт речь, вовсе не знало судорожного православия. Церковь, как и государство, не защищались тогда чем ни попаало, не ревновали о своих правах, может, потому, что никто не нападал. Все знали, какие это два зверя, и не клали пальца им в рот. Зато и они не хватили прохожих за ворот, сомневаясь в их православии или не доверяя их верноподданничеству. Когда в Московском университете учредили кафедру богословия, старик-профессор Гейм, памятный лексиконами, с ужасом говорил в университетской «ауле»***): «Es ist ein Ende mit der großen Hochschule Rutheniac****).

Даже свирепая холера изуверства, безумная, кричащая, доносящая, полицейская (как всё у нас), Магницкого и Рунича про-

*) Склад (франц.).

**) Общину (немецк.).

***) Передней (лат.).

****) Пришёл конец великой высшей школе в России (немецк.).

неслась зловредной тучей, побила народ, попавшийся на дороге, и исчезла, воплощаясь в разных Фотиев и графинь. В гимназиях и школах катехизис преподавали для формы и для экзамена, который постоянно начинался с «Закона божия».

Когда пришло время, Кетчер поступил в Медико-хирургическую академию. Это было тоже чисто иностранное заведение и тоже не особенно православное. Там проповедывал Just Christian Loder*), друг Гёте, учитель Гумбольдта, один из той плеяды сильных и свободных мыслителей, которые подняли Германию на ту высоту, о которой она не мечтала. Для этих людей наука ещё была религией, пропагандой, войной; им самим свобода от теологических цепей была нова, они ещё помнили борьбу, они верили в победу и гордились ею. Лодер никогда не согласился бы читать анатомию по филаретову катехизису. Возле него стояли Фишер Вальдгеймский и оператор Гильдебрант, о которых я говорил в другом месте, и разные другие немецкие адъюнкты, лаборанты, прозекторы и фармацевты. «Ни слова русского, ни русского лица» — всё русское было отодвинуто на второй план. Одно исключение мы только и помним, — это Дядьковский. Кетчер чтит его память, и он, вероятно, имел хорошее влияние на студентов; впрочем, медицинские факультеты и в позднейшее время жили не общей жизнью университетов: составленные из двух наций, немцев и семинаристов, они занимались своим делом.

Этого дела показалось мало Кетчеру, и это — лучшее доказательство тому, что он не был немец и не искал прежде всего профессии.

Особенной симпатии к своему домашнему кругу он не мог иметь; с молодых лет любил он жить особняком. Остальная окружающая среда могла только оскорблять и отталкивать его. Он принялся читать и читать Шиллера.

Кетчер впоследствии перевёл всего Шекспира, но Шиллера с себя стереть не мог.

Шиллер был необыкновенно по плечу нашему студенту. Поза и Макс, Карл Моор и Фердинанд, студенты, разбойники-студенты — всё это протест первого рассвета, первого негодования. Больше деятельный сердцем, чем умом, Кетчер понял, овладел поэтической рефлексией Шиллера, его революционной философией в диалогах и на них остановился. Он был удовлетворён, критика и скептицизм были для него совершенно чужды.

Через несколько лет после Шиллера он попал на другое чтение, и нравственная жизнь его была окончательно решена. Всё остальное проходило бесследно, мало занимало его. Девяностые годы, эта громадная, колоссальная трагедия в шиллеровском роде, с рефлексиями и кровью, с мрачными добродетелями и светлыми идеалами, с тем же характером рассвета и протеста, поглотили его. Отчёта Кетчер и тут себе не давал. Он брал

*) Христиан Лодер.

Французскую революцию, как библейскую легенду; он верил в неё, он любил её лица, имел личные к ним пристрастия и ненависти; за кулисы его ничто не звало...

Мечтатель — не романтический, а, так сказать, этико-политический, вряд мог ли найти в тогдашней Медико-хирургической академии ту среду, которую искал. Червь точил его сердце, и врачебная наука не могла заморить его. Отходя от окружающих людей, он больше и больше вживался в одно из тех лиц, которыми было полно его воображение. Наталкиваясь везде на совсем другие интересы, на мелких людишек, он стал дичать, привык хмурить брови, говорить без нужды горькие истины, и истины всем известные, старался жить каким-то лафонтеновским «Зондерлингом»*), каким-то «Робинзоном в Сокольниках». В небольшом саду их дома была беседка; туда перебрался «лекарь Кетчер и принялся переводить лекаря Шиллера», как в те времена острял Н. А. Полевой. В беседке дверь не имела замка... в ней было трудно повернуться: это-то и было надобно. Утром копался он в саду, сажал и пересаживал цветы и кусты, даром лечил бедных людей в околотке, правил корректуру «Разбойников» и «Фиееско» и, вместо молитвы на сон грядущий, читал речи Марата и Робеспьера. Словом, если б он меньше занимался книгами и больше заступом, он был бы тем, чем желал Руссо, чтоб был каждый...

Один из главных источников наших препинаний было воспитание моего сына.

Воспитание делит судьбу медицины и философии: все на свете имеют об них определённые и резкие мнения, кроме тех, которые серьёзно и долго ими занимались. Спросите о постройке моста, об осушении болота, человек откровенно скажет, что он не инженер, не агроном. Заговорите о водяной или чахотке, он предложит лекарство по памяти, по наслышке, по опыту своего дяди, но в воспитании он идёт далее. «У меня, — говорит, — такое правило, и я от него никогда не отступаю; что касается до воспитания, я шутить не люблю; это — предмет слишком близкий к сердцу».

Какие понятия о воспитании должен был иметь Кетчер, можно вывести до последней крайности из того очерка его характера, который мы сделали. Тут он был последователен себе; обыкновенно толкующие о воспитании и этого не имеют. Кетчер имел «эмилевские**) понятия и твёрдо веровал, что ниспровержение всего, что теперь делается с детьми, было бы само по себе отличное воспитание. Ему хотелось исторгнуть ребёнка из искусственной жизни и сознательно возратить его в дикое состояние, в ту первобытную независимость, в которой равенство простирается так далеко, что различие между людьми и обезьянами снова стёрлось бы.

*) Чудаком (немецк.).

**) Герцен имеет в виду роман Руссо «Эмил или о воспитании». (М. III.)

Мы сами были не очень далеки от этого взгляда^{*)}, но у него он делался как всё, однажды усвоенное им, фанатизмом, не терпящим ни сомнения, ни возражения. В противодействии старинному, богословскому, схоластическому, аристократическому воспитанию, с его догматизмом, доктринаризмом, натянутым педантским классицизмом и наружной выправкой, поставленной выше нравственной, выразилась действительная и справедливая потребность. По несчастию, в деле воспитания, как во всём, крупный и революционный путь^{*)}, зря ломая старое, ничего не давал в замену. Дикий предрассудок нормального человека, к которому стремились последователи Жан-Жака, отрешал ребёнка от исторической среды, делал его в ней иностранцем, как будто воспитание не есть привитие родовой жизни лицу.

Споры о воспитании редко велись на теоретическом поле, прикладное было слишком близко. Мой сын — тогда ему было лет семь-восемь — был слабого здоровья, очень подвержен лихорадкам и кровавым поносам. Это продолжалось до нашей поездки в Неаполь или до встречи в Сорренто с одним неизвестным доктором, который изменил всю систему лечения и гигиены. Кетчер хотел его закалить сразу, как железо, я не позволял, и он выходил из себя. «Ты консерватор! — кричал он с неистовством, — ты погубишь несчастного ребёнка! Ты сделаешь из него изнеженного барича и вместе с тем раба».

Ребёнок шалил и кричал во время болезни матери; я останавливал его; сверх простой необходимости, мне казалось совершенно справедливым заставлять его стеснять себя для другого, для матери, которая его так бесконечно любила; но Кетчер мрачно говорил мне, затягиваясь до глубины сердечной «Жуковым»^{**)}: «Где твоё право останавливать его крик? Он должен кричать, это его жизнь. Проклятая власть родителей!»...

Доля его строптивой нетерпимости происходила от этого отсутствия внутренней работы, проверки, разбора, приведения в ясность, приведения в вопрос; для него вопросов не было: дело решённое, — и он шёл вперёд, не оглядываясь. Может, если б он был призван на практическое дело, это и было бы хорошо, но его не было. Живое вмешательство в общественные дела было невозможно: у нас в них мешаются только первые три класса, и он свою жажду дела перенёс на частную жизнь друзей. Мы избавлялись от пустоты, которая сосала его сердце, теоретической работой, Кетчер решал все вопросы *sommairement*^{***)}, с плеча, так или иначе — всё равно, а решивши, продолжал, не запинаясь ни за что и оставаясь упрямо верным своему решению.

*) «Путь» французской буржуазной революции, не удовлетворившей насущных потребностей народа, поставившей на место феодальной буржуазную антинародную систему воспитания.

**) Табак популярной тогда фабрики.

***) Коротко (франц.).

... Вскоре после моего приезда в Лондон, в 1852 году, я получил приглашение от одной дамы: она звала меня на несколько дней к себе на дачу...

В гостиной был маленький, щедедушный старичок, седой как лунь, с необычайно добродушным лицом, с чистым, светлым, кротким взглядом, — с тем голубым детским взглядом, который остаётся у людей до глубокой старости, как ответ великой доброты.

... Обращение Оуэна было очень просто; но и в нём, как в Гарибальди, середь добродушия просвечивала сила и сознание, что он — власть имущий. В его снисходительности было чувство собственного превосходства; оно, может, было следствием постоянных сношений с жалкой средой; вообще, он скорее походил на разорившегося аристократа, на меньшого брата большой фамилии, чем на плебей и-социалиста...

— Я жду великого от вашей родины, — сказал мне Оуэн: — у вас поле чище, у вас попы не так сильны, предрассудки не так закоснели... а сил-то... а сил-то! Если б император хотел вникнуть, понять новые требования возникающего гармонического мира, как ему легко было бы сделаться одним из величайших людей.

Улыбаясь, просил я моего драгомана*) сказать Оуэну, что я очень мало имею надежд, чтоб Николай сделался его последователем.

— А, ведь, он был у меня в Ланарке**).

— И, верно, ничего не понял?

— Он был тогда молод, и — Оуэн засмеялся, — очень жалел, что мой старший сын такого высокого роста и не идёт в военную службу. А, впрочем, он меня приглашал в Россию.

— Теперь он стар, но так же ничего не понимает и, наверное, ещё больше жалеет, что не все люди большого роста идут в солдаты. Я видел письмо, которое вы адресовали к нему, и, скажу откровенно, не понимаю, зачем вы его писали. Неужели вы, в самом деле, надеетесь?

— Пока человек жив, не надобно в нём отчаиваться. Мало ли какое событие может раскрыть душу! Ну, а письмо моё не подействует, и он бросит его, — что ж за беда, я сделал своё. Он не виноват, что его воспитание и среда, в которой живёт, сделали его неспособным понимать истину. Тут надобно не сердиться, а жалеть.

*) Переводчика. (М. Ш.)

**) Нью-Ланарк — местечко в Шотландии, где Оуэн проводил свой социалистический эксперимент. (М. Ш.)

Итак, этот старец своё всеотпущение грехов распространял не только на воров и преступников, а даже на Николая! Мне на минуту сделалось стыдно...

Перелистывая книжку «Westminster Review», я нашёл статью о нём и прочитал её всю внимательно. Статью эту писал не враг Оуэна, человек солидный, рассудительный, умеющий отдавать должное заслугам и заслуженное недостаткам, а, между тем, я положил книгу с странным чувством боли, оскорбления, чего-то душевного, с чувством, близким к ненависти за вынесённое.

Может, я был болен, в дурном расположении, не понял?.. Я взял опять книжку, перечитал там-сям, — всё то же действие.

«Больше, чем двадцать последних лет жизни Оуэна не имеют никакого интереса для публики.

Ein unnütz Leben ist ein früher Tod...*)

Мы в предшествующих страницах, — прибавляет автор в конце статьи, — больше занимались жизнью Оуэна, чем его учениями; мы хотели выразить наше сочувствие к практическому добру, сделанному им, и с тем вместе заявить наше совершенное несогласие с его теориями. Его биография интереснее его сочинений»...

Тень кроткого старца носилась передо мной; на глазах его были горькие слёзы, и он, грустно качая своей старой, старой головой, как будто хотел сказать: «Неужели я заслужил это?»...

«Несмотря на его ошибки, его гордость, его падение, Оуэн заслуживает наше признание». Чего же ему больше?

Только отчего ругательства какого-нибудь оксфордского, винчестерского или чичестерского архиерея, проклинающего Оуэна, легче для нас, чем это воздаяние по заслугам? Оттого, что там страсть, обиженная вера, а тут узенькое беспристрастие, — беспристрастие не просто человека, а судьи низшей инстанции. В управе благочиния очень хорошо могут обсудить поступки какого-нибудь гуляки вообще, но не такого, как Мирабо или Фокс. Складным футом легко мерить с большой точностью холст, но очень неудобно прикидывать на него сидеральные**) пространства.

Может, для верности суждения о делах, не подлежащих ни полицейскому суду, ни арифметической проверке, при страсти нужнее справедливости. Страсть может не только ослеплять, но и проникать глубже в предмет, обхватывать его своим огнём.

Дайте школьному педанту, если он только не наделён от природы эстетическим пониманием, — дайте ему на разбор, что хотите: «Фауста», «Гамлета», и вы увидите, как исхудаёт

*) Бесполезная жизнь — ранняя смерть (Гёте).

**) Звёздные (лат.).

«жирный датский принц», помятый каким-нибудь гимназистом-доктринёром. С цинизмом ноева сына покажет он наготу и недостатки драм, которыми восхищается поколение за поколением.

В мире ничего нет великого, поэтического, что бы могло выдержать не глупый, да и не умный взгляд, — взгляд обыденной, жизненной мудрости. Это-то французы и выразили так метко пословицей, что «для камердинера нет великого человека»...

... Если б Оуэн только проповедывал свой экономический переворот, это безумие простили бы ему на первый случай в классической стране сумасшествия. Доказательством этому служит то, что министры и архиереи, парламентские комитеты и съезды фабрикантов совещались с ним. Успех *New Lanark'a**) увлёк всех: ни один государственный человек, ни один учёный не уезжал из Англии, не сделавши поездки к Оуэну; даже (как мы видели) сам Николай Павлович был у него и хотел сманить его в Россию, а сына его в военную службу. Толпы народа наполняли коридоры и сени зал, где Оуэн читал свои речи. Но Оуэн своей дерзостью разом, в четверть часа, уничтожил эту колоссальную популярность, основанную на колоссальном непонимании того, что он говорил; видя это, он поставил точку над *i*, притом на самое опасное *i*...

... Он ... объявил прямо и ясно, громко и чрезвычайно просто, что главное препятствие к гармоническому развитию нового общества людей — Религия. «Нелепости и изуверства сделали из человека слабого, одурелого зверя, безумного фанатика, ханжу и лицемера. С существующими религиозными понятиями, заключил Оуэн, не только не устроить предполагаемых им общинных деревень, но с ними рай не долго устоял бы раем».

Оуэн был до того уверен, что этот акт «безумия» был актом честности и апостольства, необходимым последствием его учения, что обнародовать своё мнение заставляли его чистота и откровенность, вся его жизнь, что через тридцать пять лет он писал: «Это — величайший день в моей жизни, я исполнил свой долг!»

Нераскаянный грешник был этот Оуэн! Зато ему и досталось!

«Оуэна, — говорит «Westminster Review», — не разорвали на части за это; время физической мести в делах религии прошло. Но никто даже и ныне не может безнаказанно оскорблять дорогие нам предрассудки!»

Английские пошлы, в самом деле, не употребляют больше хирургических средств, хотя другими, более духовными, не брезгают. «С этой минуты, говорит автор статьи, Оуэн опроки-

*) Нью-Ланарк. (М. III.)

нул на себя страшную ненависть духовенства, и с этого митинга начинается длинный перечень его неудач, сделавший смешными сорок последних лет его жизни»...

... Обратимся к делу, т. е. к самому Оуэну и его учению.

«... Характер человека существенно определяется обстоятельствами, окружающими его. Но эти обстоятельства общество может легко так устроить, чтоб они способствовали наилучшему развитию умственных и практических способностей, сохраняя притом всё бесконечное разнообразие личностей и соображаясь с многообразием физической и умственной природы».

Всё это понятно, и надобно иметь редкую степень тупоумия, чтоб возражать на этот тезис Оуэна. Да на него, заметьте, никто и не возражает. Возражение большинством — не ответ, а насилие; возражение, что это безнравственно или несогласно с такой-то традиционной религией или с иной, — тоже не опровержение. В худшем случае такие ответы могут только доказать двойство между истиной и нравственностью, пользу лжи и вреда правды. Истина не подлежит этому суду, её критериум не тут.

Ахиллова пята Оуэна не в ясных и простых основаниях его учения, а в том, что он думал, что обществу легко понять его простую истину. Думая так, он впал в святую ошибку любви и нетерпения, в которую впадали все преобразователи и предтечи переворотов от Иисуса Христа до Томаса Мюнцера, Сен-Симона и Фурье.

Хроническое недоумие в том и состоит, что люди, под влиянием исторического преломления лучей и разных нравственных параллаксов, всего меньше понимают простое, а готовы верить, и ещё больше верить, что понимают вещи очень сложные и совершенно непонятные, но традиционные, привычные и соответствующие детской фантазии... Просто! Легко! Да всегда ли простое легко? Воздухом положительно проще дышать, чем водой, но для этого надобно иметь лёгкие; а где же им развиться у рыб, которым нужен сложный дыхательный аппарат, чтоб достать немного кислорода из воды. Среда им не позволяет, их не вызывает на развитие лёгких, она слишком густа и иначе составлена, чем воздух. Нравственная густота и состав, в котором выросли слушатели Оуэна, обусловила у них свои духовные жабры, дышать более чистой и редкой средой должно было произвести боль и отвращение.

Не думайте, что тут только внешнее сравнение, — тут истинная аналогия одинаких явлений в разных возрастах и разных слоях...

Люди отдают долю своего состояния и своей воли, подчиняются всякого рода властям и требованиям, вооружают целые толпы тунеядцев, строят суды, тюрьмы и стращают виселицей,

строят церкви и страшат адом. Словом, делают всё так, чтоб, куда человек не обернулся, перед его глазами был бы или палач земной, или палач небесный, — один с верёвкой, готовый всё кончить, другой с огнём, готовый жечь всю вечность...

А тут является чудака, который прямо и просто говорит, да ещё с какой-то обидной наивностью, что всё это — вздор, что человек вовсе не преступник *par le droit de naissance**), что он так же мало отвечает за себя, как и другие звери, и, как они, суду не подлежит, а воспитанию — очень. И это не всё: он перед лицом судей и попов, имеющих единственным основанием, единственной достаточной причиной своего существования грехопадение, наказание и отпущение, всенародно объявляет, что человек не сам творит свой характер, что стоит его поставить со дня рождения в такие обстоятельства, чтоб он мог быть не мошенником, так он и будет так себе, хороший человек. А теперь общество рядом нелепостей наводит его на преступление, а люди наказывают не общественное устройство, а лицо.

И Оуэн воображал, что это легко понять?!...

... Человечество ещё долго проходит с отложными воротничками *à l'enfant***).

Причин на это бездна. Для того чтобы человеку образумиться и прийти в себя, надобно быть гигантом; да, наконец, и никакие колоссальные силы не помогут пробиться, если быт общественный так хорошо и прочно сложился, как в Японии или Китае. С той минуты, когда младенец, улыбаясь, открывает глаза у груди своей матери, до тех пор, пока, примирившись с совестью и богом, он так же спокойно закрывает глаза, уверенный, что, пока он соснёт, его перевезут в обитель, где нет ни плача, ни воздыхания, — всё так улажено, чтобы он не развил ни одного простого понятия, не натолкнулся бы ни на одну простую, ясную мысль. Он с молоком матери сосёт дурман; никакое чувство не остаётся не искажённым, не сбитым с естественного пути. Школьное воспитание продолжает то, что сделано дома, оно обобщает оптический обман, книжно упрочивает его, теоретически узаконивает традиционный хлам и приучает детей к тому, чтоб они знали, не понимая, и принимали бы названия за определения.

Сбитый в понятиях, запутанный словами, человек теряет чутьё истины, вкус природы. Какую же надобно иметь силу мышления, чтоб заподозрить этот нравственный чад и уже с кружением головы броситься из него на чистый воздух, которым вдобавок страшат всё вокруг! На это Оуэн отвечал бы, что он именно потому и начинал своё социальное перерождение людей не с фаланстера, не с Икарии, а со школы, — со школы, в которую он брал детей с двухлетнего возраста и меньше.

*) По праву рождения (франц.).

**) Детскими воротничками. (М. Ш.)

Оуэн был прав, и ещё больше — он практически доказал, что он был прав: перед New Lanark'ом противники Оуэна молчат. Этот проклятый New Lanark, вообще, костью стоит в гортле людей, постоянно обвиняющих социализм в утопиях и в неспособности что-нибудь осуществить на практике... Учёные и послы, министры и герцоги, купцы и лорды, — всё выходило с удивлением и благоговением из школы...

New Lanark был на вершине своего благосостояния. Неутомимый Оуэн, несмотря ни на лондонские поездки, ни на митинги, ни на беспрерывные посещения всех знаменитостей Европы, даже, как мы сказали, самого Николая Павловича, с той же деятельной любовью занимался школой-фабрикой и благосостоянием работников, между которыми развивал общинную жизнь. И всё лопнуло!

Что же, вы думаете, он обанкротился? Учителя перессорились, дети избаловались, родители спились? Помилуйте, фабрика шла превосходно, доходы росли, работники богатели, школа процветала. Но одним добрым утром в эту школу вошли какие-то два чёрных шута, в низеньких шляпах, в намеренно дурно сшитых скрутках: это были двое квакеров, такие же собственники New Lanark'a, как и сам Оуэн. Насушили они брови, видя весёлых детей, нисколько не горюющих о грехопадении; ужаснулись, что маленькие мальчики без панталон, и потребовали преподавания какого-то своего катехизиса. Оуэн сначала отвечал гениально: цифрой приращения доходов. Ревность о госпде успокоилась на время: так греховная цифра была велика. Но совесть квакеров прснулась опять, и они ещё настоятельнее стали требовать, чтобы детей не учили ни танцевать, ни светскому пению, а раскольничьему катехизису — непременно.

Оуэн, у которого хоры, правильные эволюции и танцы играли важную роль в воспитании, не согласился. Были долгие прения: квакеры решились на этот раз упрочить свои места в раю и требовали введения псалмов и каких-то штанишек детям, ходившим по-шотландски. Оуэн понял, что крестовый поход квакеров на этом не остановится. «В таком случае, сказал он им, управляйте сами; я отказываюсь». Он не мог иначе поступить.

«Квакеры, говорит биограф Оуэна, вступив в управление New Lanark'ом, начали с того, что уменьшили плату и увеличили число часов работы».

New Lanark пал!

Не надобно забывать, что успех Оуэна раскрывает ещё одну великую историческую новость, именно ту, что бедный и подавленный работник, лишённый образования, с детства приученный к пьянству и обману, к войне с обществом, только сначала противодействует нововведениям, и то из недоверия, но как только он убеждается в том, что перемена не во вред ему, что при ней и он не забыт, он следует с покорностью, потом с доверчивой любовью.

Среда, служащая тормозом, — не тут...

С той минуты, как попы, лавочники догадались, что потешные роты работников и учеников — дело очень серьёзное, гибель New Lanark'a была неминуема.

И вот отчего падение небольшой шотландской деревушки с фабрикой и школой имеет значение исторического несчастья...

Итак, Р. Оуэн был прав перед разумом; выводы его были логичны и, ещё больше, были практически оправданы; им только не доставало понимания со стороны слушавших его.

— Это — дело времени, когда-нибудь люди поймут.

— Я не знаю.

— Нельзя же думать, чтоб люди никогда не дошли до понимания своих собственных выгод.

— Однако, до сих пор было так; этот недостаток понимания восполнялся церковью и государством, т. е. двумя главнейшими препятствиями к дальнейшему развитию. Это — логический круг, из которого очень трудно выйти. Оуэн воображал, что достаточно людям указать на отжившую нелепость их, чтоб люди освободились, — и ошибся. Нелепость их, особенно церкви, очевидна; но это им нисколько не мешает. Несокрушимая твёрдость их основана не на разуме, а на недостатке его, и потому они почти так же мало зависят от критики, как горы, леса, скалы... Если б, например, Р. Оуэн хотел исправить англиканскую церковь, ему так же бы удалось, как унитариям, квакерам и не знаю кому. Перестраивать церковь, ставить алтарь за перегородку или без перегородки, вынести образа или принести их ещё больше, — это всё можно, и тысячи пойдут за реформатором; но Оуэн хотел вести вон из церкви, — тут *sta, viator!**) Тут рубеж. До границы легко идти; труднейшее во всякой стране — это перейти её, особенно когда сам народ со стороны таможни.

Во всю тысячу и одну ночь истории, как только накапливалось немного образования, попытки эти были; несколько человек просыпались, протестовали против спящих, заявляли, что они наяву, но других добудиться не могли. Появление их доказывает, без малейшего сомнения, возможность человека развиваться до разумного понимания. Но этим не разрешается наш вопрос: может ли это исключительное развитие сделаться общим? Неведение, которое нам даёт прошедшее, не в пользу положительного решения. Разве будущее пойдёт иначе, приведёт иные силы, иные элементы, которых мы не знаем и которые перевернут, по плюсу или минусу, судьбы человечества или значительной части его. Открытие Америки равняется геологическому перевороту; железные дороги, электрический телеграф изменили все человеческие отношения. То, чего мы не знаем, мы не имеем права вводить в наш расчёт; но, принимая все лучшие шансы, мы всё же не предвидим, чтоб люди скоро почувствовали потребность

*) Стой, путник! (лат.)

здорового смысла. Развитие мозга требует своего времени. В природе нет торопливости; она могла тысячи и тысячи лет лежать в каменном обмороке и другие тысячи чирикать птицами, рыскать зверями по лесу или плавать рыбой по морю. Исторического бреда ей станет надолго: им же превосходно продолжается пластичность природы, истощённой в других сферах.

Люди, которые поняли, что это — сон, воображают, что проснуться легко, сердятся на спящих, не соображая, что весь мир, их окружающий, не позволяет им проснуться. Жизнь проходит рядом оптических обманов, искусственных потребностей и мнимых удовлетворений.

Случайно, не выбирая, возьмите любую газету, взгляните на любую семью. Какой же тут Роберт Оуэн поможет? Из вздора люди страдают с самоотвержением, из вздора идут на смерть, из вздора убивают других. В вечной заботе, суете, нужде, тревоге, в поте лица, в труде без отдыха и конца человек даже и не наслаждается. Если ему досуг от работы, он торопится свить семейные сети, вьёт их совершенно случайно, сам попадает в них, стягивает других и, если не должен спастись от голодной смерти каторжной, нескончаемой работой, то начинает ожесточённое преследование жены, детей, родных, или сам преследуется ими. Так люди гонят друг друга во имя родительской любви, во имя ревности, во имя брака, делая ненавистными священнейшие связи. Когда же тут образумиться? Разве по другую сторону семьи, за её гробом, когда человек всё потерял, — и энергию, и свежесть мысли, — когда он ищет единого покоя...

— Ну, где же тут скоро добраться сквозь толщу нелепости до живого мяса?

Этим людям, занятым службой, ажиотажем, семейными ссорами, картами, орденами, лошадьми, Р. Оуэн проповедывал другое употребление сил и указывал им на нелепость их жизни. Убедить их он не мог, а озлобил их и опрокинул на себя всю нетерпимость непонимания. Один разум долготерпелив и милосерд, потому что он понимает...

Во время революции был сделан опыт коренного изменения гражданского быта с сохранением сильной правительственной власти...

Противоположность Роберта Оуэна с Гракхом Бабефом очень замечательна. Через века, когда всё изменится на земном шаре, по этим двум коренным зубам можно будет восстановить ископаемые остовы Англии и Франции до последней косточки, тем больше, что, в сущности, эти мастодонты социализма принадлежат одной семье, идут к одной цели и из тех же побуждений, — тем ярче их различие.

Один видел, что, несмотря на казнь короля, на провозглашение республики, на уничтожение федералистов и демократический террор, народ остался не при чём; другой — что, несмотря на огромное развитие промышленности, капиталов, машин

и усиленной производительности, «весёлая Англия» делается всё больше Англией скучной, и Англия обжорливая — всё больше Англией голодной. Это привело обоих к необходимости изменения основных условий государственного и экономического быта. Почему они (и многие другие) почти в одно и то же время попали на этот порядок идей, понятно. Противоречия общественного быта становились не больше и не хуже, чем прежде, но они выступали резче к концу XVIII века. Элементы общественной жизни, развиваясь разное, разрушили ту гармонию, которая была прежде между ними при меньших благоприятных обстоятельствах.

Встретившись так близко в точке исхода, оба идут в противоположные стороны.

Оуэн видит в том, что общественное зло приходит к сознанию, последнее достижение, последнюю победу тяжёлого, сложного исторического похода; он приветствует зарю нового дня, никогда небывалого и невозможного в прошедшем, и уговаривает детей как можно скорее покинуть пелёнки, помочи и стать на свои ноги. Он заглянул в двери будущего и, как путешественник, доехавший до места, не сердится больше на дорогу, не бранит ни станционных смотрителей, ни кляч.

Но конституция 1793 года думала не так, а с ней не так думал Гракх Бабеф. Она декретировала восстановление естественных прав человека, забытых и утраченных. Государственный быт — преступный плод узурпации, последствие злодейского заговора тиранов и их сообщников, попов и аристократов. Их следует казнить, как врагов отечества, достойные их возвратить законному государю, которому теперь есть нечего и который называется поэтому санкюлотом. Пора восстановить его старые неотъемлемые права... Где они были? Почему пролетарий — государь? Почему ему принадлежит всё состояние, награбленное другими?.. А! вы сомневаетесь, — вы подозрительный человек, ближний государь сведёт вас к гражданину-судье, а тот пошлёт к гражданину-палачу, и вы больше сомневаться не будете!

Практика хирурга Бабефа не могла мешать практике акушера Оуэна.

Бабеф хотел силой, т. е. властью, разрушить созданное силой, разгромить несправое стяжание...

Оуэн, видя, что люди образованных стран подрастают к переходу в новый период, не думал вовсе о насилии, а хотел только облегчить развитие. С своей стороны, он так же последовательно, как Бабеф с своей, принялся за изучение зародыша, за развитие ячейки. Он начал, как все естествоиспытатели, с частного случая; его микроскоп, его лаборатория был New Lanark; его учение росло и мужало вместе с ячейкой, и оно-то довело его до заключения, что главный путь водворения нового порядка — воспитание.

Заговор для Оуэна был ненужен, восстание могло только по-

вредить ему. Он не только мог ужиться с лучшим в мире правительством, с английским, но со всяким другим. Он в правительстве видел устарелый исторический факт, поддерживаемый людьми отсталыми и неразвитыми, а не шайку разбойников, которую надобно неожиданно накрыть. Не домогаясь ниспровергнуть правительство, он не домогался нисколько и поправлять его. Если б святые лавочники не мешали ему, в Англии и Америке были бы теперь сотни New Lanark и New Harmony*), в них втекали бы свежие силы рабочего народонаселения, они исподволь отвели бы лучшие жизненные соки от отживших государственных цистерн. Что же ему было бороться с умирающими? Он мог их предоставить естественной смерти, зная что каждый младенец, которого приносят в его школы, c'est autant de pris**) над церковью и правительством!

Бабеф был казнён. Во время процесса он вырастает в одну из тех великих личностей, мучеников и побитых пророков, перед которыми невольно склоняется человек. Он угас, а на его могиле росло больше и больше всепоглощающее чудовище централизации. Перед нею особенность стёрлась, завянула, побледнела личность и исчезла. Никогда на европейской почве, со времён тридцати тиранов афинских до Тридцатилетней войны и от неё до исхода Французской революции, человек не был так пойман правительственной паутиной, так опутан сетями администрации, как в новейшее время во Франции.

Оуэна исподволь затянуло илом. Он двигался, пока мог, говорил, пока его голос доходил. Он пожимал плечами, качал головой; неотразимая волна меншанства росла, Оуэн старился и всё глубже уходил в трясины; мало-помалу его усилия, его слова, его учение — всё исчезло в болоте. Иногда будто попрыгивают фиолетовые огоньки, пугающие робкие души либералов — только либералов: аристократы их презирают, попы ненавидят, народ не знает.

— Зато будущее их!..

— Как случится...

— Помилуйте, к чему же после этого вся история?

— Да и всё-то на свете к чему? Что касается до истории, я не делаю её и потому за неё не отвечаю. Я, как «сестра Анна» в «Синей Бороде», смотрю для вас на дорогу и говорю, что вижу: одна пыль на столбовой, больше ничего не видать... Вот едут... едут, кажется, они; нет, это не братья наши, это бараны, много баранов! Наконец-то, приближаются два гиганта разными дорогами. Ну уж не тот, так другой потреплет Рауля за синюю бороду. Не тут-то было! Грозных указов Бабефа Рауль не слушается, в школу Р. Оуэна не идёт: одного послал на гильотину, другого утопил в болоте. Я этого вовсе не хвалю, мне Рауль не родной; я только констатирую факт и больше ничего!...

*) Новая гармония — колония Р. Оуэна в Америке. (М. Ш.)

**) Есть новое завоевание (франц.).

Ни природа, ни история никуда не идут и потому готовы идти всюду, куда им укажут, если это возможно, т. е. если ничего не мешает. Они слагаются *à fur et à mesure**), бездной друг на друга действующих, друг с другом встречающихся, друг друга останавливающих и увлекающих частностей; но человек вовсе не теряется от этого, как песчинка в горе, не больше подчиняется стихиям, не круче связывается необходимостью, а вырастает тем, что понял своё положение, в рулевого, который гордо рассекает волны своей лодкой, заставляя бездонную пропасть служить себе путём сообщения.

Не имея ни программы, ни заданной темы, ни неминуемой развязки, растрёпанная импровизация истории готова идти с каждым, каждый может вставить в неё свой стих, и, если он звучен, он останется его стихом, пока поэма не оборвётся, пока прошедшее будет бродить в её крови и памяти. Возможностей, эпизодов, открытий в ней и в природе дремлет бездна на всяком шагу. Стоит тронуть наукой скалу, чтоб из неё текла вода, — да что вода! Подумайте о том, что сделал согнетённый пар, что делает электричество с тех пор, как человек, а не Юпитер взял их в руки. Человеческое участие велико и полно поэзии, это — своего рода творчество. Стихиям, веществу всё равно, они могут дремать тысячелетия и вовсе не просыпаться, но человек шлёт их на свою работу, и они идут. Солнце давно ходит по небу: вдруг человек перехватил его луч, задержал его след, и солнце стало ему делать портреты.

Природа никогда не борется с человеком, это — пошлый религиозный поклёп на неё; она не настолько умна, чтоб бороться, ей всё равно: «по той мере, по которой человек её знает, по той мере он может ею управлять», сказал Бэкон и был совершенно прав. Природа не может перечить человеку, если человек не перечит её законам; она, продолжая своё дело, бессознательно будет делать его дело. Люди это знают и на этом основании владеют морями и сушами. Но перед объективностью исторического мира человек не имеет того же уважения, — тут он дома и не стесняется; в истории ему легче страдательно уноситься потоком событий или врываться в него с ножом и криком: «общее благосостояние — или смерть!», чем вглядываться в приливы и отливы волн, его несущих, изучать ритм их колебаний и тем самым открыты себе бесконечные фарватеры.

Конечно, положение человека в истории сложнее, тут он разом — лодка, волна и кормчий. Хоть бы карта была!

— А будь карта у Колумба, не он открыл бы Америку.

— Отчего?

— Оттого, что она должна была быть открыта... чтоб попасть на карту. Только отнимая у истории всякий предназначенный путь, человек и история делают что-то серьёзным, действитель-

*) Постепенно (франц.).

ным и исполненным глубокого интереса. Если события подтасованы, если вся история — развитие какого-то доисторического заговора, и она сводится на одно выполнение, на одну его mise en scène*), возьмёмте, по крайней мере, и мы деревянные мечи и щиты из латуни. Неужели нам лить настоящую кровь и настоящие слёзы для представления...

Не проще ли понять, что человек живёт не для совершенства и судеб, не для воплощения идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился, и родился для (как ни дурно это слово) настоящего, что вовсе не мешает ему ни получать наследство от прошедшего, ни оставлять кое-что по завещанию. Это кажется идеалистам унизительно и грубо; они никак не хотят обратить внимание на то, что всё великое значение наше, при нашей ничтожности, при едва уловимом мелькании личной жизни, в том-то и состоит, что пока мы живы, пока не развязался на стихии задержанный нами узел, мы всё-таки сами, а не куклы, назначенные выстрадать прогресс или воплотить какую-то бездомную идею. Гордиться должны мы тем, что мы не нитки и не иголки в руках фатума, шьющего пёструю ткань истории. Мы знаем, что ткань эта не без нас шьётся, но это — не цель наша, не назначение, не заданный урок, а следствие той сложной круговой поруки, которая связывает всё сущее концами и началами, причинами и действиями.

И это не всё: мы можем переменить узор ковра...

Стремление людей к более гармоническому быту совершенно естественно, его нельзя ничем остановить, так как нельзя остановить ни голода, ни жажды. Вот почему мы вовсе не боимся, чтобы люди сложили руки от какого бы учения ни было. Найдутся ли лучшие условия жизни, совладеет ли с ними человек, или в ином месте сойдётся с дороги, а в другом наделает вздору, это — другой вопрос. Говоря, что у человека нигде не пропадает голод, мы не говорим, будут ли всегда и для каждого съестные припасы, и притом здоровые...

Европа, кажется нам, тоже близка к «насыщению» и стремится, усталая, осесть, кристаллизироваться, найдя своё прочное общественное положение в мещанском устройстве. Ей мешают покойно сложиться монархически-феодалные остатки и завоевательное начало. Мещанское устройство представляет огромный успех в сравнении с олигархически-военным, — в этом нет сомнения, но для Европы, и в особенности для англо-германской, оно представляет не только огромный успех, но и успех достаточный...

— Так это, пожалуй, всё человечество дойдёт до мещанства да на нём и застрянет?

— Не думаю, чтобы всё, а некоторые части наверное. Слово «человечество» препротивное; оно не выражает ничего опреде-

*) Сценическую постановку (франц.).

лённого, а только к смутности всех остальных понятий подбавляет ещё какого-то пегого полубога. Какое единство разумеется под словом «человечество»? Разве то, которое мы понимаем под всяким суммовым названием, вроде икры и т. п. Кто в мире осмелится сказать, что есть какое-нибудь устройство, которое удовлетворило бы одинаким образом ирландцев и ирландцев, арабов и мадьяр, кафров и славян? Мы можем сказать одно, что некоторым народам меланское устройство противно, а другие в нём как рыба в воде. Испанцы, поляки, отчасти итальянцы и русские имеют в себе очень мало меланских элементов; общественное устройство, в котором им было бы привольно, выше того, которое может им дать меланство. Но из этого никак не следует, что они достигнут этого высшего состояния или что они не свернут на буржуазную дорогу. Одно стремление ничего не обеспечивает; на разницу возможного и неминуемого мы ужасно напираем. Недостаточно знать, что такое-то устройство нам противно, а надобно знать, какого мы хотим и возможно ли его осуществление. Возможностей много впереди: народы буржуазные могут взять совсем иной полёт, народы самые поэтические — сделаться лавочниками. Мало ли возможностей гибнет, стремлений авторитирует*), развитием отклоняется. Что может быть очевиднее, осязаемое тех, не только возможностей, а начал, личной жизни, мысли, энергии, которые умирают в каждом ребёнке? Заметьте, что и эта ранняя смерть детей тоже не имеет в себе ничего неминуемого; жизнь девяти десятых, наверное, могла бы сохраниться, если бы доктора знали медицину и медицина была бы в самом деле наукой. На это влияние человека и науки мы обращаем особенное внимание, оно чрезвычайно важно...

Крайности ни в ком нет, но всякий может быть незаменимой действительностью; перед каждым открытые двери. Есть что сказать человеку — пусть говорит, слушать его будут; мучит его душу убеждение — пусть проповедует. Люди не так покорны, как стихии, но мы всегда имеем дело с современной массой, — ни она не самобытна, ни мы не независимы от общего фона картины, от одинаких предшествовавших влияний; связь общая есть. Теперь вы понимаете, от кого и кого зависит будущность людей, народов?

— От кого?

— Как от кого?.. да от НАС С ВАМИ, например. Как же после этого нам сложить руки!

*) Не дозревает, не удаётся (франц.).

Мы уже знаем, что отец Бельтова умер вскоре после его рождения и что мать его была экальте и обвинялась в дурном поведении Бельтова. По несчастию, нельзя не согласиться, что она одна из главных причин всех неудач в карьере своего сына. История этой женщины сама по себе очень замечательна. Она родилась крестьянкой; лет пяти её взяли во двор: у её барыни были две дочери и муж; муж заводил фабрики, делал агрономические опыты и кончил тем, что заложил всё имение в Воспитательный дом⁵⁰⁾. Вероятно, считая, что этим исполнил своё экономическое призвание в мире сем, он умер. Расстройство дел ужаснуло вдову: она плакала, плакала, наконец утёрла слёзы и с мужеством великого человека принялась за поправку имения. Только ум женщины, только сердце нежной матери, желающей приданого своим дочерям, может изобрести все средства, употреблённые ею для достижения цели. От сушения грибов и малины, от сбора талек и обвешивания маслом до порубки в чужих рощах и продажи парней в рекруты, не стесняясь очередью, — всё было употреблено в действие (это было очень давно, и что теперь редко встречается, то было ещё в обычае тогда), и надобно правду сказать, помещица села Засекина пользовалась всеобщей репутацией несравненной матери. Между разными бумагами покойного агронома она нашла вексель, данный ему содержательницей какого-то пансиона в Москве, списалась с нею, но, видя, что деньги мудрено выручить, она уговорила её принять к себе трёх-четырёх дворовых девочек, предполагая из них сделать гувернанток для своих дочерей или для посторонних. Через несколько лет возвратились доморощенные гувернантки к барыне с громким аттестатом, в котором было написано, что они знают закон божий, арифметику, российскую пространную и всеобщую краткую историю, французский язык и проч., в ознаменование чего при акте*) их наградили.

Барыня велела очистить для них особую комнату и ждала случая их пристроить. Тётка отца нашего Бельтова искала именно в это время воспитательницу для своих дочерей и, узнав, что соседка её имеет гувернанток, ей принадлежащих, адресовалась к ней; потолковали о цене, поспорили, посердились, разошлись и, наконец, поладили. Барышня позволила тётке выбрать любую, и выбор пал на будущую мать нашего героя. Года через два-три приехал в свою деревню отец Владимира. Он был молод, развратен, игрок, в отставке, охотник пить, ходить с ружьём, показывать ненужную удаль и волочиться за всеми женщинами моложе тридцати лет и без значительных недостатков в лице. Со всем этим нельзя сказать, чтоб он был решительно пропащий человек: праздность, богатство, неразвитость и дурное общество нанесли

*) Т. е. при выпуске.

на него «семь футов грязи», как выражается один мой знакомый, но к чести его должно сказать, что грязь не вовсе приросла к нему. Бельтов был редко чем-нибудь занят и потому часто посещал свою тётку: имение его было в пяти верстах от тёткиной усадьбы. Софи (так звали гувернантку) приглянулась ему: ей было лет двадцать, — высокая ростом, брюнетка, с тёмными глазами и с пышной косой юности...

Тётка, двое суток сердившаяся на Бельтова за его первый пассаж с гувернанткой, целую жизнь не могла забыть несносного брака своего племянника и умерла, не пуская его на глаза; она часто говорила, что дожилась бы до ста лет, если б этот несчастный случай не лишил её сна и аппетита. Видно, уж таково устройство женского сердца: сама Бельтова не могла изжить страшного опыта перенесённого ею до замужества. Есть нежные и тонкие организации, которые именно от нежности не перерываются горем, уступают ему, повидимому, но искажаются, но принимают в себя глубоко, ужасно глубоко испытанное и в продолжении всей жизни не могут отделаться от его влияния; выстраданный опыт остаётся какой-то зловещей материей, живёт в крови, в самой жизни, и то скроется, то вдруг обнаруживается с страшной силой и разлагает тело. Именно такая натура была у Бельтовой: ни любовь мужа, ни благотворное влияние на него, которое было очевидно, не могли исторгнуть горького начала из души её. Она боялась людей, была задумчива, дика, сосредоточена в себе, была худа, бледна, недоверчива, всё чего-то боялась, любила плакать и сидеть молча целые часы на балконе. Года через три Бельтов простудился и дней в пять умер: тело его, изнурённое прежней жизнью, не имело достаточных сил победить горячку. Он умер в беспамятстве. Софи поднесла к нему двухлетнего мальчика: он дико взглянул на него, и испуганный ребёнок потянулся ручонками в другую комнату. Удар этот сильно потряс Бельтову: она любила этого человека за его страстное раскаяние; она узнала благородную натуру из-за грязи, которая к нему пристала от окружавшего его; она оценила его перемену; она любила даже иногда возвращавшиеся порывы буйного разгула и дикой необузданности избалованного нрава.

Со всей своей болезненной раздражительностью обратилась Бельтова, после потери мужа, на воспитание малютки: если он дурно спал ночью, — она вовсе не спала; если он казался нездоровым, — она была больна; словом, она им жила, им дышала, была его нянькой, кормилицей, люлькой, лошадкой. Но и эта судорожная любовь к сыну была смешана у ней с чёрным началом её души. Мысль, что она потеряет ребёнка, почти беспрестанно вплеталась в мечты её; она часто с отчаянием смотрела на спящего младенца, и, когда он был очень покоен, робко подносила трепещущую руку к устам его. Но, вопреки внутреннему голосу матери, — как она называла болезненные грёзы свои, — ребёнок рос и, если не был очень здоров, то не был и болен. Она

не выезжала из Белого Поля: мальчик был совершенно один и, как все одинокие дети, развился не по летам; впрочем, и помимо внешних влияний, в ребёнке были видимы несомненные признаки резких способностей и энергического характера. Настало время учения. Бельтова отправилась с сыном в Москву для того, чтоб найти гувернёра. У её покойного мужа жил в Москве дядя, оригинал большой руки, ненавидимый всей роднёю, капризный холостяк, преумный, препраздный и, в самом деле, пренесносный своей своеобычностью...

К нему приехал около того времени, как Бельтова искала гувернёра, рекомендованный одним из его швейцарских друзей женевец, желавший определиться в воспитатели. Женевец был человек лет сорока, седой, худощавый, с юными голубыми глазами и с строгим благочестием в лице. Он был человек отлично образованный, славно знал по-латыни, был хороший ботаник. В деле воспитания мечтатель с юношеской добросовестностью видел исполнение долга, страшную ответственность; он изучал всевозможные трактаты о воспитании и педагогике от «Эмиля»⁶¹⁾ и Песталоцци до Базедова и Николаи; одного он не вычитал в этих книгах, — что важнейшее дело воспитания состоит в приспособлении молодого ума к окружающему, что воспитание должно быть климатологическое, что для каждой эпохи, — так и для каждой страны, ещё более для каждого сословия, а может быть, и для каждой семьи должно быть своё воспитание. Этого женевец не мог знать: он сердце человеческое изучал по Плутарху, он знал современность по Мальт-Брену и статистикам; он в сорок лет без слёз не умел читать «Дон-Карлоса», верил в полноту самоотвержения, не мог простить Наполеону, что он не освободил Корсики, и возил с собой портрет Паоли. Правда, и он имел горькие столкновения с миром практическим: бедность, неудачи крепко давили его, но он от этого ещё менее узнал действительность. Печальный бродил он по чудным берегам своего озера⁶²⁾, негодующий на свою судьбу, негодующий на Европу, и вдруг воображение указало ему на север — на новую страну, которая, как Австралия в физическом отношении, представляла в нравственном что-то слагающееся в огромных размерах, что-то иное, новое, возникающее... Женевец купил себе историю Левека⁶³⁾, прочёл Вольтерова «Петра I» и через неделю пошёл пешком в Петербург. При девственном взгляде своим на мир женевец имел какую-то незыблемую основательность, даже своего рода холодность. Холодный мечтатель не исправим: он останется на веки веков ребёнком.

Бельтова познакомилась с ним у дяди: она едва смела надеяться найти идеального гувернёра, который сложился у ней в фантазии, но женевец был близок к нему. Она предложила ему (по-тогдашнему очень много) четыре тысячи рублей в год. Женевец сказал, что ему надобно только тысячу двести, и согласился. Бельтова изъявила своё удивление, но он хладнокровно

возразил, что он с нею берёт не менее и не более, как сколько нужно, что он составил себе бюджет в восемьсот рублей да на непредвиденные случаи полагает четыреста, «к роскоши, — прибавил он, — я приучаться не хочу, а собирать капитал считаю делом бесчестным». И этому-то безумцу вверила мать воспитание будущего обладателя Белым Полем с пустошами и угодьями.

Один старик-дядя, всем на свете недовольный, был и этим недоволен, и в то время как Бельтова была вне себя от радости, дядя (один из всех родных её мужа, принимавший её) говорил:

— Ох, Софья, Софья, всё ты вздор делаешь: женевец остался бы преспокойно у меня чтецом; что он за гувернёр? За ним надо ещё няньку, да и что он сделает из Володи? Швейцарца? Так уж лучше, по-моему, просто тебе везти его куда-нибудь в Веве или Лозанну.

Софья видела в этих словах эгоизм старика, полюбившего женевца, и, не желая сердить его, молчала; а потом, спустя недели две, отправилась с Володей и с юношей в сорок лет назад в своё имение. Дело было весною. Женевец начал с того, что развил в Володе страсть к ботанике. С раннего утра отправлялись они гербаризировать, и живой разговор заменял скучные уроки: всякий предмет, попавшийся на глаза, был темой, и Володя с чрезвычайным вниманием слушал объяснения женевца. После обеда сидели обыкновенно на балконе, выходившем в сад, и женевец рассказывал биографии великих людей, дальние путешествия, иногда позволял в виде награды читать самому Володе Плутарха... И время шло, и два выбора прошли⁵⁴), и пришло время везти Володю в университет. Матери что-то не хотелось: она в эти годы более сдружилась с кротким счастьем, нежели во всю жизнь: ей было так хорошо в этой безмятежной, созвучной жизни, что она боялась всякой перемены; она так привыкла и так любила ждать на своём заветном балконе Володю с дальних прогулок; она так наслаждалась им, когда он, отирая пот с своего лица, раскрасневшийся и весёлый, бросался к ней на шею; она с такой гордостью, с таким наслаждением смотрела на него, что готова была заплакать. В самом деле, вид Володи имел в себе что-то трогательное: он был так благороден, — что-то такое прямое, открытое, доверчивое было в нём, — что смотрящему на него становилось отрадно для себя и грустно за него. Как очевидно было, что на этого стройного, гибкого отрока с светлым взором жизнь не клала ни одного ярма, что чувство страха не посещало этой груди, что ложь не переходила через эти уста, что он совсем не знал, что ожидает его с годами. Женевец привязался к своему ученику почти так же, как мать; он иногда долго смотрел на него, опускал глаза, полные слез, думая: «И моя жизнь не погибла; довольно, довольно сознания, что я способствовал развитию такого юноши, — меня совесть не упрекнёт!»

Как всё перепутано, как всё странно на белом свете! Ни мать, ни воспитатель, разумеется, не думали, сколько горечи, сколько искуса они готовят Володе этим отшельническим воспитанием. Они сделали всё, чтоб он не понимал действительности: они рачительно завесили от него, что делается на сером свете, и вместо горького посвящения в жизнь передали ему блестящие идеалы; вместо того, чтоб вести на рынок и показать жалкую нестройность толпы, мечущейся за деньгами, они привели его на прекрасный балет и уверили ребёнка, что эта грация, что это музыкальное сочетание движений с звуками — обыкновенная жизнь; они приготовили своего рода нравственного Каспара Гаузера⁵⁵). Таков был и женевец; но какая разница: он — бедный учёный, готовый переходить с края на край земного шара с небольшой котомкой, с портретом Паоли, с своими заповедными мечтами и с привычкой довольствоваться малым, с презрением к роскоши и с готовностью на труд; что же в нём было схожего с назначением Володи и с его общественным положением?..

Но как ни сдружилась Бельтова с своей отшельнической жизнью, как ни было больно оторваться от тихого Белого Поля, она решилась ехать в Москву. Приехав, Бельтова привезла Володю тотчас к дяде. Старик был очень слаб; она застала его полулежащего в вольтеровских креслах; ноги были закутаны шальями из козьего пуху; седые и редкие волосы длинными космами падали на халат; на глазах был зелёный зонтик.

— Ну, ты чем занимаешься, Владимир Петрович? — спросил старик.

— Готовлюсь в университет, дядюшка, — отвечал юноша.

— В какой?

— В Московский.

— Что там делать? Я сам был знаком с Матеем, да и с Геймом, — ну, а всё, кажется бы, в Оксфорд лучше; а, Софья? Право лучше. А по какой части хочешь ты идти?

— По юридической, дядюшка.

Дядюшка сделал презрительную мину...

— Володя, — продолжал уже он в весёлом расположении, — не пицешь ли ты виршей?

— Пробовал, дядюшка, — отвечал Владимир, покраснев.

— Пожалуйста, не пиши, любезный друг: одни пустые люди пишут вирши; ведь это *futilité**), — надобно делом заниматься.

Только последний совет Владимир и исполнил: стихов он не писал. Вступил же он не в Оксфордский университет, а в Московский, и не по медицинской части, а по этико-политической. Университет довершил воспитание Бельтова. Досель он был один; теперь попал в шумную семью товарищей. Здесь он узнал свой удельный вес, здесь он встретил горячую симпатию юных друзей, и, раскрытый ко всему прекрасному, стал усердно зани-

*) Мелочь.

маться науками. Сам декан не был равнодушен к нему, находя, что ему недостаёт только покороче волос и побольше почтительного благонравия, чтоб быть отличным студентом. Кончился, наконец, и курс; роздали на акте юношам дорожные в жизнь. Бельтова стала собираться в Петербург; сына она хотела отправить вперёд, потом, устроив свои дела, ехать за ним. Прежде, нежели университетские друзья разбрелись по белу свету, собрались они у Бельтова, накануне его отъезда; все были ещё полны надежд; будущность раскрывала свои объятия, манила, отчасти как Клеопатра, предоставляя себе право казни за восторги. Молодые люди чертили себе колоссальные планы... Никто не подозревал, что один кончит своё поприще начальником отделения, проигрывающим всё достояние своё в преферанс, другой зачерствеет в провинциальной жизни и будет себя чувствовать нездоровым, когда не выпьет трёх рюмок зорной настойки перед обедом и не проспит трёх часов после обеда; третий — на таком месте, на котором он будет сердиться, что юноши — не старики, что они не похожи на его эскутора ни манерами, ни правственностью; а все пустые мечтатели. В ушах Бельтова ещё раздавались клятвы в дружбе, в верности мечтам, звуки чокающихся бокалов, — как женевец в дорожном платье будил его.

Мечтатель мой с восторгом ехал в Петербург. Деятельность, деятельность!.. Там-то совершаются его надежды, там-то он разовьёт свои проекты, там узнает действительность, — в этом средоточии, из которого выходит вся новая жизнь России! Москва, думал он, совершила свой подвиг, свела в себя, как в горячее сердце, все вены государства; она бьётся за него; но Петербург, Петербург это — мозг России, он вверху, около него ледяной и гранитный череп: это — возмужалая мысль империи... И ряд подобных мыслей и метафор тянулся в его голове без малейшей натяжки и святою искренностью. А дилижанс, между тем, катился от станции до станции и вёз, сверх наших мечтателей, отставного конно-егерского чиновника, возившего с собою окаменелую шамаю, ромашку на случай расстройства здоровья и лакея, одетого в плешивый тулуп, да светлорылого юнкера, у которого щёки были темнее волос и который гордился своим влиянием на кондуктора. Для Владимира все эти лица имели новостной, праздничный вид. Он добродушно смеялся над архангелогорцем, когда тот его угощал ископаемой шамаей, и улыбался над его неловкостью, когда он так долго шарил в кошельке, чтоб найти приличную монету отдать за порцию щей, что нетерпеливый полковник платил за него; он не мог довольно нарадоваться, что архангельский житель говорил полковнику «ваше превосходительство» и что полковник не мог решительно выразить ни одной мысли, не начав и не окончив её словами, далеко не столь почтительными; ему даже был смешон неуклюжий старичок, служивший у архангельского

проезжего или, правильнее, не умиравший у него в услужении и переплетённый в *saif russe**), несмотря на холод. Юноша на всё смотрел добродушно!

Приезд его в Петербург и первое появление в свете было чрезвычайно успешно. Он имел рекомендательное письмо к одной старой девице с весом; старая девица, увидя прекрасного собою юношу, решила, что он очень образован и знает прекрасно языки. Её брат был начальником какой-то отрасли гражданского управления. Она представила ему Владимира. Тот поговорил с ним несколько минут и, в самом деле, был поражён его простою речью, его многосторонним образованием и пылким, пламенным умом. Он ему предложил записать его в свою канцелярию, сам поручил директору обратить на него особенное внимание.

Владимир принялся рьяно за дело; ему понравилась бюрократия, рассматриваемая сквозь призму девятнадцати лет, — бюрократия хлопотливая, занятая, с нумерами и регистратурой, с озабоченным видом и кипами бумаг под рукой; он видел в канцелярии мельничное колесо, которое заставляет двигаться массы людей, разбросанных на половине земного шара, — он всё поэтизировал.

Приехала, наконец, и Бельтова в Петербург. Женевец всё ещё жил у них; в последнее время он всё порывался несколько раз оставить Бельтовых, но не мог: он так сжился с этим семейством, так много уделил своему Владимиру, и так глубоко уважал его мать, что ему трудно было переступить за порог их дома: он становился угрюм, боролся с собою, — он, как мы сказали, был холодный мечтатель, и, следовательно, неисправим. Как-то вечером, вскоре после определения Владимира на службу, маленькая семья сидела у камина. Молодой Бельтов, у которого и самолюбие было развито, и юное сознание сил и готовности — мечтал о будущем; у него в голове бродили разные надежды, планы, упования; он мечтал об обширной гражданской деятельности, о том, как он посвятит всю жизнь ей... И среди этих увлечений будущим пылкий юноша вдруг бросился на шею к женецу.

— И как много обязан я тебе, истинный добрый друг наш, — сказал он ему, — в том, что я сделался человеком: тебе и моей матери я обязан всем; ты больше для меня, нежели родной отец!

Женевец закрыл рукою глаза, потом посмотрел на мать, на сына, хотел что-то сказать, ничего не сказал, встал и вышел вон из комнаты.

Пришедши в свой небольшой кабинет, женевец запер дверь, вытащил из-под дивана свой пыльный чемоданчик, обтёр его и начал укладывать свои сокровища, с любовью пересматривая их. Эти сокровища обличали как-то въявь всю бесконечную нежность этого человека. У него хранился бережно завернутый

*) Русская кожа (подразумевается кожаный тулуп с вытертой шерстью).

портфель: портфель этот, криво и косо сделанный, склеил для женева 12-летний Володя к новому году, тайком от него, ночью; сверху он наклеил выданный из какой-то книги портрет Вашингтона. Далее, у него хранился акварельный портрет 14-летнего Володи; он был нарисован с открытой шеей, загорелый, с пробивающейся мыслью в глазах и с тем видом, полным упования, надежды, который у него сохранился ещё лет на пять, а потом мелькал в редкие минуты, как солнце в Петербурге, как что-то прошедшее, не прилаживающееся ко всем прочим чертам. Ещё были у него серебряные математические инструменты, подаренные ему стариком-дядей; его же огромная черепаховая табакерка, на которой было вытеснено изображение праздника при федерализации, принадлежащая старику и лежавшая всегда возле него, — её женева купил после смерти старика у его камердинера. Уложив все эти драгоценности и ещё кое-какие в том же роде, он отобрал книг пятнадцать, остальные отложил. Потом, ранним утром, вышел он осторожно на Морскую, призвал ломового извозчика, вынес с человеком чемоданчик и книги и поручил ему сказать, что он поехал дня на два за город, надел длинный сюртук, взял трость и зонтик, пожал руку лакею, который служил при нём, и пошёл пешком с извозчиком; крупные слёзы капали у него на сюртук.

Дня через два Бельтова, чрезвычайно удивлённая поездкой женева, но ожидавшая его возвращения, получила следующее письмо:

«Милостивая государыня! Вчера вечером я получил полную награду за труды мои. Поверьте, эта минута останется мне памятной: она проводит меня до конца жизни, как утешение, как моё оправдание в моих собственных глазах, — но с тем вместе она торжественно заключила моё дело, она ясно показала, что учитель должен оставить уже собственному развитию воспитанника, что он уже скорее может повредить своим влиянием самобытности, нежели быть полезным. Человек должен целую жизнь воспитываться, но есть эпоха, после которой его не должно воспитывать. Да и что я могу сделать теперь для вашего сына? — он опередил меня.

Давно собирался я оставить ваш дом, но моя слабость мешала мне, — мешала мне любовь к вашему сыну; если б я не бежал теперь, я бы никогда не сумел исполнить этот долг, возлагаемый на меня честью. Вы знаете мои правила: я не могу и потому остаться, что считаю унижительным даром есть чужой хлеб и, не трудясь, брать ваши деньги на удовлетворение своих нужд. Итак, вы видите, что мне следовало оставить ваш дом. Расстанемся друзьями и не будем более говорить об этом.

Когда вы получите это письмо, я буду по дороге в Финляндию, откуда я намерен отправиться в Швецию; буду путешествовать, пока проживу свои деньги, потом примусь опять за работу: силы у меня ещё найдутся.

В последнее время я не брал у вас денег; не делайте опыта мне их пересылать, а отдайте половину человеку, который ходил за мною, а половину — прочим слугам, которым прошу вас дружески от меня поклониться: я подчас доставлял много хлопот этим бедным людям. Оставшиеся книги примет от меня в подарок Вольдемар. К нему я пишу особо.

Прощайте, прощайте, благороднейшая и глубокоуважаемая женщина! Да будет благословение на доме вашем; впрочем, чего желать вам, имея такого сына? Желаю одного: чтоб вы и он жили долго, очень долго. Вашу руку».

Письмо его к Владимиру начиналось так:

«Не советы учителя, а советы друга будут последнею речью к тебе, Вольдемар. Ты знаешь, — у меня нет родных, которые мне были бы близки, да нет и посторонних ближе тебя, несмотря на безмерное расстояние лет. На твоём челе покоятся мои упования и надежды. Я стяжал, Вольдемар, право дать тебе дружеский совет, уезжая. Иди дорогой, которую тебе указала судьба: она прекрасна, я не боюсь неудач и несчастий: они найдут в тебе отпор и силу, — я боюсь успехов и счастья: ты стоишь на скользкой дороге. Служи делу, но смотри, чтоб не вышло обратного: чтобы дело не служило тебе. Не смешай, Вольдемар, средства с целью. Одна любовь к ближнему, одна любовь к благу должна быть целью. Если любовь иссякнет в душе твоей, ты ничего не сделаешь, ты будешь обманывать себя: только любовь созидает прочное и живое, а гордость бесплодна, потому что ей ничего не нужно вне себя...»

Всего письма не перепишешь: оно в три почтовые листа.

Так исчез в жизни Владимира этот светлый и добрый образ воспитателя. «Где-то наш monsieur Joseph?» — часто говаривали мать и сын, и они оба задумывались, и в воображении у них носилась его кроткая, спокойная и несколько монашеская фигура, в своём длинном дорожном сюртуке, пропадающая за горами и независимыми норвежскими горами.

...Кто не знает старинной приметы, что дети, слишком много обещающие, редко много исполняют. Отчего это? Неужели силы у человека развиваются в таком определённом количестве, что если они потребуются в молодости, так к совершеннолетию ничего не останется? Вопрос премудрёный. Я его не умею и не хочу разрешать, но думаю, что решение его надобно скорее искать в атмосфере, в окружающем, в влияниях и соприкосновениях, нежели в каком-нибудь нелепом психическом устройстве человека. Как бы то ни было, но примета исполнилась над головой Бельтова. Бельтов с юношеской запальчивостью и с неосновательностью мечтателя сердился на обстоятельства и с внутренним ужасом доходил во всём почти до того же последствия, которое так красноречиво выразил Осип Евсич: «а делают то

одни чернорабочие», и делают от того, что барсуки и фараоны мыши не умеют ничего делать и приносят на жертву человечеству одно желание, одно стремление, часто благородное, но почти всегда бесплодное...

Одним, если не прекрасным, то совершенно петербургским утром — утром, в котором соединились неудобства всех четырёх времён года, мокрый снег хлестал в окна и в одиннадцать часов утра ещё не рассветало, а, кажется, уж смеркалось, сидела Бельтова у того же камина, у которого была последняя беседа с женевцем; Владимир лежал на кушетке с книгой в руке, которую читал и не читал, наконец, — решительно не читал, а положил на стол и, долго просидев в ленивой задумчивости, сказал:

— Маменька, знаете, что мне в голову пришло? Ведь дядюшка-то был прав, советуя мне идти по медицинской части. Как вы думаете, не заняться ли мне медициной?

— Как хочешь, мой друг, — отвечала с обычной кротостью Бельтова. — Одно страшно, Володя: надобно будет тебе подходить к больным, а есть прилипчивые болезни.

— Маменька, — сказал Владимир, нежно взяв её руку и улыбаясь, — какой вы эгоист, преисполненный любви! Жить, сложа руки, конечно, безопаснее: но я полагаю, что на бездействие надобно также иметь призвание, как и на деятельность. Не всякий, кто захочет, может ничего не делать.

— Попробуй, — отвечала мать.

На другой день утром Владимир явился в зале анатомического театра и с тем усердием, с которым принялся за дела канцелярии, стал заниматься анатомией. Но он в эту аудиторию не принёс той чистой любви к науке, которая его сопровождала в Московском университете; как он ни обманывал себя, но медицина была для него местом бегства: он в неё шёл от неудач; шёл от скуки, от нечего делать; много легло уже расстояния между весёлым студентом и отставным чиновником, дилетантом медицины. Одарённый быстрым умом, он очень скоро натолкнулся в новых занятиях своих на те вопросы, на которые медицина учёно молчит и от разрешения которых зависит всё остальное. Он остановился перед ними и хотел их взять приступом, отчаянной храбростью мысли; он не обратил внимания на то, что разрешения эти бывают плодом долгих, постоянных, неутомимых трудов; на такие труды у него не было способности, и он приметно охладел к медицине, особенно к медикам: он в них нашёл опять своих канцелярских товарищей; ему хотелось, чтоб они посвящали всю жизнь разрешению вопросов, его занимавших, ему хотелось, чтоб они к кровати больного подходили, как к высшему священнодействию, а им хотелось вечером играть в карты, а им хотелось практики, а им было недосуг.

«Нет, — думал Владимир, — нет, не хочу быть доктором! Что ж я за бессовестный человек, что осмелюсь лечить больного

при современной разногласии во всех физиологических вопросах. Всё практическое в сторону! Что я за чиновник, что я за учёный? Я... я... не смею признаться, — я артист!» Срисовывая изображения черепа, Бельтов догадался, что он художник. Вздумано — сделано. Нижние стёкла у окон его кабинета завесились непроницаемыми тканями, возле двух черепов явилась небольшая Венера, возле выросли, как из земли, гипсовые головы с выражением ужаса, стыда, ревности, доблести — так, как их понимает учёное ваяние, то-есть так, как эти страсти не являются в природе. Владимир перестал стричь волосы и ходил целое утро в блузе; этот костюм пролетария ему спил аристократ-портной на Невском проспекте. Владимир стал ходить всякую неделю в Эрмитаж и усердно сидеть за мольбертом... Мать входила иногда на цыпочках, боясь помешать будущему Тициану в его занятиях. Он начинал поговаривать об Италии и об исторической картине в современном и сильном вкусе: он обдумывал встречу Бирона, едущего из Сибири, с Минихом, едущим в Сибирь; кругом зимний ландшафт, снег, кибитки и Волга...

Само собою разумеется, что и живопись не совсем удовлетворила Бельтова: в нём не доставало довольства занятием; вне его не доставало той аристократической среды, того живого взаимодействия и обмена, который поддерживает художника. Ничто не вызывало его деятельности; она была вовсе не нужна и обуславливалась только его личным желанием. Но всего более мешали ему прежние мечты о службе, о гражданской деятельности. Ничто в мире не заманчиво так для пламенной натуры, как участие в текущих делах, в этой, воочию совершающейся, истории; кто допустил в свою грудь мечты о такой деятельности, тот испортил себя для всех других областей; тот, чем бы ни занимался, везде будет гостем, — его безусловная область не там: он внесёт гражданский спор в искусство, он мысль свою нарисует, если будет живописец, пропоёт, если будет музыкант. Переходя в другую сферу, он будет себя обманывать, так, как человек, оставляющий свою родину, старается уверить себя, что всё равно, что его родина везде, где он полезен, — старается... а внутри его неотвязный голос зовёт в другое место и напоминает иные песни, иную природу. Темно и отчётливо бродили эти мысли по душе Бельтова, и он с завистью смотрел на какого-нибудь германца, живущего в фортепьянах, счастливого Бетховеном и изучающего современность *ex fontibus**), то-есть по древним писателям...

Не буду вам теперь рассказывать всю историю моего героя; события её очень обыкновенны, но они как-то не совсем обыкновенно отражались в его душе. Скажу вкратце, что после опыта любви, на который потрачено много жизни, и после нескольких векселей, на которые потрачено много состояния, он уехал в

*) По источникам.

чужие края искать рассеяния, искать впечатлений, занятий и проч.; а его мать, слабая и состарившаяся не по летам, поехала в Белое Поле поправлять брешки, сделанные векселями, да уплачивать годовыми заботами своими минутные увлечения сына, да копить новые деньги, чтоб Володя на чужой стороне ни в чём не нуждался. Всё это для Бельтовой было совсем нелегко; она хотя любила сына, но не имела тех способностей, как засекинская барыня, всегда готовая к снисхождению, всегда позволявшая себя обманывать не по небрежности, не по недогадке, а по какой-то нежной деликатности, воспрещавшей ей обнаружить, что она видит истину. Крестьяне Белого Поля молили бога за свою барыню и платили оброк на славу. Бельтов писал часто к матери, и тут бы вы могли увидеть, что есть другая любовь, которая не так горда, не так притязательна, чтоб исключительно присваивать себе это имя, но любовь, не охлаждающаяся ни годами, ни болезнями, которая и в старых летах дрожащими руками открывает письмо и старыми глазами льёт горькие слёзы на дорогие строчки. Письма сына были для Бельтовой источником жизни; они её подкрепляли, тешили, и она сто раз перелистывала каждое письмо. А письма его были грустны, хотя и полны любви, хотя и много было утаено от слабого сердца матери. Видно было, что скука съедает молодого человека, что роль зрителя, на которую обрекает себя путешественник, стала надоедать ему, он досмотрел Европу, — ему ничего не осталось делать; все возле были заняты, как обыкновенно люди дома бывают заняты: он увидел себя гостем, которому предлагают стул, которого осыпают вежливостью, но в семейные тайны не посвящают, которому, наконец, бывает пора идти к себе...

Человек до ста лет дитя! да б он и до пятисот лет жил, всё был бы одной стороной своего бытия дитя. И жаль, если б он утратил эту сторону, — она полна поэзии. Что такое именины? Почему в этот день ярче чувствуется горе и радость, нежели накануне, нежели потом? Не знаю, почему, а оно так. Не только именины, а всякая годовщина сильно потрясает душу. «Сегодня, кажется, 3-е марта», — говорит один, боясь пропустить срок продажи имения с публичного торга, — «3-е марта, да 3-е марта», — отвечает другой, и его дума уже за восемь лет; он вспоминает первое свидание после разлуки, он вспоминает все подробности, и с каким-то торжественным чувством прибавляет: ровно восемь лет! И он боится осквернить этот день, и он чувствует, что это праздник, и ему не приходит на мысль, что 13-е марта будет ровно восемь лет и десять дней, и что всякий день своего рода годовщина. Так было с Бельтовой. Мысль разлуки, мысль о том, что нет писем, стала горче, стала тягостнее при мысли, что Володя не придёт поздравить её, что он, может быть, забудет и там её поздравить... Она впадала в задумчивую мечтательность: то воображению её представлялось, как лет за пятнадцать, она в завтрашний день нашла всю чайную комнату убранную цветами; как

Володя не пускал её туда, обманывал; как она догадывалась, но скрыла от Володи, как мсье Жозеф усердно помогал Володе делать гирлянды; потом ей представлялся Володя в Монпелье, больной, на руках жадного трактирщика, и тут она боялась дать волю воображению идти далее, и торопилась утешить себя тем, что, может быть, мсье Жозеф с ним встретился там и остался при нём. Он так нежен, так добр, так любит Володю; он за ним будет ходить, он строго исполнит приказы доктора, он будет смотреть на него, когда он уснёт. Да зачем же Жозеф в Монпелье? Что же? Володя мог его выписать, как друга... Но...

Вдруг раздался звонкий колокольчик, и отличнейшая почтовая тройка летела через мост, загнула за гору, исчезла и, минуты две спустя, показалась вблизи; ямщик правил прямо к господскому дому, и, лихо подъехав, мастерски осадил лошадей у подъезда...

Одно письмо было с дороги, другое из Женевы. Оно оканчивалось следующими строками: «Эта встреча, любезная маменька, этот разговор потрясли меня, — и я, как уже писал вначале, решился возвратиться и начать службу по выборам. Завтра я еду отсюда, пробуду с месяц на берегах Рейна, оттуда — прямо в Тауроген, не останавливаясь... Германия мне страшно надоела. В Петербурге, в Москве я только повидаюсь с знакомыми и тотчас к вам, милая матушка, к вам в Белое Поле».

Странное дело, Бельтов, с тех пор как отправился в чужие края, жил много и мыслью, и страстями, раздражением мозга и раздражением чувств. Жизнь даром не проходит для людей, у которых пробудилась хоть какая-нибудь сильная мысль... Всё ничего, сегодня идёт, как вчера, всё очень обыкновенно, а вдруг обернётся назад и с изумлением увидишь, что расстояние пройдено страшное, нажито, прожито бездна. Так и было с Бельтовым: он нажил и прожил бездну, но не установился. Бельтов во второй раз встретился с действительностью при тех же условиях, как в канцелярии, — и снова струсил перед ней. У него недоставало того практического смысла, который выучивает человека разбирать связный почерк живых событий; он был слишком разобщён с миром, его окружавшим. Причина этой разобщённости Бельтова понятна: Жозеф сделал из него человека вообще, как Руссо из Эмиля; университет продолжал это общее развитие; дружеский кружок из пяти-шести юношей, полных надеждами, — настолько большими, насколько им ещё была неизвестна жизнь за стенами аудитории, — более и более поддерживал Бельтова в кругу идей, не свойственных, чуждых среде, в которой ему приходилось жить. Наконец, двери школы закрылись, и дружеский круг, вечный и домогильный, бледнел, бледнел и остался только в воспоминаниях или воскресал при случайных и ненужных встречах, да при бокалах вина. Открылись другие двери, немного со скрипом. Бельтов прошёл в них и очутился в стране, совершенно ему неизвестной, до того чужой, что он не мог приладиться ни к чему; он не сочувствовал ни с одной действительной стороной

около него кипевшей жизни. Он не имел способности быть хорошим помещиком, отличным офицером, усердным чиновником, — а затем в действительности оставались только места празднующихся, игроков и кутящей братии вообще. К чести нашего героя должно признаться, что к последнему сословию он имел побольше симпатии, нежели к первым, да и тут ему нельзя было распахнуться: он был слишком развит, а разврат этих господ — слишком грязен, слишком груб. Побился он с медициной да с живописью, покутил, поиграл да и уехал в чужие края. Дела, само собою разумеется, и там ему не нашлось; он занимался бессистемно, занимался всем на свете, удивлял немецких специалистов многосторонностью русского ума; удивлял французов глубокомыслием, и в то же время, как немцы и французы делали много, он — ничего; он тратил своё время, стреляя из пистолета в тире, просиживая до поздней ночи у ресторанов и отдаваясь телом, душою и кошельком какой-нибудь лоретке. Такая жизнь не могла, наконец, не привести к болезненной потребности дела. Несмотря на то, что среди видимой праздности Бельтов много жил и мыслью и страстями, он сохранил от юности отсутствие всякого практического смысла в отношении своей жизни. Вот причина, по которой Бельтов, гонимый тоскою по деятельности, во-первых, принял прекрасное и достохвальное намерение служить по выборам, и, во-вторых, не только удивился, увидев людей, которых он должен был знать со дня рождения или о которых ему следовало бы справиться, вступая с ними в такие близкие сношения, но был до того ошеломлён их языком, их манерами, их образом мыслей, что готов был без всяких усилий, без боя отказаться от предположения, занимавшего его несколько месяцев. Счастлив тот человек, который продолжает начатое, которому преемственно передано дело: он рано приучается к нему, он не тратит полжизни на выбор, он сосредоточивается, ограничивается для того, чтобы не расплыться, — и производит. Мы чаще всего начинаем вновь, мы от отцов своих наследуем только движимое и недвижимое имение, да и то плохо храним; оттого по большей части мы ничего не хотим делать, а если хотим, то выходим на необозримую степь: иди, куда хочешь, во все стороны — воля вольная, только никуда не дойдёшь, это наше многостороннее бездействие, наша деятельная лень. Бельтов совершенно принадлежал к подобным людям, он был лишён совершеннолетия, несмотря на возмужалость своей мысли; словом, теперь, за тридцать лет от роду, он, как шестнадцатилетний мальчик, готовился начать свою жизнь, не замечая, что дверь, ближе и ближе открывавшаяся, не та, через которую входят гладиаторы, а та, в которую выносят их тела. — «Конечно, Бельтов во многом виноват». — Я совершенно с вами согласен; а другие думают, что есть за людьми вины лучше всякой правоты. Так на свете всё превратно.

Не прошло и месяца после водворения Бельтова в NN, как он успел уже приобрести ненависть всего помещичьего круга, что

не мешало, впрочем, и чиновникам, с своей стороны, его ненавидеть. В числе ненавидевших были такие, которые его в глаза не знали, другие, если и знали, то не имели никаких сношений с ним: это была с их стороны ненависть чистая, бескорыстная, но и самые бескорыстные чувства имеют какую-нибудь причину. Причину нелюбви к Бельтову разгадать нетрудно. Помещики и чиновники составляли свои, более или менее замкнутые круги, но круги близкие, родственные; у них были свои интересы, свои ссоры, свои партии, своё общественное мнение, свои обычаи, — общие, впрочем, помещикам всех губерний и чиновникам всей империи. Приезжай в NN советник из КК, он в неделю был бы деятельный и уважаемый член и собрат, приезжай уважаемый друг наш, Павел Иванович Чичиков, и полицмейстер сделал бы для него попойку, и другие пошли бы плясать около него и стали бы его называть «мамочкой», так, очевидно, поняли бы они родство своё с Павлом Ивановичем. Но Бельтов... Бельтов — человек, вышедший в отставку, не дослуживший четырнадцати лет и шести месяцев до знака, — как заметил помощник столоначальника, любивший всё то, чего эти господа терпеть не могли, читавший вредные книжонки всё то время, когда они занимались полезными картами, скиталец по Европе, чужой дома, чужой и на чужбине, аристократический по изяществу манер и человек XIX века по убеждениям, как его могло принять провинциальное общество? Он не мог войти в их интересы, ни они — в его, и они его ненавидели, поняв чувством, что Бельтов — протест, какое-то обличение их жизни, какое-то возражение на весь порядок её. Ко всему этому присовокупилось множество важных обстоятельств. Он сделал мало визитов, он сделал их поздно, он всюду ездил по утрам в сюртуке, он губернатору реже обыкновенного говорил «ваше превосходительство», а предводителю, отставному драгунскому ротмистру, и вовсе не говорил, несмотря на то, что он по месту был временно превосходительный; он с своим камердинером обращался так вежливо, что это оскорбляло гостей; он с дамами говорил, как с людьми, и вообще изъяснялся «слишком вольно»...

Само собою разумеется, ненависть к Бельтову была настолько учтива, что давала себе волю за глаза, в глазах же она окружала свою жертву таким тупым и грубым вниманием, что её можно было принять за простую любовь. Всякий старался иметь приезжего в своём доме, чтоб похвастаться знакомством с ним; чтобы стяжать право десять раз в разговоре вернуть: «вот, когда Бельтов был у меня... я с ним...» ну, и, как водится, в заключение какая-нибудь невинная клевета.

Все меры были приняты добрыми NN-ами, чтоб на выборах прокатить Бельтова на вороных или почтить его избранием в такую должность, которую добровольно мудрено принять. Он сначала не замечал ни ненависти к себе, ни этих парламентских козней, потом стал догадываться и решился самоотверженно идти до конца... Но не бойтесь, — по причинам, очень мне известным,

но которые, из авторской уловки, хочу скрыть, — я избавляю читателей от дальнейших подробностей и описаний выборов в NN; на этот раз меня манят другие события — частные, а не служебные.

Бельтов, чрезвычайно грустный, сидел, с своей стороны, в своём номере, тоскливо думал о чём-то, очень грустном и тяжёлом...

Он в этот день встал поздно, с тяжёлой головой; с вечера он долго читал, но читал невнимательно, в полудремоте, — в последние дни в нём более и более развивалось какое-то болезненное не по себе, не приходившее в ясность, но располагавшее к тяжёлым думам; ему всё чего-то недоставало, он не мог ни на чём сосредоточиться. Около часу он докурив сигару, допил кофе и, долго думая, с чего начать день, — с чтения или с прогулки, — он решился на последнее, сбросил туфли, но вспомнил, что дал себе слово по утрам читать новейшие произведения по части политической экономии, и потому надел туфли, взял новую сигару и совсем расположился заняться политической экономией, но, по несчастью, возле ящика с сигарами лежал Байрон, он лёг на диван и до пяти часов читал «Дон-Жуана».

Одевшись с тою тщательностью и чистотою, к которой скоро мы привыкаем, долго живши за границей, и от которой скоро отвыкаем в провинции, он, твёрдый в намерении заняться политической экономией, лёг на то же место и развернул какую-то английскую брошюру об Адаме Смите. А камердинер развернул небольшой стол и начал его накрывать... спокойно осмотрел сделанное, и, убедившись, что всё поставлено на место, отправился за супом и через минуту принёс, только не суп, а письмо.

— Откуда? — спросил Бельтов, не сводя глаз с брошюрки об Адаме Смите.

— Должно быть, из чужих краёв: штемпель не наш, да ещё объявление на посылку.

— Дай сюда, — и Бельтов бросил брошюру. — От кого б это было? — думал он! — Не понимаю; из Женевы... разве... нет — скорее... нет...

Наконец, Бельтов снял пакет и стал читать письмо; с каждой строчкой его лицо делалось бледнее, и слёзы навернулись на глазах его.

Письмо это было от племянника m-г Жозеф; он извещал Бельтова о смерти старика. Жизнь этого простого, благородного существа так, как текла тихо и ясно, так и потухла. Он много лет был главным учителем в сельской школе, недалеко от Женевы. Дня два ему нездоровилось, на третий казалось лучше; едва переставляя ноги, он отправился в учебную залу; там он упал в обморок, его перенесли домой, пустили ему кровь; он пришёл в себя, был в полной памяти, простился с детьми, которые молча стояли, испуганные и растерянные, около его кровати, звал их гулять и прыгать на его могилу, потом спросил портрет Вольдемара, долго с любовью смотрел на него и сказал племяннику:

— Какой бы человек мог из него выйти... да видно, старик-дядя лучше знал... Отошли этот портрет к Вольдемару после... адрес у меня в портфельчике, в старом, на котором портрет Вашингтона... Жаль Вольдемара... очень жаль...

«Тут, — писал племянник, — больной начал бредить, лицо его приняло задумчивое выражение последних минут жизни; он велел себя приподнять, и, открывши светлые глаза, хотел что-то сказать детям, но язык не повиновался. Он улыбнулся им, и седая голова его упала на грудь. Мы схоронили его на нашем сельском кладбище между органистом и кистером».

Бельтов прочитал письмо, положил его на стол, отёр слезу, прошёлся по комнате, постоял у окна, снова взял письмо, прочёл его от доски до доски. «Удивительный человек! Удивительный человек! — бормотал он сквозь зубы. — Пресчастливый человек, умел довольствоваться, умел трудиться, быть полезным на всяком месте, куда судьба его ни бросала... Теперь на всём земном шаре у меня мать и более никого... никого... Хотя изредка дойдёт, бывало, весть о старике, и хорошо, — ну, просто, я бывал доволен сознанием, что он существует. И его нет! Фу, как тяжело всё это. Право, если б вперёд говорили условия, мало нашлось бы дураков, которые решились бы жить».

— Суп остынет, Владимир Петрович, — доложил камердинер с участием, видевший, что содержание письма было не из приятных.

— Григорий, — спросил Бельтов, — помнишь учителя, который жил у нас?

— Как не помнить-с швейцарца-то-с.

— Он скончался, — сказал Бельтов и отвернулся от Григория, чтоб скрыть волнение.

— Царство ему небесное! — прибавил Григорий. — Добрый был человек и с нашим братом прост; мы вот недавно говорили с Максим Фёдоровичем, что у маменьки служит в буфетчиках, то-есть о вас. Признаться доложить, Максим Фёдорович не надвигается на вас; я, по вашей милости, посмотрелся на разные нации и на тамошние порядки, ну, а он больше всё в губернии проживал, ему и удивительно. «Конечно, говорит, добрая душа у них, врождённая, барынина. Ну и то-есть и от учителя было чему заняться; бывало, я помню, перед деревенским мальчишкой, который поклонится, приказывает Владимиру Петровичу картузик снять: такой же, де, образ и подобие божие есть».

Бельтов промолчал и грустно принял за суп.

Весть о смерти Жозефа естественным образом вызвала в памяти Бельтова всю его юность, а за нею — и всю жизнь. Он вспомнил поучения Жозефа, — как жадно внимал он им, как верил и как всё оказалось в жизни совсем не так, как в словах Жозефа, — и... Странное дело! Всё говорённое им было прекрасно, истинно, истинно направо и налево и совершенно ложно для него, Бельтова. Он сравнивал себя тогдашнего и себя настоя-

щего: ничего не было общего, кроме нити воспоминаний, связывавших эти два разные лица. Тот — полный упований, с религией самоотвержения, с готовностью на тяжкие подвиги, на безвозмездные труды, и этот, уступивший внешним обстоятельствам, без надежд, ищущий чего-нибудь для развлечения. Когда Григорий принёс портрет с почты, Бельтов разрезал поскорее клеёнку и с большим нетерпением вынул его... Он переменялся в лице, взглянув на черты, бывшие некогда его чертами, — он чуть не отвернулся от них. Тут было представлено всё, что бродило у него в голове. Как свежо, светло было отроческое лицо это: шея раскрыта, воротник от рубашки лежал на плечах, и какая-то невыразимая черта задумчивости пробежала по устам и взору, той неопределённой задумчивости, которая предупреждает будущую мысль: «как много выйдет из этого юноши», — сказал бы каждый теоретик, — так говорил мсье Жозеф, — а из него вышел праздный турист, который, как за последний якорь, схватился за место по дворянским выборам в NN. «Тогда, — думал Бельтов, глядя с упрёком на портрет, — тогда мне было четырнадцать лет, теперь мне за тридцать — и что впереди? Одна серая мгла, скучное, однообразное продолжение впредь; начать новую жизнь поздно, продолжать старую невозможно. Сколько начинаний, сколько встреч... и всё окончилось праздностью и одиночеством...»

ПРЕДИСЛОВИЕ⁵⁶⁾

Надобно было бы иметь больше наивности и детского простодушия, чем у самого Грибуля*), для того, чтобы рекомендовать нашим читателям произведение одного из величайших писателей нашего времени — писателя, с которым наша публика так коротко и так давно знакома, которого она так сильно любит и который так достоин быть любимым.

Нам только хотелось обратить внимание читателей на необычайно ловкое, удачное и художественное разрешение бесконечно трудной задачи.

Писать детские книги, действительно — задача колоссальная, оттого-то их нет. Есть книги отроческие, современная английская литература ими очень богата, — но детских нет.

Дети любят сказки. Но сказки бывают или бессмысленные, или скучные. В первых всё пожертвовано фантастическому, во вторых всё убито натянутой, пошлой и не вовсе нравственной моралью.

Одна книга делает исключение — «Робинзон», — да как же его зато и читают дети!

Ж. Санд, удовлетворяя совершенно художественной потребности детского воображения, создала рассказ высоко нравствен-

*) Герой рекомендуемого Герценом произведения Ж. Занд «Похождения Грибуля».

ный, и который поэтому не имеет ничего общего с правоучительными повестями, особенно с французскими.

Мораль их состоит в развитии эгоистической, своекорыстной любви к добру, во внешних наградах за исполнение долга, так что человек, поступающий нравственно, ничем не отличается от ростовщика, лишаящего себя на время денег для того, чтобы получить их назад с огромной лихвой. Вот почему детские повести и рассказы, драмы и поэмы у французов сбиваются на полицейское следствие, и психический разбор их очень близок к разбору в управе благочиния; им надобно открыть виновных и достойных: виновных наказать, достойных наградить.

Вовсе не так поняла и создала Ж. Санд своего «Грибуля». С первого появления его от него веет какой-то свежестью и чистотой; это — натура наивная, бескорыстная, преданная, любящая и оттого постоянно гонимая. Родители его считают дураком, потому что он не хочет, из любви к ним, покинуть родительского дома. Этот характер она выдержала до конца.

Когда Грибуль сам зажёл свой костёр и царица хотела отступать, чтобы его спасти, мы так и ждали, что Шмель, тронутый героизмом Грибуля, бросится к костру спасать его, отдаст Грибуля царице, а царица отдаст себя Шмелю и сделает Грибуля маршалом или констаблем. Но Грибуль сгорел, «от него осталась грудa пепла, на верхушке которой вырос и распустился маленький голубой цветочек». Награда за подвиги Грибуля была не ему.

Здоровее нравственности нельзя проповедывать детям. Ж. Санд облекла её во всю прелесть детской поэзии, — без этого дети все бы не стали её читать. Художественная потребность идёт у детей вперёд — они в книге ищут наслаждения, а не пользу. Оттого они очень рано различают два рода книг: один, который они читают, и другой, который им велят читать.

С первой страницы дети увлекаются Грибулем, любят маленького чудака, который «бросился в воду, чтобы скрыться от дождя», и следят за ним с страстным участием. Дочитавши, они снова принимаются за книгу. Это я видел на опыте и знаю по количеству экземпляров, потреблённых детьми. Они изнашивают «Грибуля», — это верх успеха для детской книги.





РАЗДЕЛ II

СТАТЬИ ПО ВОПРОСАМ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Пояснения ко 2-му разделу

Во втором разделе собраны высказывания Герцена о роли и месте естествознания в жизни, воспитании и образовании.

Здесь помещены полностью две педагогические статьи Герцена и даны с сокращениями два публицистических произведения на вышеуказанную тему.

Первая статья — отзыв о публичных лекциях проф. Рулье — примыкает к ранним философским трудам Герцена и особенно к написанному им важнейшему трактату русской классической философии «Письма об изучении природы». Об этих «письмах» Герцена Белинский писал в обзоре «Русская литература в 1843 году»: «Из замечательных статей учебно-беллетристических... три статьи А. Ис-ра». («Искандер» — псевдоним Герцена.) В. И. Ленин говорил об этих письмах Герцена, что здесь виден мыслитель, «который даже теперь головой выше бездны современных естествоиспытателей — эмпириков и тьмы тем нынешних философов, идеалистов и полуйдеалистов» (Ленин, Соч., т. XV, стр. 464). Герцен указывал на огромную роль естественных наук в разрешении практических вопросов жизни.

Он говорил о необходимости преодоления разрыва между естествознанием и философией в интересах дальнейшего развития человеческих знаний. Герцен писал, что «философия без естествознания также невозможна, как естествознание без философии». В своём основном философском труде Герцен дал историю материалистических учений, развил материалистическую теорию познания и выступил против идеализма, в том числе немецкой идеалистической диалектики.

Признавая идею диалектического развития мира и с этой позиции критикуя естествоиспытателей, стоящих на позициях механистического материализма, Герцен, однако, не преодолел недостатков антропологического взгляда на природу. Общественную жизнь человека он иногда трактовал, как простое продолжение жизни природы, не видя роли труда в становлении человека.

Следует сказать, что позже и особенно в письме к сыну «О свободе воли» Герцен решительно заявит, что биологический подход к человеку — недостаточен. «Письма об изучении природы», как и «Письмо к сыну», читатель найдёт с соответствующими комментариями в следующем издании: А. И. Герцен, Избранные философские произведения, тт. I, II, Госполитиздат, 1946.

С первых шагов своей деятельности Герцен отрицательно относился к кабинетным учёным, считавшим, что место науки только в аудиториях, конференц-залах, говорящих «странным и трудно-понятным языком». Он звал учёных и науку со «своего трона сойти в жизнь». С неизменной симпатией он относился к тем, кто стремился к популяризации и распространению научных знаний в широких массах населения. Он горячо приветствовал таких учёных, как профессор Московского университета Рулье, знакомившего путём публичных лекций широкую публику с зоологией.

Во второй статье «Опыт беседы с молодыми людьми» Герцен впервые обращается непосредственно к учащейся молодёжи.

Эта статья Герцена не является систематическим изложением определённого раздела отдельной области естествознания (химии, физики), её задача другая. Герцен хочет развить у молодёжи интерес к наблюдению над повседневными явлениями. На простейших, постоянно наблюдаемых фактах он объясняет сложные явления природы. Таков метод Герцена.

Не менее характерным и интересным является осторожное отношение Герцена к сообщению определений и названий. Рассказывая молодым людям, что в каждой науке есть своя «азбука», — определения, категории, названия, — которая должна быть выучена, Герцен начинает не с этого. Сначала, говорит он, надо дать многосторонние фактические знания о предметах и явлениях, а потом формулировать определения и выводы, давать названия.

Герцен не столько сообщает готовые, известные истины, он стремится «научить спрашивать» и тем воспитать в молодых людях пытливость мысли, интерес к наблюдениям и размышлениям.

К этому произведению примыкает статья «Разговоры с детьми», в которой Герцен стремится научить детей бороться с религиозными предрассудками, прививаемыми им взрослыми. Содержанием статьи является отрицание Герценом основного тезиса казённой школьной науки — существование «души», противоположной телу. Герцен показывает, что вера человека в существование «души» служит причиной ложных страхов. «Ложные страхи» в свою очередь являются результатом «пустых вымыслов».

О борьбе с ложными детскими страхами в педагогической литературе говорил Ж. Ж. Руссо. Во второй книге его произведения «Эмиль или о воспитании» уделено большое внимание этому вопросу. Руссо признаётся, что многие мысли об этом он заимствовал от Бюффона. Герцен слышал о Бюффоне — французском естествоиспытателе — от своего двоюродного брата «Химика» (как он его называл), изучал Бюффона на физико-математическом

факультете Московского университета. Герцена также сближают с Руссо воспоминания собственного детства. Руссо рассказывает, как он мальчиком ходил ночью в церковь и как избавился от ночного страха. Герцен также рассказывает о том, как его ночное путешествие к кургану стало причиной освобождения от страха перед ночной темнотой и ещё чем-то непонятным, чего боялись окружающие. Интересно, однако, что Герцен видит причину детских страхов не там, где находил её Руссо.

Статья Герцена характеризуется атеистической направленностью, он борется с религиозными предрассудками детей, прививаемыми им взрослыми. Руссо считал, что причина страха есть «незнание того, какие вещи нас окружают и что вокруг нас происходит»; Герцен, не отрицая вреда незнания, много говорит о вреде мнимого, ложного знания, являющегося результатом предрассудков и заблуждений. Наиболее распространённым и вредным предрассудком он считает веру в душу и духов. Он стремится доказать детям, что данные естественных наук — химии, физиологии и т. д. — разбивают нелепое, ложное представление о бесплотных духах, богах, ангелах и тому подобных непонятных, следовательно, страшных существах. Деист Руссо считал невозможным говорить с детьми о боге до 15 лет. Материалист и атеист Герцен настаивал на воспитании у детей атеистического мировоззрения.

В статье «Разговоры с детьми», как и в «Опыте беседы с молодыми людьми», Герцен ставит перед собой задачу возбудить интерес, дать детям материал для размышления, научить их «спрашивать» учителей и обсуждать то, что они узнали, со своими товарищами.

Нельзя не обратить внимания также на ясность, простоту, отточенность и образность языка Герцена, на его умение говорить на самые сложные темы интересно и доступно для детского понимания.

Герцен вместе с другими передовыми людьми его времени, вместе с Белинским был горячим и убеждённым сторонником женского образования. О необходимости дать женщинам равное с мужчинами образование он говорит во многих своих произведениях и статьях. Мы поместили здесь остроумные, полные негодования и сарказма, направленные против консерваторов, поборников женского неравенства. «Письма к будущему другу» в отрывках (относящихся к теме второго раздела).

ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ Г-НА ПРОФЕССОРА РУЛЬЕ⁵⁷⁾

*Незнание природы — величайшая
неблагодарность.* Плиний ст.

Одна из главных потребностей нашего времени — обобщение истинных, дельных сведений об естествознании. Их много в науке, их мало в обществе, надобно втолкнуть их в поток общественного сознания, надобно их сделать доступными, надобно

дать им форму живую, как жива природа; надобно дать им язык откровенный, простой, как её собственный язык, которым она развёртывает бесконечное богатство своей сущности в величественной и стройной простоте. Нам кажется почти невозможным без естествоведения воспитать действительно мощное умственное развитие; никакая отрасль знаний не приучает так ума к твёрдому, положительному шагу, к смирению перед истиной, к добросовестному труду и, что ещё важнее, к добросовестному принятию последствий такими, какими они выйдут, — как изучение природы; им бы мы начинали воспитание для того, чтобы очистить отроческий ум от предрассудков, дать ему возмужать на этой здоровой пище и потом уже раскрыть для него, окрепнувшего и вооружённого, мир человеческий, мир истории, из которого двери отворяются прямо в деятельность, в собственное участие в современных вопросах. Мысль эта, конечно, не нова. Рабле, очень живо понимавший страшный вред схоластики на развитие ума, положил в основу воспитания Гаргантюа естественные науки. Бэкон хотел их положить в основу воспитания всего человечества: *Instauratio magna**) основана на возвращении ума к природе, к наблюдению; исключительным предпочтением естествоведения стремился Бэкон восстановить нормальное отправление мышления, забитого средневековой метафизикой, — он не видал иного средства для очищения современных умов от ложных образов и предрассудков, наслонённых веками, как обращая внимание на природу с её непреложными законами, с её непокорностью схоластическим приёмам и с её готовностью раскрываться логическому мышлению. Учёный мир, особенно в Англии и Франции, понял вызов лорда Верулама⁵³), и с него начинается непрерывный ряд великих деятелей, разработавших во всех направлениях обширное поле естествоведения.

Но плоды этого изучения, результаты долгих и великих трудов, не перешли академических стен, не принесли той ортопедической пользы свихнутому пониманию, которой можно было ожидать**). Воспитание образованных сословий во всей Европе мало захватило из естественных наук; оно осталось по-прежнему под влиянием какой-то риторико-филологической (в самом тесном смысле слова) выучки; оно осталось воспитанием памяти более, нежели разума, воспитанием авторитетами, а не самостоятельностью; риторика и формализм по-прежнему вытесняют природу. Такое развитие ведёт почти всегда к надменности ума, к презрению всего естественного, здорового, и к предпочтению всего лихорадочного, натянутого; мысли, суждения по-прежнему прививаются, как оспа, во время духовной неразвитости; приходя в сознание, человек находит след раны на руке, находит сумму готовых истин и, отправляясь с ними в путь, добродушно

*) «Великое восстановление наук» — название произведения Бэкона. (М. III.)

**) Само собой разумеется, что здесь вовсе нет речи о технических приложениях. — А. Г.

принимает и то и другое за событие за дело конченное. Против этого-то ложного и вредного в своей односторонности образования нет средств сильнее всеобщего распространения естествоведения, с той точки зрения, до которой оно выработалось теперь; но, по несчастию, великие истины, великие открытия, следующие быстро друг за другом в естественных науках, не переходят в общий поток кругообращающихся истин, а если доля их и получает гласность, то в такой бедной и в такой неправильной форме, что люди и эти выработанные для них истины принимают такими же втеснёнными в память событиями, как и всё остальное схоластическое достояние. Французы сделали больше всех для популяризации естественных наук, но их усилия постоянно разбивались об толстую кору предрассудков; полного успеха не было, между прочим, потому, что большая часть опытов популярного изложения исполнена уступок, риторики, фраз и дурного языка.

Предрассудки, с которыми мы выросли, образ выражения, образ понимания, самые слова подкладывают нам представления, не только неточные, но прямо противоположные делу. Наше воображение так развращено и так напитано метафизикой, что мы утратили возможность бесхитростно и просто выражать события мира физического, не вводя самым выражением и совершенно бессознательно ложных представлений — принимая метафору за самое дело, разделяя словами то, что соединено действительностью. Этот ложный язык приняла сама наука: оттого так трудно и запутано всё, что она рассказывает. Но науке язык этот не так вреден — весь вред достанется обществу; учёный принимает глоссологию⁵⁹) за знак, под которым он, как математик под условной буквой, сжимает целый ряд явлений, вопросов. Общество имеет слепую доверенность к слову, и в этом — свидетельство прекрасного доверия к речи, так что человек и при злоупотреблении слова полон веры к нему, — и полон веры к науке, принимая высказываемое ею не за косноязычный намёк, а за выражение, вполне исчерпывающее событие. Для примера вспомним, что всякий порядок физических явлений, которых причина неизвестна, наука принимает за проявление особой силы и, по схоластической диалектике, олицетворяет её до такой самобытности, что она совершенно распадается с веществом (такова модная метаболическая сила, каталитическая). Математик поставил бы тут добросовестно x , и всякий знал бы, что это — искомое, а новая сила даёт подозревать, что оно сыскано, — и для полного смещения понятий к этим ложным выражениям присоединяются ещё ложные сентенции, повторяемые из века в век без анализа, без критики и которые представляют все предметы под совершенно неправильным освещением.

Позвольте для ясности прибегнуть к примеру. Линней, великий человек в полном значении слова, но находившийся, как все великие и невеликие люди, под влиянием своего века, сделал

две противоположные ошибки, увлекаемый двумя схоластическими предрассудками. Он определил человека, как вид рода обезьян, и возле него поставил нетопыря; последнее — непростительная зоогностическая ошибка, первое — ещё более непростительная логическая ошибка. Линней, как мы сейчас увидим, и не думал унижить человека родством с обезьяной; он под влиянием схоластики до того отделял человека от его тела, что ему казалось возможным беспощадно обращаться с формой и наружностью человека; поставив человека по телу на одну доску с летучими мышами, Линней восклицает: «Как презрителен был бы человек, если бы он не стал выше всего человеческого...» Это уже не Эпиктетов: «Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Эта фраза Линнея, как все фразы вообще, когда они только фразы, могла бы преспокойно быть забыта, задвинутая великими заслугами его, но, по несчастью, она совершенно сообразна с схоластико-романтическим воззрением: она и темна, и непонятна, и спиритуальна, а потому-то именно и повторяется из рода в род, и не далее ещё, как в прошедшем году, один из известных французских профессоров, Флуран, приходил в восторг от патетической выходки Линнея и говорил, что одной этой фразы достаточно, чтобы признать Линнея величайшим гением. Мы признаёмся откровенно, что видели в этой фразе только угрызение совести и желание загладить вину грубого материализма грубым спиритуализмом; но два противоположные заблуждения, оставленные не примирёнными, далеки от того, чтобы составить истину. Без всякого сомнения, человек должен отбросить всё человеческое, если человеческое ничего другого не значит, как отличительную особенность обезьяны двурукой, бесхвостой, называемой homo; но кто же дал Линнею право человека сделать животным потому только, что у него есть всё, что у животного? Зачем он, назвавши его sapiens, не отделил его во имя того, чего нет у животного, а есть у человека? И что за ребячья логика! Если человек, чтоб быть тем, чем может быть, должен оставить всё человеческое, что же человеческого в этом оставляемом? Тут или ошибка, или невозможность: то, что должно оставить — вероятно, не человеческое, а животное, и как подняться над самим собою? Это что-то вроде того, как приподнять самого себя, чтобы быть выше ростом.

Сентенция Линнея взята нами случайно из тысячи подобных и худших; все они пробрались в наукообразное изложение и повторяются как будто по обязанности или из учтивости, мешая ясному и прямому пониманию исторической фантазмагорией. Совокупность подобных суждений и предрассудков составляет целую теорию нелепого понимания природы и её явлений. Обыкновенные опыты популяризации вместо того, чтобы на каждом шагу обличать нелепость этих понятий, подделываются к ним так, как необразованные няньки говорят с детьми ломаным языком.

Но всему этому приближается конец: недаром А. Гумбольдт, как некогда Плиний, издаёт оглавление к оконченному тому под названием Космос⁶⁰).

Если мы, хоть издали, несколько присмотримся к тому, что делается теперь в естественных науках, нас поразит веяние какого-то нового, отчётливого, глубокомысленного духа, равно далёкого от нелепого материализма, как и от мечтательного спиритуализма. Рассказ общедоступный нового воззрения на жизнь, на природу чрезвычайно важен: вот почему нам пришло желание поговорить о публичных чтениях г. Рулье, к которым теперь и обращаемся.

Г-н Рулье избрал предметом своих публичных чтений образ жизни и нравы животных, т. е., как он сам выразился, психологию животных. Зоология в высшем своём развитии должна непременно перейти в психологию. Главный отличительный, существенный характер животного царства состоит в развитии психических способностей, сознания, произвола. Нужно ли говорить о высокой занимательности рассказа, последовательных и разнообразных проявлений внутреннего начала жизни, от грубого, необходимого инстинкта, от тёмного влечения к отыскиванию пищи и невольного чувства самосохранения до низшей степени рассудка, до соображения средств с целью, до некоторого сознания и наслаждения собой; при этом рассказе сами собою отовсюду теснятся и просятся интереснейшие вопросы, наблюдения, исследования, глубочайшие истины естествоведения и даже философии. Выбор такого предмета свидетельствует живое понимание науки и большую смелость: здесь надобно часто прокладывать новую дорогу: психология животных несравненно менее обращала на себя внимание учёных естествоиспытателей, нежели их форма. Животная психология должна завершить, увенчать сравнительную анатомию и физиологию⁶¹); она должна представить до-человеческую феноменологию развёртывающегося сознания; её конец — при начале психологии человека, в которую она вливается, как венозная кровь в лёгкие, для того, чтобы одухотвориться и сделаться алою кровью, текущею в артериях истории. Прогресс животного — прогресс его тела; его история — пластическое развитие органов от полипа до обезьяны; прогресс человека — прогресс содержания мысли, а не тела, тело дальше идти не может. Но вряд возможно ли наукообразное изложение психологии животных при современном состоянии естествознания; тем более должно уважать всякую попытку, особенно, если она так хорошо выполнена, как чтения г. Рулье.

Зоология преимущественно занималась системой, формой, внешностью, признаками, распределением животных: классификация — дело важное, но далеко не главное. Соблазнительный пример страшного успеха линнеевой ботанической классификации увлёк зоологию и остановил, по превосходному замечанию Кю-

вье, успехи её обращением всего внимания всех трудов на описание признаков и на искусственные системы. Против этого мёртвого и чисто формального направления восстал Бюффон. Бюффон имел огромное преимущество перед большею частью современных ему натуралистов — он вовсе не знал естественных наук. Сделавшись начальником *Jardin des plantes*, он сперва страстно полюбил природу, а потом стал изучать её по-своему, внося глубокую думу в исследование фактов, думу живую и совершенно независимую от школьных предассудков, притупляющих мысль и мешающих рутинной успеху. Бюффон до излишества боялся классификации и систематики; предметом его изучения были животные со всею полнотой жизненных проявлений, с их анатомией и образом жизни, с их наружностью и страстями; для такого изучения животных мало было идти в музей, сличать формы, смотреть на одни следы жизни, подмечать их различия и сходства; надобно было идти в зверинец, в конюшню, на птичий двор, надобно было идти в лес, в поле, сделаться рыбаком — словом, надобно было сделать то, что сделал для американской орнитологии Одюбон. Бюффону не представлялось никакой возможности свои изучения природы привести в наукообразный вид: материалы были недостаточны, да и склад его гения вовсе не был методологический; оттого, быть может, после него наука пошла не его дорогой, хотя и пошла по пути, им указанному. Бюффон натолкнул Добантона на анатомию животных, и сравнительная анатомия поглотила всё внимание. Десяти лет не прошло после смерти Бюффона, как зоология простилась с ним и с Линнеем. Неизвестный молодой естествоиспытатель напал 21 флореаля III года Республики на Линнееву систему⁶²) в заседании института; что-то мощное, твёрдое, обдуманное и резкое звучало в словах молодого человека; мысль о четырёх типах*) животного царства и об основании разделения не на одном порядке признаков, а на совокупном рассматривании всех систем и всех органов, поразила слушающих. Этому человеку было суждено сильно двинуть вперёд зоологию. Он требовал анатомии, сличения частей, раскрытия их соответственности; труды его были многочисленны, невероятная проницательность помогала ему; каждое замечание его было новая мысль; каждое сличение двух параллельных органов раскрывало более и более возможность общей теории «правильного анализа», посредством которого можно по твёрдо определённым условиям бытия (так называет Кювье конечные причины) доходить до форм, до их отправлений. Первый гениальный опыт практического осуществления этих начал привёл Кювье от возможности восстановления целого животного по одной косточке к действительному восстановлению мира ископаемого; воскрешение допотопных животных было верхом торжества сравнительной анатомии. Мечты Кампера начали сбываться,

*) Позвоночные, моллюски, суставчатые и звёздчатые. — А. Г.

сравнительная анатомия становилась наукой. Кювье говорит в своей «Палеонтографии» (стр. 90): «Органическое существо составляет целую, замкнутую в себе, систему, которой части непременно соответствуют друг другу и содействуют одна другой в достижении общей цели; отсюда понятно, что каждая часть, отдельно взятая, служит представителем всех остальных частей. Если пищеварительные органы так устроены, что они назначены переваривать исключительно свежее мясо, то и челюсти должны быть устроены особым образом, и длинные когти необходимы, чтобы уцепиться и разорвать свою жертву, и острые зубы, и сильное мышечное развитие ног для бега, и чуткость обоняния и зрения; даже самый мозг хищного зверя должен быть особенно развит, потому что зверь способен на хитрость, и пр.». Какая ширина взгляда и какое торжество Бэконовского наведения!

Тем не менее исключительно анатомическое направление принесло свои неудобства: гениальность Кювье сглаживала их, у многих последователей его они обличились. Анатомия приучает нас рассматривать несущийся поток, стремительный процесс — остановившимся, приучает смотреть не на живое существо, а на его тело, как на нечто страдательное, как на окончанный результат, — а окончанный результат значит на языке жизни умерший: жизнь — деятельность, непрерывная деятельность, «вихрь, круговорот», как назвал её Кювье. Сверх того, анатомическое, т. е. описательное изучение тела животного, — не что иное, как более развитое изучение наружных признаков: внутренность животного, другая сторона его наружности, — это не игра слов. Наружность животного, лицевая сторона его, — обнаруженная внутренность; но и все внутреннее его части точно такие же обнаружения чего-то ещё более внутреннего, а это внутреннее начало и есть сама жизнь, сама деятельность, для которой части, вне и внутри находящиеся, — равно органы. Дело в том, что ни изучение одной наружности, ни изучение анатомии не даёт полного знания животного. Великий⁶³) Гёте первый внёс элемент движения в сравнительную анатомию, — он показал возможность проследить архитектонику организма в его возникновении и постепенном развитии; законы, раскрытые им, о превращении частей зерна в семенные доли, ствол, почки, листья и о видоизменении потом листа во все части цветка, прямо вели к опыту генетического развития частей животного тела. Гёте сам много трудился над остеологией; занятый этим предметом, он, гуляя в Италии по разрытому кладбищу и натолкнувшись на череп, лежавший возле своих позвонков, — был поражён мыслью, которая впоследствии получила полное право гражданства в остеологии, — мыслью, что голова не что иное, как особое развитие нескольких позвонков. Но и гётевское воззрение оставалось морфологией; рассуждая, так сказать, о геометрическом развитии форм, Гёте не думал о содержании, о материале, развивающемся и непрерывно изменяющемся с переменной формы.

Если бы пределы этой статьи дозволили нам, мы остановились бы перед двумя другими великими попытками, оставившими длинный след за собою: мы говорим о Жофруа Сент-Илере и об Окене. Учение об едином типе, эмбриологии и тератологии первого, опыт глубокой классификации другого — приблизили зоологию к тому, к чему она стремилась, к переходу из морфологии в физиологию, — в это море, зовущее в себя все отдельные ветви науки об органических телах для того, чтобы свести их на химию, физику и механику, или, проще, на физиологию неорудной природы; «тому достанется пальма в естествоведении, — говорит Бэр, — кто сведёт на всеобщие мировые силы все явления возникающего животного организма. Но дерево, из которого сделают колыбель этого человека, не возшло ещё»; мы полагаем, напротив, что не только дерево выросло, но что и колыбель уже сделана. Сильная деятельность кипит во всех сферах естествоведения: с одной стороны, Дюма, Либих, Распайль, с другой, Валентин, Вагнер, Мажанди сообщили новый характер естественным наукам, какой-то глубокий, реалистический, отчётливый, верно ставящий вопрос. Каждый журнал, каждая брошюра свидетельствует о кипящей работе; всё это отрывочно, частно, но уже само собой связуется единством направления, единством духа, веющего во всех дельных трудах. Но если задача физиологии действительно состоит в том, чтобы узнать в органическом процессе высшее развитие химизма, а в химизме — низшую степень жизни, — если она не может сойти с химико-физической почвы, то верхними ветвями своими она переходит в совершенно иной мир: мозг, как орган высших способностей, рассматриваемый при отпирании своей деятельности, прямо ведёт к изучению отношения нравственной стороны с физической, и таким образом к психологии. Здесь могут явиться вопросы, которых не осилит ни физика, ни химия, которые могут только разрешиться при посредстве философского мышления.

Г. Рулье, вполне понимая, что наукообразно изложить психологию животных при современном состоянии естествоведения невозможно, избрал манеру бюффоновского рассказа; рассказ его об инстинкте и рассудке, о сметливости животных и их нравах был жив, нов и опирался на богатые сведения г. профессора, известного своими важными заслугами по части московской палеонтологии; в его словах, в его постоянной защите животного нам приятно было видеть какое-то восстановление достоинства существ, оскорбляемых гордостью человека даже в теории. В одной из следующих статей мы попросим позволения сказать наше мнение о теориях и воззрениях г. Рулье, теперь ограничимся мы изложением одного желания, приходившего нам в голову несколько раз, когда мы слушали увлекательный рассказ учёного. Целость всего сказанного ускользает; нам кажется, что это происходит от порядка избранного г. профессором. Если бы вместо того, чтоб последовательно переходить от одной психической сто-

роны животной жизни к другой, г. профессор развёртывал психическую деятельность животного царства в генетическом порядке, в том порядке, в котором она развивается от низших классов до млекопитающих, — было бы больше целостности, и сама собой складывалась бы в уме слушателей история психического прогресса в её прямом соотношении с формой. К тому же это дало бы случай г. профессору познакомить своих слушателей с этими формами, с этими орудиями психической жизни, которые, непрерывно развиваясь во все стороны, тысячью путями стремятся к одной цели, всегда сохраняя правильную ответственность между степенью развития психической деятельности, органом и средою.

ОПЫТ БЕСЕДЫ С МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ *) 64)

Вероятно, каждому молодому человеку, сколько-нибудь привычному к размышлению, приходило в голову: отчего в природе всё так весело, ярко, живо, а в книге то же самое скучно, трудно, бледно и мертво? Неужели это — свойство речи человеческой. Я не думаю. Мне кажется, что это — вина неясного понимания и дурного изложения.

Ни трудных, ни скучных наук вовсе нет, если их начинать с начала и идти в каком-нибудь порядке. Труднее всего и во всём азбука и чтение; они требуют механических усилий памяти и соображения, чтоб запомнить множество условных знаков, но вы знаете, как это легко делается. Всякая наука имеет свою азбуку, далеко не так сложную, как настоящая, но которая издали дика и запутана; через неё надобно пройти, и это ничего не значит. Разумеется, нельзя читать химическое рассуждение, не зная, что такое кислота, соль, основание, сродство и проч. Но не надобно забывать, что нельзя и в карты играть, не давши себе труда выучиться мастям и названиям.

Будьте уверены, что трудных предметов нет, но есть бездна вещей, которых мы просто не знаем, и ещё больше таких, которые знаем дурно, бессвязно, отрывочно, даже ложно. И эти-то ложные сведения ещё больше нас останавливают и сбивают, чем те, которых мы совсем не знаем.

Основываясь на ложном и неполном понимании, на произвольных предположениях, как на решённом деле, мы быстро доходим до больших ошибок. Пустые ответы убивают справедливые вопросы и отводят ум от дела. Вот причина, почему, начиная говорить с вами, я не только не требую от вас знаний, но скорее был бы доволен, если бы вы забыли всё, что знаете школьно, и

*) Я убедительно прошу принять эту статейку только за опыт. Если я не умел его сделать, пусть кто-нибудь другой напишет на тех же началах; я вполне убеждён, что в них я не ошибся. — А. Г.

имели бы тот простой взгляд и те неизбежные понятия о вещах, которые сами собой приобретаются в жизни — иногда смутной и ошибочной, но не преднамеренно ложной.

Мне хотелось бы не столько сообщить вам сведения, дать ответы на ваши вопросы, как научить вас спрашивать, поставить вас относительно предметов на точку зрения здравого смысла. Овладевши её несложными приёмами, вам легко будет приобрести, сколько хотите, знаний из огромных запасов наблюдений и фактов. Мне хотелось бы указать вам тропинку в их дремучем лесу, чтоб вас не обошёл, как говорят наши мужички, «дукавый», т. е. дух лжи и неправды, — дать вам нить, которая довела бы вас до других, уже более опытных проводников и, если вы того захотите, до собственного наблюдения.

Предания, которые нас окружают с детства, общепринятые предрассудки, с которыми мы выросли, которые мы повторяем по привычке и к которым привыкаем по повторениям, страшным образом затрудняют нам простое изучение окружающей нас жизни. Желая что-нибудь понять из естественных явлений, мы почти никогда не имеем дела с ними самими, а с какими-то аллегорическими призраками, вызываемыми по их поводу в нашем воображении. Оттого мы почти всегда смотрим на произведения природы, как на фокусы или на колдовство, и, вместо отыскивания причин, законов, связи, мы думаем о фокуснике, который нас обманывает, или о колдуне, который ворожит.

Большая часть людей, занимавшихся изучением природы, знают, что это не так, но сами принимают неверный язык и лепет младенческого развития, — одни, воображая, что они этим делают понятнее науку, так, как дурные няньки, говоря с маленькими детьми, повторяют нарочно детские ошибки и детское произношение; другие из равнодушного неуважения к истине или из жалкой боязни раздражить людей, верующих в исторические предрассудки.

Я намерен говорить с вами, как с совершеннолетними, и думаю, что мне никогда не придётся ни употреблять детский лепет, ни лицемерить. Лучше молчать, если нельзя иначе.

Безнравственно на вопрос о причине какого-нибудь явления отвечать вздором, только для того, чтоб отделаться. А это-то мы и видим сплошь да рядом.

Отчего, спрашиваете вы, зверь глупее человека? Оттого, говорят вам, что у зверя инстинкт, а у человека ум. Неужели этот ответ дельнее того, который бы кто-нибудь сделал на вопрос, — отчего близорукий видит хуже других? — Оттого, что он миоп. Или, ещё лучше, слабые глаза назвал бы одним именем, а сильные глаза другим, и дал бы вам это за объяснение.

Кому не хочется, глядя на природу, заглянуть за её кулисы, в ту мастерскую, из которой беспрерывно идёт, летит, стремится это множество всякой всячины: звёзды, камни, деревья, вы, я... И всякий раз на вопрос ваш о том, как всё это делается, вам от-

вечают шалостью или обманом, чтоб скрыть своё неведение, а иногда, и это ещё хуже, чтоб скрыть своё знание.

Один из обыкновенных приёмов — пугать начинающих такими цифрами лет, милей, что их и произнести нельзя. Сбивши ими с толку, начинают толковать о сотворении мира, прежде, нежели объясняют, что такое мир и как он может быть сотворён; потом заставляют принять на веру три, четыре силы, и всё то для того, чтоб потом с их помощью трудным путём дойти до того, с чего начинается катехизис.

Не лучше было бы начать с первого предмета, попавшегося на глаза, с предмета знакомого, который можно взять в руки, посмотреть? Тем больше, что природа везде одинакова, все её произведения равны перед законом, какого бы роста они ни были, какое бы значение они ни имели — близко ли, далеко ли, в телескоп ли на них смотрят, простыми глазами, или в микроскоп. Капля воды и струйка дыма подлежат тем же общим правилам, как океан и вся атмосфера. Страх перед количеством, длиной и долготой надобно победить с самого начала, а потом и следует начинать с величин соизмерных: то, что мы в них найдём, наверно можно будет приложить ко всем прочим.

В капле нечистой воды зарождается бездна маленьких животных, в междузвёздных пространствах — бездна планет и комет, на сырой стене плесень.

Объяснить образование плесени не легче, чем объяснить образование земного шара. Плесень нас не удивляет только потому, что она не казиста, не велика. А, ведь, было время, что и земной шар был меньше тех животных, которые тысячами вертятся в одной капле воды.

Сделаться большим не так трудно, как начать расти. Вы, верно, слышали о той даме, которая на вопрос — верит ли она, что св. Дионисий прошёл большое пространство без головы, отвечала, что не в этом важность, что он далеко ушёл, но в том, что он сделал первый шаг.

Действительно, в определённых явлениях всё зависит от первого шага, т. е. от начальной встречи необходимых условий; где они соберутся, там и делается первый шаг, и, если ничего не помешает, развитие пойдёт длинным ядром изменений, смотря по обстоятельствам — в комету, в цветок, в плесень. Эти встречи делаются непрерывно, везде, на каждой точке безграничного пространства. Миры возникают непрерывно, так, как плесень и инфузории; они не сделаны, не готовы, а делаются, одни существуют теперь, другие едва образуются, третьи кончают свою жизнь в этой форме.

Мы имеем один факт, не подлежащий, так сказать, нашему суду, факт, втесняющий нам себя, обязывающий себя признать; это факт существования чего-то непроницаемого в пространстве — вещества. Мы можем начинать только от него, он тут, он есть; так ли, иначе ли — всё равно, но отрицать его

нельзя. Пространств без веществ мы не знаем; мы знаем только, что в иных пространствах вещества больше, т. е. что они гуще и плотнее, в других меньше, т. е. что они жиже и пустее.

Где бы вы ни начали изучать вещество, вы непременно дойдёте до таких общих свойств его, до таких законов, которые принадлежат всякому веществу, и из этих законов можете вывести, изменяя условия, что хотите: возникновение миров и их движение, или движение пылинок, которые колеблются и несутся на солнечном луче.

Вот, например, одно из этих общих свойств, самых очевидных и лёгких для наблюдения. Стоит посмотреть на несколько разных веществ, чтоб увидеть, что частицы одного вещества иногда соединяются с частицами другого, одни льнут друг к другу, другие сближаются теснее, как бы просасываясь друг в друга.

Продолжая наблюдение, мы можем изучить, заметить некоторые особенности, сопровождающие тесные соединения частиц. Возьмём, например, стакан воды и стакан спирту, смешаем их так, чтоб ничего не утратилось: мы получим весом сумму веса воды и веса спирта, а объём их будет немного меньше двух стаканов. Новая жидкость сделалась несколько плотнее. Стало быть, есть соединения, при которых разные частицы соединяются теснее и, в силу этого, занимают, соединившись, меньшее пространство.

Я хочу, взяв в основание эти два простейшие явления, показать вам возможность объяснять ими возникновение всего на свете.

Одного только я потребую от вас, того, что требует всякая старушка, рассказывающая сказки, — немного внимания и немного воображения.

Вместо двух стаканов, из которых в одном налит спирт, а в другом вода, вы себе представьте глухую ночь бесконечного пространства, в котором носится разжиженное до чрезвычайности вещество; рассеянные частицы беспрерывно встречаются, соединяются, просасываются друг в друга, снова разлагаются, опять соединяются, — и это повсюду, спокон века и ежеминутно. В бесконечном числе этих соединений должны встретиться и такие, которые удержались и с тем вместе сделались плотнее. Что может выйти из этого? Первое последствие будет нарушение равновесия, в котором около носившиеся частицы держали друг друга в балансе. Окружающие частицы, не встречая прежнего препятствия, стали падать к более плотному соединению, чтобы наполнить изреженное место, от которого вещество долей отступило, сделавшись плотнее.

Зачем? На этот вопрос, совершенно правильный, я буду отвечать фактом. Раздвигаемость частиц и стремление занять наибольшее пространство есть отличительное свойство одного из трёх нам известных состояний вещества, мы его называем воздухом образным.

В обыкновенной жизни мы почти не считаем воздух за вещество. Мы говорим: «стакан пустой», когда в нём нет ничего жидкого и ничего твёрдого, забывая, что он полон воздуха, и в этом нет никакой ошибки, потому что стакан сделан для того, чтоб содержать жидкость. Тем не меньше надобно остерегаться и от тех ложных представлений, которые вносит не книга, а практически-житейское отношение к предметам. Воздух у нас в большом пренебрежении. Вещь улетученную, воздухообразную мы считаем уничтоженной вещью. «Сколько мы истребили дров нынешней зимой!» — говорим мы относительно правильно, ибо дрова, как вещь ценная, как вещь полезная, даже как вещь осязательная, не существуют больше; но не следует забывать, что от сожжённых дров ничего не пропало и не могло пропасть. Нет того снаряда, того пресса, того паровика, того плавильного огня, которым бы можно уничтожить пылинку, носящуюся в воздухе, малейшую скорлупу ореха. Если собрать сажу, дым, уголь, золу и разные воздушные соединения, вы бы увидели с весками в руках, что дрова ваши совершенно целы, а только живут иначе. Дело в том, что всякое самое твёрдое тело (так, как вы это видите на льду), свинец, например, может сначала расплавиться, а потом при известных условиях, сделается воздухообразным, насколько не переставая быть свинцом, и точно так же может из воздухообразного снова перейти в своё твёрдое состояние так, как водяные пары превращаются в лёд. Это нас приводит к одному из величайших законов природы: ничего существующего нельзя уничтожить, а можно только изменить. Но если сегодня нельзя ничего уничтожить, то и вчера нельзя было, и тысячу лет тому назад, и так далее, т. е. что вещество вечно и только по обстоятельствам переходит в разные состояния. Люди, толкующие о преходимости всего вещественного, не знают, что говорят; если льду нет, за то есть вода; если воды нет, за то есть пары; если и их разложить, мы получим два воздухообразные вещества, которые можно на тысячу ладов соединить, но уничтожить ничем нельзя, ни даже человеческим воображением; сделайте опыт представить себе что-нибудь существующее уничтоженным, как же оно примется за то, чтоб не быть?

Сочетания и разложения вещества — по собственному ли развитию или по воле человеческой — могут только переделывать, изменять материал, приводить его в другие соединения и в другие формы, но материалу от этого ни больше, ни меньше, он всё тот же и в том же количестве. Если в одном месте делается что-нибудь гуще, непременно где-нибудь будет жиже. Перед вами фунт говядины, вы её съедаете и становитесь фунтом тяжелее, а через час или два — несколько легче, но разница не пропала; говядина, превратившись в кровь, потеряла разные водяные и воздушные частицы, оставившие ваше тело испарением, дыханием. Эти освобождённые частицы поплы каждая

своей дорогой: одни были всосаны растениями, другие соединились с землёй, рассеялись в воздухе.

Но если всё, что делается в природе, — только перемена вечного, готового материала, то вы, несколько подумавши, ясно увидите, что также нельзя в природе ничего вновь сделать, ничего прибавить, ничего создать. Можно пары охладить в воду, воду заморозить в лёд, но водяных паров нельзя составить, если нет их составных частей; с чего же начать?

Мы остановились на том, что частицы вещества, окружавшие более плотное соединение, устремились к нему. При этом движении они должны были увлекать с собой слой за слоем и, следовательно, быть причиной нового колебания, продолжающегося до тех пор, пока движение слоёв не потеряется в пространстве и не придёт в равновесие.

Наши соединившиеся частички в этом колебании уже играют роль средоточия, зерна; стремящиеся на них воздуха (газы) наносят им новые соединяющиеся частицы, движение от этого становится больше и больше. Вы знаете, что ветер — не что иное, как перемещение слоёв воздуха, тёплых и холодных, сухих и наполненных парами, продолжающееся до тех пор, пока слои придут в равновесие. Мы можем поэтому представить себе, как мало-помалу возрастали вьюги и вихри, колебавшиеся в воздушном растворе, без всякой рамы, на просторе бесконечного пространства, около сгущённого средоточия.

Если средоточие выдержит напор, не потеряв своей особенности, не распутившись в пространстве, не прильнув само к другому, то оно с волнующимся около него воздухом или туманом представится нам особенной областью, вымежёвывавшейся от окружающего пространства своим движением около ядра. Если же оно вступит в другие соединения, вовлечётся в другое движение, что вероятно повторялось миллионы и миллионы раз, тогда оставим его своей судьбе и займёмся тем другим средоточием, в котором развитие продолжается. В той ли воздушной области или в другой идёт операция, мы не можем иначе себе представить её форму, как шарообразной, потому что нет никакой причины частицам простира́ться больше или меньше в одну сторону, нежели в другую. А простира́ться ровным образом во все стороны от одного средоточия, — значит быть шарообразным.

Но отчего же развилась та область или другая, почему тут образовалось более плотное соединение, а не там?.. Это один из самых пустых вопросов, но так как его повторяют довольно часто, то надобно было о нём упомянуть. Естественные науки не дают никакого ответа на подобные вопросы, потому что им нечего сказать. В бесконечном пространстве нет местничества; там, где случились необходимые условия, и именно в то время, когда они встречались, там и начало, там и продолжение; случись оно в другом месте, в другое время, оно было бы там, а не тут; может, было бы в обоих местах. Ну что же из этого?

Природа представляет нам факт, наше дело его изучать, приводить к сознанию, раскрывать его законы. Ну, а если б у неё были другие законы, тогда, вероятно, и нас бы не было, а было бы что-нибудь совсем другое... где тут предел?.. Мы изучаем те факты, которые существуют, и смиренно принимаем их, как они есть.

Говоря о возникновении миров, например, само собою разумеется, мы говорим о тех мирах, которые возникли, и об общем законе возникновения... миры могли и могут возникать на всякой точке, но не на всякой точке нашлись условия, для них необходимые. На иных могут быть условия, годные для начала, но которые не в силах поддержать развитие. Мы их не знаем, да если б и знали, их следовало бы оставить. Описывая животных, мы не останавливаемся на неудавшихся зародышах или на уродливых недоросках.

Естественные науки занимаются только фактами и их изучением, не допуская фантастического созерцания возможностей. Почём мы знаем, что теперь делается в мрачных и холодных пространствах между звёзд, какие образуются там новые миры и подрастают на замену солнечной системы или какой другой?.. Во всём этом нам не на что опереться, кроме на наведение, оно действительно подтверждает, что должно быть это так; тем и оканчивается весь научный интерес, и дальнейшее переходит в область мечтаний.

Нас ожидают вопросы больше существенные в жизнеописании нашей воздушной области. Будучи гуще внутри, она должна была сложиться в последовательное наложение. Лёгкие слои всплыли наверх, потяжеле повисли в середине, самые тяжёлые потонули к средоточию. Пока всё не пришло в равновесие, в шаре делалось то, что делается, когда кипятят воду: подогретая вода подымается, в то время как холодная низвергается на дно. Противоположные потоки должны были стремиться одни лучеобразно от центра ко всем точкам поверхности, другие — от всех точек поверхности к центру, но по мере того, как все частицы повисли бы на своём месте, они успокоились бы, и общее движение мало-помалу должно остановиться, а с ним замереть и дальнейшее развитие. Этот покой действительно и настанет в кипятке, если воду не будут подогревать. Но где её очаг, который бы подогревал наш воздушный шар?

Переходим опять к ежедневным, домашним опытам; возьмите кусок холодного железа, положите его на холодную наковальню и начните его бить холодным молотом; оно сначала делается тёплым, потом горячим — где очаг? Если в металлической трубке с одним отверстием подвижной пробкой, туго входящей, быстро сжать воздух, то-тут, прикреплённый на дне трубки, загорается. Кто его зажжёт? Дело состоит в том, что тела, сжимаемая, становятся теплее. А, ведь, две первые частицы, соединившись, заняли меньше пространства — сжались,

стало быть, они сделались теплее. Притечение новых частиц и их соединение развивало больше и больше тепла в ядре, отсюда движение частиц, отдаляющихся от центра и притекающих к нему, должно было становиться сильнее и сильнее, температура центральной части выше и выше.

Идём далее... Имеем ли мы какое-нибудь право себе представить, что та данная воздушная «капля», при развитии которой мы присутствуем, одна и есть во всей вселенной. Если б это было так, то, стало быть, было когда-нибудь время, в которое ничего не было, т. е. в которое нельзя было возникнуть чему-нибудь, т. е. что вещество и законы его были не те, которые теперь, чего мы допустить не можем; совсем напротив, потому что эта область могла развиться, стало быть, и другие миры должны были развиваться прежде неё. Если же это так... то наша сфера где-нибудь, как-нибудь встретится с другими.

Какое же будет их взаимодействие? Верхние слои, самые изреженные по свойству воздухообразного состояния, проникнут друг в друга, могут смешаться, если не будут удерживаемы потоками частиц, летящих или низвергающихся к средоточию. Мы не имеем причины предполагать обе сферы одинакового объёма, одинаковой плотности — это может быть, но это один из случаев; гораздо легче себе представить, что одна сфера больше другой, и тогда меньшая будет постоянно склоняться к большой. Если частицы, стремящиеся к зерну меньшей сферы, не в состоянии противодействовать удаляющимся от него, то она упадёт на большую, распустится в нём, станет двигаться как один из его слоёв или как одна из его частных областей.

Но если движение частиц к средоточию достаточно, чтоб противодействовать падению, но недостаточно, чтоб совсем пересилить стремление частиц к средоточию большой сферы, тогда, повинуясь двум движениям, шар наш будет кружиться около центра большой сферы, постоянно готовый сорваться с пути или упасть к его центру. И то, и другое может случиться, но нам для нашей цели следует взять такое отношение сфер, в котором они уравниваются на постоянном движении одной около другой.

Но все частицы вещества, составляющего воздушный шар, несущийся около средоточия, вне его находящегося, одинаково ринуты в движение. Слои ближе к его зерну вертятся медленнее, у самого центра всё покойно, быстрота, разумеется, возрастает с удалением от него и всего больше на поверхности. Простой опыт мячика, привязанного на бечёвке, который вы станете кружить, даёт наглядное представление.

Сверх того, и на самой поверхности не все точки двигаются с равной скоростью, потому что не все подвергаются одинаковой близости к большой сфере, около которой движется меньшая. Наибольшее движение будет на том поясе, который всего ближе к большой сфере, туда и будет притекать наибольшее частиц.

В силу этого разного движения, мы можем определить такую линию, около которой шар будет обращаться, как около своей оси.

С своей стороны, постоянное притечение частичек к поясу наибольшего движения должно изменить шарообразную форму, — она сплюснется у полюсов, т. е. у концов оси, и увеличится у пояса, ближайшего к внешнему средоточию.

Но чем далее частицы от зерна, тем слабее их связь с ним, а так как и движение там всего сильнее, то под его влиянием пояс может, наконец, сорваться или, лучше, расчлениться с общей массой, продолжая увлекаться её движением, уже не как её слоем, а в виде обруча. За ним может отделиться другой, третий и т. д., тогда плотность всей сферы делается, так сказать, полосатой в отношении к густоте гораздо изреженнейшей между обручами, гораздо плотнейшей в них самих.

При крутом и стремительном движении обручей, они сами могут разорваться, и тогда, — одна часть дуги отставая, а другая напирая на неё, — они могут собраться, сжаться в один или несколько комков, обращающихся около общего центра своей сферы и увлекаемых с нею около средоточия большой сферы; в каждом расчленившемся обруче или кольце снова повторяются те же явления.

При этих отделениях обручей, при их распадениях на шары должны были остаться свободные частицы, уносимые общим потоком, и которые, в свою очередь, льнут к тем или другим шарам, больше и больше сгущая их. Самое образование обручей было сгущением, но сгущаться значит разогреваться; чем больше накаливались частные центры, тем сильнее стремились от них частицы, поднимаясь к окружности. Таким образом, зерно, вместо того, чтоб делаться плотнее и плотнее, становилось всё жиже и жиже, истощаясь своим лучезарным рассеянием частиц.

Такое средоточие — наше солнце; его расчленившиеся обручи — планеты нашей системы, их отделившиеся обручи в свою очередь составили их спутников, как луна, или остались обручами, как кольца Сатурна.

Вся солнечная система имеет своё общее движение около одного из своих созвездий. Представляет ли это созвездие общее средоточие, или само обращается около чего-нибудь? Наверно последнее. Мы слишком бедны, чтоб доказать это опытом, наши периоды наблюдений слишком ограничены и слишком малы, но нелепость средоточия чего-нибудь бесконечного так же очевидна, как означение года, делящего на две равные эпохи вечность. Общего средоточия движения не может быть, оно не в духе природы... Всё носится друг около друга; одни центры исчезли, послуживши причиной движения; другие возникают, приставая к той или другой системе, или перетягивая к себе.

Так это и наша солнечная система когда-нибудь перестанет

существовать? — Непременно. Одна из причин бросается в глаза, — это постоянное истощение солнца; оно уже и теперь не может производить новых планет, обручи не отделяются от него, но оно продолжает на огромное пространство до Сатурна греть и светить, не получая топлива снаружи; силы солнца также сочтены, придёт время, когда воздушный очаг потухнет.

Что касается до возникновения новых небесных тел, мы можем следить за образованием и ростом плотной части туманных пятен и комет так, как можем изучать по обитателям Новой Зеландии начала стадной жизни людской.

На этом мы остановимся. Мне хотелось в этом опыте только показать, как из лёгкого химического опыта и из самых элементарных понятий механики и физики, что тела, сжимаясь, нагреваются, что воздухообразные частицы стремятся занимать больше пространства; что есть такие соединения веществ, при которых соединённое тело становится плотнее соединяемых, — есть возможность объяснить всемирные явления, не вводя никаких фокусов, никаких спрятанных колдунов, не отводя глаз. Цель моя будет совершенно достигнута, если мой опыт возбудит умственную деятельность и желание ближе узнать то, что едва обозначено в нём. Одного желал бы я безмерно, чтоб вы заметили коренную разницу этого приёма с обыкновенным риторико-теологическим.

В этом сжатом очерке я старался до того сберечь чистоту вашего воображения, что не употреблял, как ни было мне это трудно, таких слов, как притяжение, тяготение, центробежная и центростремительная сила, которыми для краткости выражают общие причины всех явлений, вследствие которых частицы соединяются, влекутся к другим, кружатся и проч. Я боялся их употреблять и предпочёл передавать факты, не означая их именем, потому что незнакомые названия с условным собирательным смыслом заменяют очень часто объяснение, останавливают вопросы; произнося слово, нам кажется, что мы знаем его смысл, что мы определяем самую причину, в то время, как мы только её называем.

Мы смеемся с Мольером над шутком, который объясняет свойство ревения тем, что он имеет слабительную силу, и в то же время довольствуемся тем, что частицы вещества соединяются вследствие силы сцепления.

А что такое сила сцепления? Опять колдовство, только в другой форме, переведённое с мистического языка на язык науки, переодетое из монашеской рясы в докторскую мантию.

Слова эти необходимы, но необходимы как знаки; это стропилы, вехи по дороге к истине, а не сама истина «взаправду», как говорят дети.

Явления, ожидающие нас, если мы будем продолжать наши беседы, становятся определённые и вводят нас в сферы больше живые. Мы видели, что с сжатием является теплота, с теплотой

свет, при их посредстве рассеянные частицы вещества обнаруживают больше и больше действий друг на друга (химизм), с теплотой и химизмом неразлучно электричество, а тут является и кристаллизация, и органическая клетчатка, а с ними всё животное царство и человек.

РАЗГОВОРЫ С ДЕТЬМИ ⁶⁵⁾

I

ПУСТЫЕ СТРАХИ — ВЫМЫСЛЫ

Желание узнать причины, как что делается возле нас, совершенно естественно человеку в каждый возраст. Это всякий испытал на себе. Кому не приходило в голову в ребячестве, отчего дождь идёт, отчего трава растёт, отчего иногда месяц бывает полный, а иногда видна одна закраинка его, отчего рыба в воде может жить, а кошка не может?.. Людям так свойственно добираться до причины всего, что делается около них, что они лучше любят выдумывать вздорную причину, когда настоящей не знают, чем оставить её в покое и не заниматься ею.

Такого любопытства знать, что и как делается, звери не имеют. Зверь бежит по полю, ест, коли что попадается по вкусу, но никогда не подумает, почему он бежит и отчего он может бегать, откуда взялся съестной припас, который он ест. А люди всем этим заботятся.

Посмотрите, что из этого выходит. Чем больше вещей человек знает и чем короче, подробнее он их знает, тем больше у него власти над ними. Звери с их умом несовершенным и маленькие дети с их незнанием, — всего слабее и беспомощнее. Не думайте, что дети только потому слабы, что они малы: слон при всём своём росте сделает не больше ребёнка во всех тех случаях, где нельзя взять ни массой, ни мышцами.

Когда человек хочет что-нибудь сделать, он прежде должен знать свойство вещей, из которых ему приходится что-нибудь сделать. Вещи сами по себе очень послушны, но слушаются они человека и настолько исполняют его волю, насколько он умеет приказывать им, т. е. насколько он их знает.

Вещи не в самом деле слушаются человека или противодействуют ему. Это так говорится для краткости; вещам до человека дела нет, они очень равнодушны к своей судьбе и продолжают существовать — рудой, слитком, червонцем, кольцом на пальце, как случится, у них нет ни цели, ни намерения, ни воли. Река течёт, — течёт потому, что земля поката, а не потому, что ей хочется течь. Человек ставит плотину, — так как воде всё равно, то она перестаёт течь и накапливается. Насколько человек знает силу воды, силу плотины, высоту берегов и другие условия, настолько он может заставлять воду, делая своё дело, — исполнять его волю: вертеть колёса, пилить брёвна, орошать луга,

поднимать барки. Из этого вы уж видите, что мы настолько умеем управлять природой или вещами, нас окружающими, — насколько их знаем, направляя одни против других или соединяя их по их свойствам.

Вы хотите отрезать сучок от дерева и сделать из него трость. Вы берёте нож, т. е. кусок железа, таким образом сплавленный, выкованный, отточенный, что одна сторона его остра, и начинаете отрезывать, зная, что растительные волокна не могут удержаться против железа.

Таким точно образом человек поступает и в самых сложных своих делах, в хлебопашестве и других работах.

Совсем напротив, чего мы не знаем, то не только не в нашей воле, но скорее мы в его воле, оно нас теснит. Люди по большей части боятся того, чего не знают, потому что от него трудно защищаться.

Вот тут-то и случается, что люди лучше выдумывают ложную, мнимую причину, чем остаются в безоружном неведении. Принимая ложную причину за знание, за понимание, веря ей, они обманывают себя и думают, что овладели страшным явлением.

Возьмёмте для примера грозу и посмотрим, в каком отношении к грозе находились люди в младенческом состоянии и в какое перешли в более образованном.

Люди были поражены блеском молнии, раскатом грома, они видели зажжённые деревья, убитый скот, убитых людей, и потом снова прежнюю тишину, тучи проходили, небо разъяснялось. Вместо того, чтоб добираться до причины, слышать, обдумывать, они вот как рассуждали: «Мы слышали треск и гром, стало быть, кто-нибудь гремит», и они стали искать (тут-то вся ошибка), не что гремит, а виноватого. Гремит наверху, молния падает сверху, стало быть, громовержец живёт наверху. Чёрные тучи, мрачное небо показывают, что он сердится; на кого? Конечно, всего больше на тех, кого убивает.

Что же делать и как умиловить этого свирепого громовержца? Унижением, бросаясь на колени, моля о пощаде. Так люди делали тысячелетия и им в голову не приходило, что громовержец бьёт бессмысленно, скалы и деревья, которые не могут быть виноватыми, баранов и волов, мирно пасущихся, и из людей убивает не худших, а так — кто попадётся; это объясняли тем, что громовержец делает это для острастки, чтобы виновные трепетали, а прочие знали бы его мощь. И эдакого-то бессмысленного и безжалостного чудака хотят умолить красными словами, поклонами и взятками. А всё это делается только для того, чтоб заглушить страх перед неизвестной опасностью.

Помните вы греческое вероисповедание, — у них на всё был свой Бука или своя Баба-яга, для моря и огня, для неба и земли. И серьёзные, взрослые люди, полководцы, купцы, отправляясь в море, — ходили перетолковать об этом с медной куклой, делали ей обещание принести в жертву кур и телят, повесить в её хrame

своё платье, если кукла пошлёт хорошую погоду во время плаванья.

Мы смеемся над их морским богом, развезжающим в раковине на четвёрке дельфинов, с трезубцем в руке, так, как вы смееетесь над куклами, с которыми вы, бывало, разговаривали как с живыми, укладывали их спать, давали им лекарства, — ведь вам и тогда чувствовалось, что они не живые, да хотелось верить, вы и верили. Но мало-помалу ваш ум крепнул и по мере того, как он стал брать верх над детским воображением, вам меньше и меньше казалось вероятным, что кукла больна или спит. Так жили целые народы — до тех пор, пока знание природы не победило их мечтание об ней.

Когда люди приобрели больше опытности и сведений о природе, они пошли и в деле грома и молнии иным путём; вместо того, чтоб спрашивать, кто гремит, стали наблюдать, что гремит, и мало-помалу, сличая разные явления, доискались до причины; а найдя её, стали обороняться от неё, уже не молитвами и коленопреклонением, не курами и свечами, принесёнными на жертву, а снарядами, называемыми громоотводами.

Точно так действует знание во всех других вещах и предметах: везде освобождает оно нас от страха, а где не может освободиться от зависимости, — там учит нас избегать вредных действий.

Прежде, чем мы пойдём дальше, я вам расскажу, как в детстве я сам освободил себя от одного из пустых страхов. У меня, по правде сказать, их было немного, — однакож не был и я совсем свободен от них. Нянюшки натолковали и мне о всяких чудесах, о том, как домовой приходит по ночам в конюшню и ездит верхом на лошадях, и как кучер против этого в стойле держит козла. Лет двенадцати я стал с ними спорить и, разумеется, разубедить их не мог.

Бедные люди эти обречены на тёмную жизнь неведения и тяжкую работу, им недосуг учиться, недосуг думать, их досугом пользуемся мы; и если свет до них не доходит, то мы не должны забывать, что мы им застим его. А осуждать их — большое преступление; к тому же гораздо удивительнее, что люди учёные и образованные рассуждают иной раз не лучше их и что большая часть их верит в такого или другого домового и имеет в конюшне или дома своего козла против него.

Мне было лет двенадцать, жили мы летом в деревне⁶⁶). За нашим домом был овраг, заросший сосняком и ельником; овраг этот шёл, огибая поля, к двум-трьм курганам, тоже покрытым большим сосновым лесом. Курганы эти, вероятно, были насыпаны над могилами павших воинов в древние времена.

Там раза два отрывали совсем перержавевшие доспехи, в преданиях у крестьян осталось тёмное воспоминание какого-то сражения. Курганы эти они звали «проклятыми». Неохотно ходили туда ночью мужики; про женщин и говорить нечего, ни одна, ни

за что на свете, не пошла бы туда после сумерек — не оттого, чтоб они боялись волков, это было бы естественно, а оттого, что боялись каких-то духов.

Дворовые люди, разумеется, не меньше их верили в эти чудеса. Я спорил с ними, смеялся над их трусостью.

— Да вы, вместо того, чтоб говорить, сказал мне один из них, сами бы ночью сходили.

— Я охотно пойду.

— Когда?

— Сегодня, когда у нас все улягутся...

— А как же знать, до которых мест вы дойдёте?

— У большой сосны, возле первого кургана, лежит лошадиный череп.

— Помню.

— Ну, так я принесу его.

Пространство, которое мне приходилось пройти, вряд было ли всего больше полутора или двух вёрст, из которых половина шла полем. Пока было видно освещённое окно нашего дома и я не покидал тропинки, я шёл себе спокойно, попевая песни для большей храбрости, но когда взошёл в лес, мне тоже стало очень страшно. Чего мне было страшно, не знаю; но сердце билось, и ноги так неверно ступали, когда я цеплялся за сучья, что в ту же пору хоть бы и воротиться. Но я переломил свой страх, дошёл до черепа, взял его на палку и побежал домой.

Человек наш хотя и похвалил меня, но всё же не убедился, а говорил мне, что «иногда и ничего не бывает, а иногда и бывает».

На другую, на третью ночь я уже ходил туда без всякого постороннего повода, и сердце билось меньше и меньше, и я уже не пугался, зацепляясь за хвойные ветви. Вот так проходят пустые страхи.

Но чего же собственно наши люди и крестьяне боятся на курганах? Того, чего люди обыкновенно боятся в присутствии мёртвого тела, на кладбище. Они боятся, что покойник не в самом деле умер, а он раздвоился как-то — тело само по себе, а жизнь этого тела сама по себе. Этого-то люди и боятся, по инстинкту понимая, что в этом есть что-то нелепое. А то чего же бы боятся? Люди сами хотят жить после смерти, скорбят и оплакивают, когда кто-нибудь умрёт, стало быть, следовало бы радоваться, что духи усопших уцелели и являются к нам!

Дух без тела страшен невообразимой нелепостью своей; до того страшен, что человек обыкновенно придумывает ему или чудовищное тело, или неестественно красивое.

Вы, верно, видели изображение длинных, исхудалых, завернутых в белые саваны мертвецов, с дырами вместо глаз. Видали вы, верно, также и маленькие кудрявые головки, нарисованные без туловища с двумя-четырьмя крылышками, прикреплёнными к задней стороне нижней челюсти или к первому шейному позвонку. Само собою разумеется, что ни скелет в холстине, ни голова без груди, необходимой для дыхания, и без живота, необходи-

мого для пищеварения, не только не могут понимать и говорить, но просто не могут жить. Несмотря на то, людям легче воображать эти нелепости, чем живой дух, т. е., живой воздух, газообразную личность, без всяких жидких и густых частей. Это до такой степени нелепо, что человек отпращивает от бестелесного духа к уродливым вымыслам.

На это, пожалуй, вам скажут, что духи могут иметь воздушное или эфирное тело, незримое нашими глазами, тонкое, лёгкое и прозрачное.

На земной планете таких нет, а если б они где-нибудь и были, то с умершими людьми они ничего общего не имеют. К тому же не думайте, что в самом деле прозрачность и воздушность — что-нибудь высшее. Если б человек мог сделаться жиже и, наконец, совсем прозрачным, он от этого стал бы только хуже. Хорошая кровь густа и хороший мозг густ, хорошие мускулы упруги, воздушные мускулы не могли бы служить; газовым мозгом нельзя было бы думать.

Невидимых для простого глаза животных бездна, все наливчатые животные; но они, хотя и малы, не состоят же из одного воздуха или из одной жидкости; у них есть свои оболочки, очень тонкие, но которые оставляют после себя извёстку или мел. Их прозрачность сопряжена с самой бедной степенью жизни; для того, чтоб жизнь мухи или осы была возможна, телу животному надобно было очень много погустеть, потерять своей прозрачности и местами окрепнуть, как крылья жука или ноги кузнечика.

Тело всякого животного — червя, слона, человека — делается из окружающих припасов едой и дыханием. На это ему нужны части твёрдые, жидкие и воздухообразные. Пока они вместе работают и ни одна не берёт верха — жизнь продолжается. Если у животного отнять твёрдые оболочки его, то кровь и всякая жидкость, обращающаяся в его сосудах, прольётся, газы, в ней заключающиеся, испарятся, рассеются, твёрдые части выветрятся, засохнут, сделаются чернозёмом, известковой землёй.

Общее дело (жизнь) твёрдых, жидких и воздухообразных веществ, пока они продолжают пищеварение, нельзя отделить от этих частей (т. е. от тела); так как нельзя линию — границу двух площадей — отделить от площадей не на чертеже, а в самом деле.

Объяснить это общее дело, задерживающее в известном виде и в известной деятельности части тела, — задача трудная; но путь к её разрешению очевиден — физиология и химия.

Неполное знание не даёт права на произвольные предположения. Мы сейчас видели, до каких нелепостей люди доходили в своём объяснении грома; повторять такие ошибки непростительно.

Вымыслы не только отдаляют понимание, но забывают самую возможность правильно поставить вопрос; в манере спрашивать видно, что сделанный вопрос вперёд решён.

Так, вопрос: может ли душа существовать без тела? заключает в себе целое нелепое рассуждение, предпос-

ствовавшее ему и основанное на том, что душа и тело две разные вещи. Что сказали бы вы человеку, который бы вас спросил: может ли чёрная кошка выйти из комнаты, а чёрный цвет остаться? Вы его сочли бы за сумасшедшего, — а оба вопроса совершенно одинакие. Само собою разумеется, тот, кто может себе представить чёрный цвет, оставленный кошкой, или ласточку, которая летает без крыльев и лёгких, тому легко представить себе душу без тела, такое целое, которого части уничтожены... А затем, почему ему и не бояться на кладбище или на кургане встречи с давноумершими, ходящими без мускулов, одними костями, говорящими без языка.

Есть люди, которые без малейшего основания говорят, что души умерших отправляются на другие планеты; это понять не легко.

Как же это они поднимаются в океане кислорода и селитророда, не окислившись в нём или не соединяясь с водородом, углеродом? Но душа не имеет химических свойств. Какие же? Физические? — нет. А двигается?

Предмет, не имеющий ни физических, ни химических свойств, без формы, без качества и количества, мы называем несуществующим, т. е. — ничем.

Тут прибегают обыкновенно к сравнению с электрической искрой; но электрическая искра очень богата физическими и химическими свойствами; несмотря на то, в ней нельзя предположить сознания, а, ведь, это — главное, чего хотят в душе, отрешённой от тела. Чтоб сознавать себя, нельзя быть ни твёрдым, как камень, ни жидким, как вода, ни изреженным, как воздух, — надобно быть студеном или кашей, как мозг.

На первый случай, я думаю, есть о чём вам подумать и поговорить с вашими товарищами и учителями, если только они не боятся домового и не держат козла.

ПИСЬМА К БУДУЩЕМУ ДРУГУ⁶⁷⁾

... автор решился писать к будущему другу, желая от всей души, чтоб он сохранил своё доброе здоровье до первой встречи с ним, вперёд радуясь приятному будущему знакомству.

Письмо второе

Отлегло немного на сердце... я опять к вам... Ну, надевайте-ка охотничьи сапоги с высокими голенищами и пойдём месить грязь и продираться разными чапыгами родных болот и сечей...

...какой-нибудь литературный охотник «Записок»*) ставит почтенного автора «Записок охотника»**) наряду с моей внучатной бабушкой, Фаеной Егоровной...

*) Журнал «Отечественные записки». (М. III.)

**) И. С. Тургенева. (М. III.)

Фаена Егоровна поехала в Орловскую деревню и занялась не только духовным хозяйством, но и сельским. Она иногда, года через два-три, наезжала в Москву; всё это принадлежит к тем временам, когда гражданин Бушо преподавал мне сюбжонктивы*) и французскую революцию, а гражданин Московского университета — «Думы» Рылеева и арифметику**).

Приезжает таким образом однажды Фаена Егоровна сперва в Москву, потом в наш дом. Вышла она зачем-то в девичью и видит, что пожилая горничная учит грамоте какую-то девочку. — «Мать, пресвятая богородица», — заговорила, остановившись в дверях, Фаена Егоровна, «это что?» с какой это стати и к чему девочке знать грамоте? в полном ли уме барин-то ваш? Где ты-то сама, бесстыдница, забралась в книжку читать? Ведь я тебя помню, когда ты босиком бегала, и мать твою курносую дуру помню», — и рассерженная старуха, с некоторой горестью и участием к девочке, говорила моему отцу: «Нехорошо, мой друг, нехорошо (слово несвойственно не употреблялось в те патриархальные времена), к чему, подумай, она выучится читать — раба... служить надобно, поконить господ... а тут то ли на уме... песни гадкие прочтёт... Чего доброго, выучится читать, выучится писать и напишет любовную цыдулку».

По странному стечению географических случайностей, в то время как орловская помещица проповедывала этот путятинский***) взгляд на народное образование, в той же Орловской губернии беззаботно бегало в своём саду, в красненькой рубашечке, подпоясанной торжковским пояском, двух-трёхлетнее дитя**), о котором, вот что пишут в четвероместной книжке «Отечеств. записок»:

«Г. Тургенев, желая выразить, до какой уродливости может доходить эмансипация девушки, вывел в своём романе «Отцы и дети» некую Кукшину, занятую в Гейдельберге эмбриологией⁷⁰). Он думал, что этим поразит на голову несвойственные женщинам занятия. И однакож, он решительно не достиг цели, сколько можем судить по существующим и процветающим у нас Кукшиным. Спрашивается, отчего, казалось бы, удар, направленный так верно, не удался. Предполагаемая ложь осталась живущей в обществе, и нам случилось читать один рукописный рассказ, где именно, наперекор г. Тургеневу, молодая девушка, беседуя в самом интимном *tête à tête****), рассказывает своему милому целый курс эмбриологии. Повесть именно написана для доказательства, что ни чувство девической скромности, ни та стыдливость, которая выработана двухтысячелетнею христианскою цивилизацией, нисколько не шокируется подобным разговором, подобным

*) Subjonctif — сослагательное наклонение во французской грамматике. (М. III.)

**) И. С. Тургенев, родившийся в с. Спасское-Лутовиново Орловской губернии. (М. III.)

***) Один на один. (М. III.)

занятием. «Всё это доказывает только, что г. Тургенев слишком вскользь коснулся того влияния, которое требовало более всесторонней разработки, которое проявляется не в одних безобразных Кукшиных».

Не смею сомневаться в словах учёного критика, но признаюсь откровенно, он не убедил меня. Я читал всё, что писал Тургенев — очень умный человек, у него бездна образования, такта и вкуса. Как же я поверю, что он «думал Кукшиной поразить на голову несвойственные занятия женщинам», понимая под ним физиологию? Не верю, да и только. Лицо Кукшиной вообще неудачно и пошло... Тургенев слаб и даже плох там, где он, насылая свой талант, пишет на заданную политическую и полемическую тему; он впадает в шарж, и Кукшина — так же не тип, а карикатура, как князь Луповицкий К. Аксакова. Особенного вреда в этих паясничествах нет; назначаемые для потехи известного райка, намалёванные яркими красками, иногда избалованной кистью зазнавшегося мастера, иногда памфлетистом для того, чтоб приударить противников, они не имеют серьёзного значения, и тем паче такого громадного значения, как г. критик приписал Тургеневу. Ведь не у Тургенева размягчился мозг в Париже, чтоб можно было думать, что он поддерживает мнение Фаены Егоровны об исключении женщин из науки, и о том, что плохим фарсом «он на голову пробил» вопрос, стоящий теперь на первом плане в Европе и Северной Америке.

Что женщина, занимающаяся эмбриологией, может быть очень смешна и очень противна — это правда; но и то правда, что в комедиях Островского вы найдёте женщин ещё смешнее и ещё противнее, никогда не занимавшихся теоретической эмбриологией. Стало быть, если за это кого-нибудь надобно казнить, то не теоретическую и не практическую эмбриологию, а женщин вообще.

Запретить их как-нибудь на французский манер, конечно, можно, и дело пойдёт как по маслу:

§ 1. Женский пол отменяется.

§ 2. Род человеческий разделяется по образу кавалерии на два мужских пола:

а) тяжёлый мужской пол,

б) лёгкий мужской пол (прежде бывший женский).

Тогда у женщины не отнимется возможность из матери-самки перебраться, хоть через Кукшину, но всё-таки к человеческому значению; тогда не будут им запрещать учиться вообще или дозволять учить только до такой-то главы, как в старые годы гувернантки особенно назначали барышням те страницы, которых читать ненадобно.

Говорить о несвойственности эмбриологии для того и другого пола, — безумно. Можно заниматься эмбриологией с чистотой девы и читать библию, как Фоблаза. Грязен не предмет, грязен человек и, разумеется, всего грязнее монах, боящийся чего-то развратного во всём телесном.

Не знаю, приводилось ли слышать издателям «Отечеств. записок» о том, что лет двести тому назад жил один еврей... по прозванию Борух Спиноза. Оттого ли, что ему, как еврею, недоставало стыдливости, выработанной «двухтысячелетней христианской цивилизацией», или оттого, что он не родился в Орловской губернии, но только он тогда ещё проповедывал, что природа вообще не нравственна, и не безнравственна и что, следовательно, её знание само по себе не может быть ни целомудренно, ни похабно, а целомудрие и похабство вносится лицом, в том роде, как в простонародном поверии человек в желтухе, пристально смотря на рыбу, передаёт ей жёлчь. Ту же нехристианскую мысль имел и христианин Шекспир, говоривший, что человек придаёт предмету его высоко-эстетическое значение или грязно-гадкое...

Простое отношение к природе, к её наивной наготе, к её святой, чистой наготе никогда не загрязнит ничьего воображения.

Не эмбриология несвойственна, а болезненная, натянутая цивилизация, вгоняющая равно всё страстное и светлое, всякое естественное чувство и здоровое отношение внутрь, несвойственна больше человеку. Она так исказила воображение, что всё естественное приводит его в краску при свидетелях; она его, сверх того, привела к тому ряду тайных и постных грехов, в которых страсть нераздельна с преступлением, ложью и двуличием...

Всё это, кажется, ясно и можно бы кончить. Но тут по дороге является вот такая дилемма. Если женщине несвойственно заниматься и акушерством, или все повивальные бабки и акушерки должны быть поставлены («au ban de la société»*), как палачи, сыщики, шпионы, люди, сгубленные в общественном мнении в пользу общественной нужды. А между тем, я, не находящий ничего несвойственного для женщины заниматься эмбриологией, совершенно разделяю отвращение русской женщины от акушера. Надобно и тут было неспровержение всех понятий, чтобы в стране, в которой слово shocking**) гораздо выше поставлено, чем слово «безнравственно», чтоб там приучить женщину родить, и родить в первый раз на руках у какого-нибудь атлета 30 лет с пробормом сзади и спереди. На Западе, благодаря католико-пуританскому воспитанию, это сделалось необходимостью; повивальных бабок, акушеров, сколько-нибудь смыслящих дело, нет, нет почти нигде; тут, стало, и выбора нет. Америка первая восстала против этого. В России при университетах, при воспитательных домах образовались и образуются повивальные бабки; что же, не закрыть ли во имя Кукшиной все эти школы по несвойственности эмбриологии с целомудрием и двухтысячелетней стыдливостью?..

*) Вне общества. (М. III.)

**) Неприлично. (М. III.)

В заключение расскажу вам один случай, бывший на моих глазах. Один мальчик лет тринадцати занимался у одного из моих друзей сравнительной анатомией. Естественно, в молодом человеке явилась, под влиянием обычных намёков и укрываний, рыаность узнать всё, относящееся до тайны зачатия, беременности и пр...

— Погодите, — сказал мне натуралист, — я вылечу молодого человека. — Так ты, друг мой, очень интересуешься рождением детей, беременностью? Что же, дело похвальное, брось пока остальные занятия, мы займёмся исключительно эмбриологией и начнём с самых простых животных.

Натуралист этот — известный Карл Фогт, молодой человек — мой сын. Как он его выдержал месяца два-три на разных препарациях, да потребовал, сверх препарации, знания до мелочей всех органов, частей, с звёздчатых начиная, — как рукой снял шаловливый интерес.

Конечно, жаль, что Карл Фогт не догадался сказать мальчику, что это несвойственно с его двухтысячелетним воспитанием в христианскую стыдливость... Я ему напишу завтра об этом для руководства. А теперь прощайте.

28 февраля 1864.





РАЗДЕЛ III

ЗАМЕТКИ, ПАМФЛЕТЫ, ФЕЛЬЕТОНЫ ИЗ «КОЛОКОЛА»

Пояснения к 3-му разделу

В третьем разделе помещены высказывания Герцена на страницах газеты «Колокол» о руководителях и деятелях русского просвещения. Здесь даны памфлеты на министров просвещения (Норова, Путятина, Головнина, Толстого), чиновников министерства (Муханова, Делянова и др.), местных администраторов, усердствующих в борьбе с просвещением (попечители учебных округов, директора гимназий и др.). Герцен бичует реакционную политику царизма в области просвещения.

Ведя через свои «вольные», запрещённые в России издания ожесточённую борьбу с реакционерами и мракобесами, Герцен со страниц своего «Колокола» брал под защиту учащихся и воспитанников русских учебных заведений, принадлежащих к низшим, демократическим слоям населения. Проповедуя гуманное отношение к детям, он клеймит позором тех, кто травит, гнетёт, обижает их.

С огромным возмущением и негодованием обрушивается он на правительство и его чиновников, вступивших в 60-е годы на путь разгрома русских университетов.

Герцен стремится помочь русским людям отстоять прогрессивные традиции отечественной науки. Он с радостью и воодушевлением приветствует развитие провинциальных университетов.

С болью и гневом говорит он о профессорах Московского университета, ставших в 60-е годы вопреки всей истории этого учреждения на путь подчинения реакционным требованиям правительства. Обеспокоенный тем, что правительство, заведомо ложно информируя Европу о событиях, происходящих в русских университетах, введёт в заблуждение общественное европейское мнение, Герцен вместе с Огарёвым даёт в иностранную прессу свою информацию, беря под защиту студентов и профессоров от клеветнических наветов правительства. Он стремится поддержать своим сочувствием выступления студентов и напра-

вить их движение на революционный путь борьбы с самодержавием.

Все эти действия Герцена вызывали среди реакционных политических деятелей ярость по адресу изгнанника и его газеты. Царские чиновники, полиция, немецкие власти городов, через которые Герцен нелегально транспортировал «Колокол» в Россию, — всё было поднято на ноги, чтобы не допустить проникновения герценовских изданий.

Однако это редко удавалось. Герцен пересылал на родину не только свои нелегальные издания, но и средства, собираемые через «Колокол» на нужды беднейших студентов.

Герцен помогал русским передовым деятелям в их борьбе за истинное просвещение не только гневными разоблачениями и саркастическими характеристиками реакционеров. Он поддерживал тех, кто стремился гуманно и честно способствовать развитию русского просвещения. Герцен с большим сочувствием высказывался о Пирогове, Добролюбове, Писареve и других лучших людях России, смело продолжавших в условиях разыгравшейся реакции 60-х годов борьбу с реакционерами.

В целом все материалы третьего раздела рисуют Герцена действенным, грозным борцом, стремившимся имеющимися в его распоряжении средствами бороться за революционно-демократический путь развития русского просвещения и его соответствия интересам демократических слоёв населения.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НЕКРОЛОГА АВРААМИЯ СЕРГИЕВИЧА НОРОВА⁷¹⁾

Авраамий Сергиевич почил от министерства, и для него, как для Наполеона на острове св. Елены, «уже потомство настанёт». Отставной министр просвещения, Гизо⁷²⁾, сам пишет свою биографию; келарь Авраамий Палицын⁷³⁾ тоже о себе писал сам! но Авраамий Сергиевич, подобно родоначальнику всех Авраамов (доведшему своё историческое подобострастие и верноподданнические чувства до того, что чуть не прирезал родного сына Исаака⁷⁴⁾, — ждёт нового Моисея⁷⁵⁾.

Для этого-то будущего Моисея хотим и мы передать несколько подробностей о добросовестных трудах Авраамия Сергиевича и о неусыпных попечениях его, сделанных с просвещённой целью помешать распространению наших книг.

Летом 1857 года Авраамий Сергиевич проживал в Берлине, лихорадочно поджидая государя (как будто он не мог наговориться с ним досыта и до ленты в Петербурге?). Вдруг... в его замке народного просвещения *in partibus* раздаётся рожок, гремят цепи подъёмного моста, и въезжает оруженосец Марковский, посланный от маркиза Паулуччи, начальника тайной полиции в Варшаве. Паулуччи поручал министру просвещения, через Мар-

ковского, иметь неослабное наблюдение в Германии за русскими книгами, печатаемыми в Лондоне. Просвещённый министр, желая оправдать доверие Пауллуччи, тотчас принялся за дело и сам поехал с пакетом в Дрезден. В Германии, надо вам сказать, есть два, три отделения Третьего отделения собственной е. и. в. канцелярии. Ещё при незабвенных Леонтии Васильевиче и Николае Павловиче они были очень хорошо устроены: берлинским отделением III отделения собственной канцелярии заведывал Мантейфель, саксонским — Бейст. К нему-то первому и обратился старец Авраамий, поддерживаемый старцем Шредером (из русских), человеком, которого учтивость была до того велика, что почти выходила из пределов приличия.

Бейст, видя жандармское рвение министра народного просвещения, поддержанное учтивейшим человеком из всех Шредеров, не исключая Шредера Девриен', дал слово (и сдержал его) запретить в Саксонии русские книги, печатаемые в Лондоне, признаваясь откровенно и всенародно этим фактом, что Саксония находится на положении Грузии...

Авраамий Сергиевич, довольный успехом, снова возвратился в берлинскую область. В уездном городе Потсдаме он встретил гр. Адлерберга, кн. Горчакова и самого государя, с ужасом жаловался он им всем на распространение русских книг, печатаемых в духе свободы и независимости, дерзающих касаться не только до предметов священных, но и до первых трёх классов, не щадящих ничего, ни даже графа Панина...

Мантейфель запретил наши книги во всей вверенной ему губернии.

И нам пришлось печатать после всех этих реклам, переписок, совещаний, Бейстов, маркизов от инквизиции, министров от просвещения, Марковского, Мантейфеля, — ровно вдвое больше наших книг!

А надобно признаться, оригинально понимал отец Авраамий министерство просвещения: он верно думал, что оно, как пожарное депо, назначено не для увеличения просвещения, а для предупреждения и прекращения его, где оно (чего боже сохрани!) нечаянно случится...

АРХИПАСТЫРСКОЕ РВЕНИЕ О МРАКЕ⁷⁶)

Мёртвые восстанут! немые глаголят! православные святители поднимают слабый глас свой на противодействие науке, во грехе мысли светской зачатой. Вот что благовестит преосвященный митрополит новгородский и с.-петербургский за № 641 обер-прокурору святейшего синода, сему страже-блюстителю, охраняющему, аки пёс верный, паству господню, паству православную.

«Неоднократно доходили до меня слухи, что некто иностранец Роде в СПб, в разных высших учебных заведениях, разными картинами, не упоминая ни слова о божь-создателе, показы-

вает, что образование нашей земли со всеми её растениями и животными, не исключая и людей, произошло только от действия естественных сил какой-то первобытной материи, в продолжении не простых шести дней, а шести более или менее длинных периодов.

«В настоящее же время, как сказывают, этот Роде уже делает свои представления публично, близ Большого театра, в цирке и, для большего привлечения народа, с торжественной музыкой.

«Такое представление, явно колеблющее основание христианства и истребляющее в народе всеми христианскими народами благоговейно признаваемую и чтимую истину в создании нашей земли от всемогущего, премудрого и всеблагого творца-бога, весьма вредно для народной веры и нравственности.

«Посему покорнейше прошу ваше сиятельство, чтобы означенное даваемое в цирке представление было прекращено».

... Может пастыри наши умиленно мечтают, что, уничтожая свет дневной, они усугубят продажу свечей⁷⁹⁾ церковных!

ВИЛЕНСКОЕ УЧЕБНОЕ НАЧАЛЬСТВО⁸⁰⁾

Нам пишут из Польши: «Попечитель виленского учебного округа барон Врангель (из гусар!) и его помощник князь Ширинский-Шихматов (из мичманов!!) решились энергически противодействовать распространению просвещения и для того стали уменьшать всеми средствами число учеников в гимназиях и других учебных заведениях⁷⁹⁾. Усердный исполнитель их, фон Фрейман (из фейерверкеров!!!), директор виленской гимназии, отказал под разными предлогами двумстам мальчикам, привезённым в Вильно, в праве поступления в гимназию, ссылаясь на недостаток места в здании, в котором прежде помещался университет, усиливая экзамены и проч.»

Когда немцы сами по себе и татары сами по себе столько вредят России, что же сказать о соединении немцев с татарами на уничтожение просвещения? Если сухопутные и пешие попечители и директора учебных заведений никуда не годятся, что же сказать о наступательном союзе гусара, мичмана и фейерверкера?!⁸⁰⁾.

ПРАВИЛА ДЛЯ СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА⁸¹⁾

Эту подлую, иезуитскую, полицейскую мерзость прочли мы с глубоким, глубоким горем. Мы привыкли с юности к любви, к уважению нашего университета и Царскосельского лицея. При имени Московского университета бьётся наше сердце — и вдруг видеть его опозоренным какими-то пошлецами, сидящими в его совете.

Они свои приказания выставляют в виде объявления при входе в аудиторию. Мы их «правила» выставляем у позорного столба⁸²⁾.

Кто из профессоров подписал эти правила? Давайте их имена сюда, в «Колокол», чтобы все могли с омерзением указывать на них пальцем!

А кто из профессоров протестовал? Неужели никто? Быть не может! Давайте нам и эти имена, чтобы вынуть их чистыми из ямы.

Что они сделали из университета, все эти доктринёры, проповедывавшие о строгости вступительных экзаменов? Они сыграли в руку Тимашеву⁸³⁾. Из 500 экзаменовавшихся принято только 152 человека. Доктринаризм из факирства перед наукой забыл, что многие, вступая в университет с плохими сведениями, в продолжении курса выходят отличными студентами. Доктринаризм забыл, что в германских университетах вовсе нет вступительных экзаменов, но при выпуске экзамены строги, что совершенно справедливо: нельзя дать диплом невежде и право на учёное звание или место по службе.

Правительство из николаевской мании трусом дрожит перед каким-то вольным духом; правительство забыло, что чем больше учащихся в университетах, тем больше у него хороших чиновников, хороших офицеров, и что для того, чтоб не бояться вольного духа, не науку надо гнать, а надо сделаться просвещённым правительством, и только. Правительство забыло, что с системой стеснения образования оно дошло до падения Севастополя, потому что правительству, стесняющему образование, кроме дураков и воров, никто служить не станет.

ПОЛ ПАРКЕТ В ГИМНАЗИИ И ПОТОЛОК В МОЗГУ ФИШЕРА⁸⁴⁾

Директор Ларинской гимназии Фишер на просьбу о дозволении открыть воскресную школу в этой гимназии, отвечал: «Нельзя, грязные мальчишки с улицы паркетные полы испортят».

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ⁸⁵⁾

*Прошло сто лет...
И перед младшею столицей
Главой склонилася Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова⁸⁶⁾.*

Прошло ещё и не сто лет, а четверть века, и новой царице, кажется, скоро придётся склониться, и не перед порфироносной соперницей... а перед целым хором дальних столиц, не богатых, не важных по происхождению и скорее степных... чем великосветских.

Везде на Руси закипает жизнь, везде обнаруживается деятельность, иногда нескладная, но здоровая, молодая и самобытная...

Москва совершила свой второй подвиг. Она была во всё продолжение несчастного тридцатилетия воспитательным домом России, последним убежищем мысли, науки, человеческих убеждений...

В Москве возникла, развилась, расщепилась и возмужала современная русская мысль, качаясь в своей колыбели между протестом Чаадаева⁸⁷⁾ и воззрением славянофилов⁸⁸⁾. И если впоследствии исполнительная часть литературы, её прилавок⁸⁹⁾ перешёл в Петербург, то её тема, мысль, задача — из Москвы, то её люди — из Москвы. Лермонтов, Белинский, Тургенев, Кавелин⁹⁰⁾ — всё это наши товарищи, студенты Московского университета.

Этот кафедральный собор нового русского образования был больше, чем кем-нибудь, оценён императором Николаем. Он, мнительный и трус, ясновидением ненависти понял, что значат эти бедные кафедры, на которые всходили люди, изуродованные малиновыми воротниками на фраке, и которых слушали какие-то юноши, одетые конноегерскими юнкерами⁹¹⁾. Он чувствовал, что в этих аудиториях, как некогда в римских катакомбах, есть молодые учителя, крестившие бесшумно наукой и светом истины одно поколение за другим, и что эти ставленники их ежегодно рассыпались во все четыре стороны. Юбилей Московского университета праздновался всей Россией и, читая речи, произнесённые в губернских городах, у нас вдали сильно билось сердце...

Его юбилей был его лебединой песнью: с похорон Грановского он не справлялся. Но в то самое время, как его уровень мельчает, уровень провинциальных университетов подымается выше и выше и подымается без малейшего содействия правительства, бросающего деньги на одни вредные и ненужные школы, вроде школы ольденбургского правоведения, юнкерского маршводства и пр.

Провинциальные университеты забыты, министерство Ковалевского с нарезчиком Мухановым⁹²⁾ занято не тем. Ковалевский, например, видел своими глазами, что в Казанском университете восемь пустых кафедр и не меньше пустых профессоров, и что же сделал? Тотчас стал хлопотать об аренде, не Казанскому университету, а себе. Учителя гимназии в Петербурге и Москве не идут в провинциальные университеты, потому что оклады малы. Провинциальные профессора, напротив, при первой возможности переходят в столицы. И со всем с этим дух этих университетов, дух молодых профессоров и студентов превосходит.

Каждая новость из дальних университетов проникнута свежей жизнью аудитории. Сколько юной страсти к науке, негодования за скверное преподавание! Как бьются эти молодые люди,

чтоб заменить бездарных, тупых, отсталых преподавателей людьми свежими и молодыми мыслью; как дружно протестуют они, как составляют свои братские круги для выписки книг, журналов! Этого развития скоро не искоренят ни сыщики Тимашева à la Лужин, ни сродники бывшего дядьки наследника à la Зиновьев, ни золотушная язва немецких вечно-цеховых ремесленников науки с их русскими подмастерьями на манер немецкий. Там, где жизнь круто завязывается, она чрезвычайно упорна, и делай что хочешь — она найдёт себе и щель к свету, и дорогу вперёд; против неё ни преступная небрежность министерства, ни преступное внимание шпионства ничего не сделают. Университет учит столько же, или ещё больше, аудиторией, сколько кафедрой, юным столкновением, горячим обменом мыслей. Если есть два-три доцента, умеющие возбудить вопросы, научить их ставить, умеющие указать, что делает наука на воле, то и довольно!

Если рассудить, то почти лучше, что правительство ничего не делает для провинциальных университетов. Оно их завело из хвастовства и поддерживает настолько, чтоб стены не упали от стыда. Пусть же молодёжь пробивается сама, учится сама; за лишний труд она приобретает великое право неблагодарности, у ней не будет одолжений Петербургу, она себе и молодым труженикам науки будет обязана своим образованием*). Пусть же она отрясёт прах со своих ног и примет наш братский совет: идти, не останавливаясь на препятствиях, вперёд и вперёд!

От души, с глубокой любовью приветствуем мы из нашей дали новые фаланги будущей Руси, идущие нам на смену; их дружеские слова долетают до нас, снимают много тяжёлого и скорбного; мы себя чувствуем с ними как-то снова молодыми.

ЗЛОДЕЙСТВО ДОЛГОРУКОВА⁹³⁾

Кн. Долгоруков⁹⁴⁾ — жандарм — подал государю доклад, что воскресные школы — зародыш огромного тайного общества (уж не огромный ли тайный это... вождь Тимашев придумал?). Государь — сейчас за Ковалевским: «Как, — говорит, — тайное общество в воскресных школах?» — «Никакого тайного общества в воскресных школах нет, — отвечает Ковалевский, — а что, — говорит, — есть точно надзор тайной полиции, больше-де никакой тайны нет; тоже министерство народного просвещения и министерство внутренних дел за ними присматривают, явно только». Но Долгоруков закусил удила — и снова с доносом на школы. Тимашев на этом хочет зашибить графа (Тима-

*) Одно рекомендовали бы мы молодым учёным провинциальных университетов: они должны оставаться в своём краю, в родной среде, а не тотчас переезжать, по первому зову, в Петербург или Москву. Может, это и не совсем выгодно, но теперь не до домашней экономии. — А. Г.

шев — граф Школинский!). Результат этого тот, что слабейший Ковалевский сделал разные затруднения при открытии воскресной школы за Шлиссельбургской заставой, наконец, разрешили по оригинальному ходатайству одного чиновника, а начальник корпуса духовных жандармов — митрополит — не велел открывать школы раньше 12 часов. Бедный русский народ, недалеко уйти тебе с такими пастухами!

ЦАРСКОЕ САМОДЕРЖАВИЕ И СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ⁹⁵⁾

Киевский генерал-губернатор Васильчиков в своём отчёте государю напутал какой-то неясный вздор о том, что попечитель учебного округа Пирогов⁹⁶⁾ «устроил студенческое самоуправление, суд и расправу», но что министр восстановил обычный порядок. На первом замечании сделана отметка: ни с чем не сообразно, на втором, — слава богу, давно пора, — и сделаны они той рукой, которая так недавно подписала освобождение крестьян!

Что за смесь Иисуса Христа с императором Николаем в этом человеке. И отчего же нет никого настолько ему приверженного, чтоб сказать ему, что если он не умеет идти по одной доске, то никогда не попадёт в двери? Царских мантий в два цвета нет, и то, что считалось величайшим достоинством Гарри-ка, — что он одной половиной лица смеялся, а другой плакал, — вовсе не идёт к Мономаховой шапке.

Пирогов вышел в отставку: ему нечего было и делать.

КИЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И Н. И. ПИРОГОВ⁹⁷⁾

Проводы Н. И. Пирогова были великолепны. Это уж не чиновный юбилей Княжевича и не юбилей Вяземской риторикки. Нет, это было совершение великого долга, — долга опасного, и потому хвала тому доблестному мужу, который вызвал такие чувства, и хвала тем благородным товарищам его, которые их не утаили!

Отставка Н. И. Пирогова, — одно из мерзейших дел России дураков против Руси развивающейся. Видеть девичью какой-нибудь Васильчиковой, лепечущую бессмысленные доносы с помощью инспектора Рейнгардта, видеть всепростоту государя, пишущего какой-то бред на маржах, вслед за тем, — падение человека, которым Россия гордится, и не покраснеть до ушей от стыда — невозможно.

ПРАВДА ЛИ?⁹⁸⁾

Правда ли, что игуменья Алексеевского монастыря в Москве превращает его в Алексеевский равелин: гнусно обращается с послушницами, бьёт их, запирает в какие-то тёмные чуланы?

УВЕДОМЛЕНИЕ⁹⁹⁾

С глубочайшей благодарностью получили мы три фунта стерл. от трёх русских на взнос в университеты за бедных студентов, у которых государь отнял средства учиться¹⁰⁰⁾.

ЗА ЧТО ПУТЯТИН?¹⁰¹⁾

Он против: воскресных школ,
открытых заведений,
женского образования,
светской науки.

Говорят, что он англоман¹⁰²⁾, как Дербн или издатель «Русского вестника»¹⁰³⁾. Но, видно, он изучал Англию только в доках, а то он знал бы, что здесь никто не мешает женщинам учиться медицине, а он мешает. Недавно Харьковский университет просил разрешения для одной девицы позволить выслушать курс медицины и удостоить степени лекаря. Все члены главного правления училищ согласились на это, один Путятин был против и, чтобы затянуть дело, приказал послать его на рассмотрение советов всех университетов.

Какая это англомания! — это чистая Япония!!

РУССКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

(Издателю «Таймса»)¹⁰⁴⁾

Сэр, мы надеемся, что вы не откажете поместить на ваших уважаемых столбцах несколько слов в защиту русских юношей, заключённых теперь в тюрьмы в Петербурге, Кронштадте и Москве за попытку представить императору Александру II адрес с просьбой прекратить преследования против образования в России¹⁰⁵⁾.

Мы, конечно, приходим в полное умиление при виде нежной дружбы между м-м Джорджем Вильямсом (из Королевского колледжа в Кембридже) и адмиралом Путятиным; но когда дружба переходит в страсть, она способна затемнить рассудок в той же мере, как и любовь или честолюбие. М-р Дж. Вильямс в письме, помещённом в вашей уважаемой газете (ноября 15), пытается смягчить дурное впечатление, которое произвела на общественное мнение ваша совершенно правдивая и прекрасная корреспонденция, касавшаяся русских университетов. Он говорит: «Две главные обиды, на которые студенты могли пожало-

ваться вначале, были: упразднение формы и установление платы за учение».

Первое утверждение доказывает, что г. Вильямс невнимательно прочитал вашу корреспонденцию; второе, — что он не понимает положения дел в России, несмотря на то, что путешествовал по ней...

Что касается платы за учение, то как бы мала она ни казалась м-ру Вильямсу, она слишком тяжела для бедняков в России; и так как образование в нашей стране было даровое со времени учреждения университетов...

Но до сих пор студенты переносили это безропотно и втихомолку составляли фонд из добровольных взносов для помощи тем из товарищей, которые не были достаточно богаты, чтобы платить за учение. Теперь же этот фонд конфискован правительством, и новые правила подвергают студентов системе шпионства и полицейского преследования.

Если адмирал Путятин не соглашался с новыми правилами, которые, как говорит м-р Вильямс, были написаны до того времени, когда он вступил в министерство, то как же он мог, не погрешая против совести, принять свою должность? А приняв её, как мог он предложить профессорам взять на себя отвратительную роль чего-то в роде сыскной полиции над студентами? Как мог он призвать вооружённую силу против безоружных юношей, сходка которых не имела другой цели, кроме представления весьма почтительного адреса его величеству? Некоторые из них были убиты, около 300 заключены в тюрьмы, а почтенный адмирал, наибольшим отличием которого по службе считается путешествие в Японию, до сих пор держится на своей выгодной должности во главе народного просвещения.

Это — вещи, которые самая страстная дружба не осмелится оправдать, и, конечно, мы того мнения, что дружба м-ра Вильямса с русским адмиралом зашла слишком далеко и привела английского профессора к защите деспотического правительства, которое стремится притеснить образование всякого рода, обратить университеты в казармы и не останавливается даже перед оклеветанием юношей с благородным сердцем, убитых или заточённых в темницы, протестовавших против японской регламентации.

Остаёмся, сэр, с почтением, Ваши

Александр Герцен

Николай Огарёв

Издатели

«Колокола»

ИЗВЕЩЕНИЕ¹⁰⁶⁾

Извещаем с благодарностью особ, приславших четыре фунта для взноса в откупную сумму за просвещение, взимаемую Путятиным со студентов, что мы их получили и препроводим по назначению.

ЗЛОДЕЙ — КАПИТАН РУССКОГО КОРАБЛЯ¹⁰⁷⁾

«Times»*) от 10 января извещает, что русский посол в Лондоне был уведомлён из Гуллы, что какой-то капитан зверски истязал мальчика 11 лет. Что сделает Бруннов, мы не знаем; вероятно, ничего. Мы же, с своей стороны, просим русских, находящихся в Англии, сообщить нам имя корабля и кому он принадлежит, а пуще всего — фамилию капитана, для того, чтоб её поместить в число практических защитников телесных наказаний и с тем вместе выставить к позорному столбу.

ВТОРОЙ РАЗ¹⁰⁸⁾

В прошлом листе мы просили русских, живущих в Англии, сообщить нам имя злодея капитана какого-то русского судна, истязавшего ребёнка в Гулле. Неужели его поступок находит или такое сочувствие, или такое равнодушие, что никто не дал себе труда исполнить нашу просьбу?

КАПИТАН-ПАЛАЧ¹⁰⁹⁾

Второй вопрос наш не остался без ответа. Мы получили имя корабля, шедшего из Риги в Гулль, на котором капитан до того варварски драл мальчика, что англичанин кормчий довёл об этом до сведения гулльских властей.

Корабль назывался «Угро».

Капитан — Бренц.

Посол в Лондоне, которому об этом писано, называется Бруннов. В Гулле есть русский консул. Очень любопытно знать, что сделали посол и консул.

ПРЕСТУПНЫЕ МАЛЬЧИШКИ В ТВЕРИ¹¹⁰⁾

В тверской гимназии был 16 февраля спектакль и танцевальный вечер. Между танцующими была жена капельмейстера, который дирижировал оркестром. Жёны подьячих и разночинцев, помещицы и офицерши нашли несовместным с их высоким общественным положением участие в бале жены капельмейстера. Мерзавцы школьники благородного шляхетского**) происхождения «подошли к даме и требовали, чтобы она вышла вон». Бедная женщина, униженная и испуганная ими, со слезами на глазах, поспешила показать им билет в своё оправдание и, конечно, мало помогла делу; её грозили вывести, если она не выйдет

*) Газета «Таймс». (М. III.)

**) Дворянского. (М. III.)

добровольно. Скандал обратил на себя общее внимание, и в то время, когда дама с своей сестрой выходила из зала, пансионеры*) закричали: «Браво»...

Этот отвратительный факт, сделанный именно в теперешнюю эпоху, не должен пройти, не оставив позорного клейма на мерзких мальчишках и на ещё больше мерзких воспитателях их.

Кто были эти будущие воры-чиновники, крепостники-помещики, которые подошли к даме с наглой речью? Кто кричал «браво» слезам обиженной женщины? Несовершеннолетие несколько не покрывает их, они поступили очень сознательно. Пусть же их, как ядро каторжника, провожает укор и порицание. Это облегчит одним из них очиститься искусом и покаянием, другим скорее попасть в чиновники III Отделения, сделаться тиранами-помещиками или варварами-офицерами.

Мы просим список негодяев.

ГОЛОВНИНСКАЯ ЦЕНЗУРА¹¹¹⁾

К характеристике головнинской свободы книгопечатания¹¹²⁾ и бесцензурного печатания книг научного содержания не мешает заметить, что первый выпуск «Сравнительной анатомии»¹¹³⁾, изданной сыном издателя «Колокола», запрещён в России... Что у Путятина были японские замашки, не удивительно, но либеральный Головнин откуда взял библейские понятия гонений до седьмого колена?.. Какие мелкие, ничтожные люди все эти злые карлики и злые великаны, которые пасут Россию.

ШАХ КОНСТАНТИНУ НИКОЛАЕВИЧУ¹¹⁴⁾

На место Головнина назначен министром просвещения граф Толстой. Особенно жалеть Головнина нечего: слабый был человек и под конец бросился в самое театральное ханжество, но и это не помогло. Граф Д. Толстой¹¹⁵⁾ — сочинитель книги «Du catholicisme romain en Russie»¹¹⁶⁾). Такое назначение — шаг дальше в правительственное изуверство и катковщину... Хорош первый результат выстрела. И всего больше хорош он для Константина Николаевича. Граф Толстой служил в морском министерстве и поссорился с великим князем из-за Головнина¹¹⁶⁾... а теперь садится на его место.

*) Ученики, живущие в пансионе при гимназии. (М. III.)

**) «О римском католицизме в России». (М. III.)

НЕТЕРПЕЛИВОСТЬ, НЕВЕЖЕСТВО И ПОЛИЦЕЙСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА¹¹⁷⁾

Помещаем целиком отвратительный донос Филарета, архиепископа Черниговского, как новое и наглое доказательство того, что делает с просвещением лицемерное направление министров-богословов и ослов в клобуках^{*)}.

Министр просвещения Делянов¹¹⁸⁾ поспешил известить доносчика (кажется, умершего от холеры), что «Рассказы из русской истории» отобраны, и впредь министерство будет предварительно на духовную бойню черниговского владыки.

ГРЯЗЬ¹¹⁹⁾

На нас находит сомнение, выписывать или нет из русских газет мерзости и безобразия, делающиеся у нас ежеминутно, на каждом шагу. Нужно ли всей этой массе гадостей ещё раз вынырнуть на наших листах?..

Разверните, что хотите, что не запрещено, как «Современник» и «Слово», не приостановлено, как «Спб. ведомости», и читайте, где хотите, — будет хорошо.

В Казанском округе бродит тень Магницкого и шипит следующую иезуитскую речь¹²⁰⁾:

«По случаю холеры я не застал у вас классов и потому лишён возможности видеть вас в деле. Но положение гимназии мне достаточно известно — как по сведениям, которые я имею из министерства народного просвещения, так и по произведённой, по моему распоряжению, попечителем округа ревизии гимназии. Должно сожалеть, что в прежнее время в нашем составе находились такие личности, которые не должны были бы вступать на учительское поприще: они принимали на себя эту важную обязанность не для пользы юношества, а ко вреду для него, для распространения разрушительных идей, последствием которых, как теперь оказывается на опыте, было умственное и нравственное развращение некоторых людей, сделавшихся несчастной жертвой этой злой пропаганды. При мне подобные преподаватели невозможны: я обязан пред священной особой государя императора и пред моей собственной совестью не допускать, чтоб училище, содержимое на счёт правительства, обращалось в притон противобщественных и противогосударственных теорий; я обязан перед родителями сдать им юношей благовоспитанных и истинно, а не ложно образованных; наконец, я обязан пред самими

^{*)} Далее напечатано письмо Филарета гр. Д. А. Толстому о разосланной при Головинне по сельским училищам книге А. С. Суворина «Боярин Матвеев», М. 1864, «очень вредной во всех отношениях» по определению Филарета.

этими юношами способствовать тому, чтоб из них образовались люди дельные и основательные, которые современем поблагодарили бы внутри сердца своего своих наставников и руководителей, предостерегших их от ложных путей. Я буду свято исполнять эту обязанность, пока буду занимать должность, возложенную на меня высоким монаршим доверием. Надеюсь, и даже уверен, что вы все будете мне в том содействовать, — иначе и быть не может».

За оборотнем министром на запятках — ливрейный холоп реакции вторит барину¹²¹):

«Теперь, слава богу, основы нашей новой учебной системы не подлежат более сомнению, не подвергаются более вопросу. Слова эти (воскресшего Магницкого) обнадёживают, что министерство будет зорко смотреть за тем, чтобы в наших школах, под видом педагогов, не было людей злонамеренных. Но и при самом бдительном надзоре в этом отношении опасность для нашей молодёжи не прекратится... («Моск. Ведомости» № 192).

Министр внутренних дел, чтобы не отстать от нео-Магницкого, в свою очередь грозит в «Северной почте» преследованиями и наказаниями за перепечатывание учёных статей из периодических изданий и книг специально-учёных. Наука для касты, для мандаринов, для доктринёров, для монахов и попов. Для публики довольно Поль де Кока и к-нии. Для народа его не нужно, для него и грамота — роскошь; народ слишком беден, чтоб иметь право на мысль; мысль и наука, как суд и расправа, должны принадлежать одним крупным землевладельцам.





РАЗДЕЛ IV

ПИСЬМА К ДЕТАМ И О ДЕТАХ

Пояснения к 4-му разделу

В последнем (четвёртом) разделе помещены письма Герцена, рисующие его, как отца-воспитателя. Эти письма дополняют и развивают педагогические высказывания Герцена, известные читателю по материалам предыдущих разделов. В них поднят ряд вопросов семейного воспитания.

Письма характеризуют Герцена глубоко любящим, нежным отцом, находящим радость в повседневных заботах о воспитании детей, больно переживающим свои неудачи в этом деле. Несмотря на то что педагогическая деятельность Герцена по воспитанию собственных детей протекала, как говорилось во вводной статье, в сложных условиях, она содержит в себе много поучительного.

Герцен стремился воспитывать своих детей согласно своим теоретико-педагогическим убеждениям. Воспитание детей было для него частью революционного служения родине. Он не мог реализовать в процессе воспитания детей своих замыслов и намерений. Наряду с политической драмой, о которой говорил В. И. Ленин (см. стр. 12 нашего сборника), он пережил своеобразную «педагогическую драму». Объективная нереальность идеалов Герцена, мечтавшего о переходе России к «крестьянскому» социализму, его колебания между либерализмом и демократией, условия личной жизни, вынужденно проходившей вдали от родины, — всё это создавало большие трудности в реализации намеченной Герценом программы воспитания детей. Однако и в этих объективно тяжёлых условиях Герцен сделал очень много. Конкретные шаги его в этом направлении, размышления, которыми он щедро делился с окружающими по всем, в том числе частным, второстепенным, вопросам воспитания, могут дать много поучительного и современному читателю.

Любезный Саша, в ожидании твоего рапорта о твоих занятиях за прошлую неделю, я хочу написать тебе несколько слов¹²³⁾.

Ты входишь теперь в тот возраст¹²⁴⁾, когда дети бедных людей начинают уже работать и серьёзно заниматься, а потому я тебе расскажу не о Цюрихе, не о ипподроме, а о том, что здесь было в суде.

Ты слышал о знаменитом французском мыслителе, Викторе Гюго; вчера судили его сына за то, что он написал в журнале статью, в которой говорил, что казнить людей отвратительно.

Отец его сам стал защищать сына¹²⁵⁾ и, предвидя, что его сына всё же обвинят и посадят в тюрьму, вот чем он кончил свою речь:

«Сын мой, тебе делают сегодня великую честь: тебя считают достойным страдать за правду. С сегодняшнего дня ты вступаешь в действительную жизнь. Ты можешь гордиться, что в твоих летах ты уже на той скамье, на которой сидели Беранже и Шатобриан, — будь твёрд и незыблем в твоих убеждениях, ты их принёс в крови, ты им научился у твоего отца»¹²⁶⁾.

Сына Гюго осудили на шесть месяцев. Когда они с отцом вышли из суда, народ, ожидавший их, окружил карету и кричал: «Да здравствует Гюго!» Гюго отвечал: «Да здравствует республика!»

Ты видишь, дружок Саша, что как ни больно отцу, что он должен сына отдать в тюрьму, но что для него этот день останется, как один из лучших в жизни. Вспомни маленького Грибуля¹²⁷⁾: и он пострадал за правду и за желание, чтобы всем было хорошо. Те, которые гонят, осуждают за это, те хотят, чтоб только им было хорошо.

Надобно быть или Грибулем, или Бурбоном: надобно бороться, собою жертвовать или приносить себя на жертву друзей и врагов. Но быть Грибулем не только выше, но и веселее. Помнишь, как он в тюрьме приучил мышей, лягушек и пел песни? на совести у него ничего не было, он сделал своё дело, а какой-нибудь Бурбон¹²⁸⁾, отравивши жизнь другим, мучится, завидует, боится, стыдится.

Так-то и я хочу со временем видеть тебя идущего по дороге, по которой я шёл 25 лет. Не думай, чтоб нужно было натывать самому на беды — нет, надобно быть готовому на всякую борьбу. Не придёт она, — можно другое делать. Но если придёт, — что бы ни было, стой за свою истину, за то, что ты любишь, а там, что бы ни вышло.

Целую тебя крепко.

Кланяйся Александре Христиановне. Занимайся, как можно больше, русским языком. Ты никогда не забывай, что ты должен быть русским.

Тате и Коле будут следующие письма.

ПИСЬМО К СЫНУ¹²⁹⁾

13 июля 1851
Турип

Может быть, любезный Саша, мы успеем приехать во вторник, а в среду почти наверное можешь ожидать в дилижансе, который идёт из Генуи¹³⁰⁾, он останавливается, кажется, в Hôtel York. Получил ли ты телеграф? Научи Колю играть, — это игрушка преумная и должна его много забавлять.

Я с глубоким удовольствием прочёл в письме Энгельсона, что он доволен твоим поведением. Впрочем, тебе тринадцатый год и, если б мы были люди бедные, ты должен бы был уже работой снискивать себе хлеб и помогать семье. Ты можешь сам заметить, что дети работников гораздо умнее, солиднее, особенно во всём практическом; они меньше боязливы и осторожнее. То, что с ними делает необходимость, того нам надобно достигать волей.

...Сейчас принесли ваши письма от 11-го.

ПИСЬМО К А. и М. К. РЕЙХЕЛЯМ¹³¹⁾

23 ноября 1851, вечер,
Ницца

Дорогой Рейхель, ужасы поразили мою семью, ужасы... Я об этом пишу Марии, но передайте письмо с осторожностью. О, как я состарился в эту неделю.

Искренний, ближайший друг, Мария Каспаровна, мне принадлежит великий и тяжёлый долг сказать вам, что я воротился в Ниццу один...¹³²⁾. Несмотря на все старания, я не нашёл нигде следа наших. Один сак*) Шпильмана достали из воды...

Что у нас, и как провели эту неделю, страшно вздумать. Десять раз я брал перо писать к вам и не мог, решительно не мог. Что это: сон, безумие?!.. дайте мне вас прижать к моей груди, плакать с вами; останьтесь вы — наша сестра, во имя этого ангела. Буду писать всё подробно, не теперь только. Я даже боюсь вашего ответа. Наташа очень плоха, она исхудала, состарилась в эту проклятую неделю. Она надеется. Консул

*) Верхняя одежда.

и все отыскивают по берегу... Я не знаю, что может быть, но не верю.

Бедная Луиза Ивановна... Какая смерть!

Фу, как всё гадко, отвратительно. Я смотрю теперь на других детей, как будто в последний раз.

Дайте же руку; помните, что у вас есть Саша, берегите себя; я, отец Коли, успокаиваю вас.

Прижмитесь теснее к нам, наша жизнь не должна идти врозь.

Я пишу один, Нат. *) лежит; она хотела писать, но не могла.

После напишу. Ещё раз, во имя Коли и вашего малютки, будьте сильны.

Луиза и Аделаида целы.

Помните, я говорил, что в жизни ничего нет прочного, заветного?.. Вот она и сломилась. Угол где-нибудь — и доживать. Ничего, ничего после такого глупо-чудовищного удара, ничего не надобно.

ПИСЬМО К М. К. РЕЙХЕЛЬ¹³³⁾

17 апреля 1852, суббота

Болезнь **) как будто идёт тише, но лихорадка не прервана и слабость ещё больше. Надежд мало, но есть. Я до того присмотрелся ко всему ужасному, что повторяю все эти страшные вещи, как будто их смысл лёгок. Если пойдёт хуже, я тотчас напишу; приезжайте сюда с вашим Сашкой и возьмите детей в Париж. — Я хочу непременно, чтоб вы стояли во главе воспитания женского. За Сашу я возьмусь, если я останусь цел после всех этих ударов.

Дорогой Рейхель, не опасайтесь никакой ответственности: я вам дам товарищей и помощников. Но я хочу, чтобы вы и Мария оставались при детях до их совершеннолетия, в случае моей смерти.

Иногда мной овладевает животное равнодушие, и иногда болят все поры, все нервы. Я страшно несчастен и стыжусь этих жалоб: они мне не к лицу, и чем, черт возьми, чем я созвал их на голову свою?

ПИСЬМО К Н. А. ГЕРЦЕН¹³⁴⁾

*Мая 24 1852,
Нижца*

Друг мой, Таточка!

Скучно мне без тебя¹³⁵⁾, пиши мне скорее письмо, а я скоро начну писать сказочку, о которой, помнишь, как ты меня просила. Будь здорова. Поцелуй много, много Оленьку. Думай часто о маме, какая она была добрая и как любила Тату.

Твой папа.

*) Наталия Александровна.

**) Наталии Александровны.

ПИСЬМО К Н. А. ГЕРЦЕН¹³⁶)

Июнь 1852

Тата, вчера живописец принёс два портрета мамы: один повеселее, а другой такой печальный; я его оставил себе, а тебе и Оле посылаю тот, который веселее. Повесь его над своей кроваткой и всякий день здоровайся и прощайся с ним и Олю приучай.

Твой папа.

ПИСЬМО К М. К. РЕЙХЕЛЬ¹³⁷)

11 июля 1852,
Дугано

Я начинаю думать о перемещении всех в Брюссель¹³⁸). Если вам, т. е. Рейх., нельзя, то мне придётся со временем взять гувернантку; этого я боюсь больше укуса бешеной собаки, но что же делать? Вы видели из приписки Ог., что надежда плоха (пожалуйста, когда будете писать, повторите, что их приезд — единственное желание и что об материальн. средствах очень нечего печься)...

Для Саши пока Тесье¹³⁹) может быть очень полезен: у него большой дар серьёзного преподавания. Я говорю: пока, потому что Тесье долго не станет терять время.

ПИСЬМО К СЫНУ¹⁴⁰)

Конец июля 1852

Ну, а как ты, друг мой Саша, живёшь без меня? Это первый раз, что ты совершенно один. Рано тебе пришлось испытать много несчастий и, наконец, разлуку; это должно тебя сделать сильным. Ты с ранних лет успеешь подготовиться к борьбе, в которую утянет тебя жизнь. Помни, что тебе силы нужны не только для тебя, но и для двух сестёр.

Я приехал вчера в половине второго в Женеву и, может, возвращусь в Нейгауз к 10-му. Наверное не знаю. Учись, друг мой, хорошо. Это большое счастье, что ты можешь и теперь заниматься с такими людьми, как Фогт и Эдмонд, и что они тебя так любят...

Прощай, друг мой, и знай, что вы все всегда в моей памяти.

ОТРЫВКИ ИЗ АКТА ЗАВЕЩАНИЯ¹⁴¹)

С целью обеспечить правильное распоряжение имуществом моих детей на случай, если я умру раньше достижения ими совершеннолетия, сим назначаю особый совет, — совет надзора, или семейный совет, — имеющий целью направлять воспитание моих несовершеннолетних детей и наблюдать за ними, управ-

лять их имуществом, равно как и перемещать мои фонды по требованию обстоятельств и, разумеется, в интересах несовершеннолетних.

В состав этого совета войдут:

- a) Юлиан Шаллер из Фрейбурга, государственный советник,
- b) Карл Фогт из Берна, профессор в Женеве,
- c) Владимир Энгельсон, русский уроженец, живущий ныне в Генуе,
- d) Мари Тесье дю Мотэ, французский гражданин, живущий ныне в Лондоне,
- e) Эрнст Гауг, уроженец Штирии, генерал (бывший) римской республики, живущий в Лондоне,
- f) Шарль Эдмонд Хоецкий, польский уроженец, ныне живущий в Ницце¹⁴²).

Специальным опекуном моих детей, до их совершеннолетия, я назначаю Адольфа Рейхеля, прусского уроженца, профессора музыки, живущего ныне в Париже, которому, кроме функций, предписанных законом, я вверяю, в частности, воспитание моих детей, а также хозяйство по имуществу под наблюдением и руководством вышеозначенного семейного совета. В случае преждевременной кончины указанного опекуна, его место должен заступить Владимир Энгельсон, член семейного совета, а в случае его смерти — Карл Фогт из Берна, профессор в Женеве, член того же совета, с теми же обязанностями.

Само собою разумеется, что при назначении душеприказчиков и семейного совета завещатель совершенно не имел намерения обходить соответственные пункты Фрейбургского законодательства, — напротив того, законы кантона Фрейбург, согласно воле завещателя, должны быть строго соблюдены и получить полное распространение...

Горячо желая, чтобы мои дети прожили вместе возможно долго на общие средства моего состояния и произвели раздел последнего, без всяких затруднений я высказываю пожелание, чтобы мои законные наследники отсрочили раздел имущества на возможно более отдалённый срок, а мой сын, даже достигнув совершеннолетия, слушался советов и не предпринимал ни одного важного действия относительно имущества, не запросив предварительно мнений лиц, руководивших его воспитанием.

В случае же, если мой сын Александр, достигнув совершеннолетия, будет упорствовать в требовании раздела при несовершеннолетии его сестёр, вышеупомянутый мой сын лишается исключительного права на моё недвижимое имущество в Париже — Амстердамская улица № 14, и моя воля такова, чтобы в этом случае недвижимое имущество, о котором идёт речь, вошло в общую наследственную массу для раздела её, как выше указано, на равные части между тремя моими детьми.

Я хочу, чтобы после моей смерти мой прах был перевезен в Ниццу и погребён там на кладбище, отведённом для некото-

ликов, рядом с могилой моей жены. Там же должно воздвигнуть общий похоронный памятник для моей матери и сына, погибших при кораблекрушении, для жены и для меня.

Подписи: Александр Герцен, Жан Кюсслер, Н. Глассон, Г. — В. Прессэ, нот.*).

ПИСЬМО К Н. А. ГЕРЦЕН¹⁴³⁾

1852

Тата, завтра твои именины. Ты их проведёшь без меня и без мамашы, — это были и её именины. Не веселись — это не праздник в этом году.

Маша¹⁴⁴⁾ расскажет, что было в старые годы в Соколове и Покровском... Теперь этот день мы отметим печалью и воспоминанием.

Саша ушёл в геологический кабинет, он будет писать завтра. Поцелуй Оленьку.

Твой папа.

ПИСЬМО К Н. А. ГЕРЦЕН¹⁴⁵⁾

Декабрь, 1852

Я очень рад, что ты пишешь по-французски, моя душечка Тата, но главное — говори всегда по-русски. Ты — русская девочка и должна Олю учить по-русски. А Саша начинает говорить по-английски. Прощай, дружок¹⁴⁶⁾.

ПИСЬМО К М. К. РЕЙХЕЛЬ¹⁴⁷⁾

21 ноября 1854

...Вы спрашиваете о детях подробности. Польза, во-первых, физическая от нашей жизни вне Лондона удивительна; но и моральная велика от отсутствия буржуазного начала, вводимого Фоммой¹⁴⁸⁾, Мейз.¹⁴⁹⁾ в одном плоха — в внешней выправке; по серо-немецкому уму, она считает это за вздор и дисциплины держать не умеет. Но в нравственном отношении её жизнь сделало много. Я Тату не узнаю, так как она переменялась к лучшему и со мной стала гораздо ближе; может и болезни способствовали к развитию; она теперь здорова.

Оленька развивается совсем иначе; это вроде меня, натура наизнанку, всё, что в печи, на стол мечи; бездна самолюбия. На днях Луи Блан (вы знаете, что она влюблена в него, потому что считает его за мальчика) был у нас дома и, говоря со мной, забыл её. Она так обиделась, что в весь вечер потом не хотела с ним говорить. Саша от лет, если ни от чего другого, атлет, всё стреляет и нам на обед приносит скворцов. Дело детское идёт хорошо, ну, а в манерах ещё ломки будет много...

*) Т. е. нотариус.

ПИСЬМО К Е. Ф. КОРШУ, Н. Х. КЕТЧЕРУ,
М. Ф. КОРШ и др.¹⁵⁰⁾

Апрель 1856

Ну, спасибо... спасибо вам. Это первый тёплый, светлый луч после долгой тяжёлой ночи с кошмаром¹⁵¹⁾. За эти дни благодарю вас, целую вас за них, плачу от внутреннего удовольствия... Я выздоравливаю, снова стал окрепать, но мне чего-то не доставало. Этот приезд восполнил. Теперь я ещё поживу! Вот так вы мне нужны!..

Жизнь моя получает вами новую красную полосу. За эти дни, за эту нашу родную, молодую натуру благодарю и снова ещё тесней, ещё родней с вами. Там ли, тут ли — всё равно. Здесь я достиг того, что хотел, и середь диких преследований не посрамил имени русского. Работаю, буду работать, да и вы отбросьте слишком мрачный взгляд...

Я прежде говорил и теперь повторяю, что в случае смерти, я хочу, чтоб дети возвратились. И в этом случае я завещаю, чтоб вы деятельно вступили в дело. Как, что — об этом узнаете от парижской сестры*). Да я и сам только и мечтаю: рано или поздно увидеть Москву и, разумеется, если вы мне когда-нибудь напишете, что можно ехать, не бривши бороды**), то через две недели мы пошлём к Нодалю****) взять три во льду... помните?

Детьми я доволен: умны, благородные и открытые натуры, все очень красивы (портрет Т. не очень удался)...

ПИСЬМО К М. К. РЕЙХЕЛЬ¹⁵²⁾

31 мая 1856

Сегодня я должен удивить новостью, которая до того граничит с безумием, что я сам ещё не надивлюсь ей. Ну, люди — и лучшие ещё. С приездом Огар. m-elle Mesі начала сердиться на них и на меня. Зачем Нат. Ал.¹⁵³⁾ ломает так детей, зачем мы иногда говорим по-русски, зачем Тата её любит больше? и пр. Это дошло до объяснений, очень благородных, но всё-таки горьких. Из-за всего этого проглянуло нечто совсем другое — самлюбие и, кажется, невероятная мысль на бесконечное продолжение теперешней жизни. Ревность за детей приняла тотчас характер постоянной ссоры Таты с Ольгой. Я перевёл письмо моей жены к Нат. Ал. (которой я беспредельно доволен; она необыкновенно и сильно развилась с 1848, опять-таки, вопреки московским канканам****), в котором она поручала ей детей; го-

*) М. К. Рейхель.

**) Т. е. не изменяя своим убеждениям.

***) Сиделец московского виноторговца Депре.

****) Can can — сплетни.

ворили о моей связи с Огар., об этом, действительно, поэтическом возвращении друга детства. Она всё поняла, всё оценила, но от этого ничего не переменялось.

Мы хотели жить в одном доме, — ну, возможно ли жить при такой войне? Огар. хотел поселиться в Швейцарии врозь. Вчера я тепло и братски писал к М. Мейз. об этом, дружески вызывая на обсуждение дела и, так как она говорила, что делить влияние не хочет, представлял благородную сепарацию*), если ничего не удастся. Потом я пошёл с Саффи гулять. Прихожу домой; меня встречают все переконфуженные: без меня, не сказав слова, М. Мейз. переехала... Я видел сам, что после бывшего нельзя было оставить, но зачем же *coup d'état***) ? Меня это огорчило сильно. Опять пойдут крики (разумеется, не от неё) о моей неблагодарности.

Таким образом, теперь уже Нат. Ал. хочет приняться за детей. С ней является традиция, заветание, родной язык и энергический характер. Огар. лучше и лучше. Я до того был расстроен всем этим, что просто в лихорадке. Ах, эти немцы, немцы, да ещё женского пола, да ещё одержимые застарелой девической невинностью...

ПИСЬМО К М. МЕЙЗЕНБУГ¹⁵⁴)

28 декабря 1856

Я прочитал ваше письмо к Ог. По этому поводу много можно сказать: теоретически вы почти всегда правы, но великая трудность заключается именно в переводе на практику.

Я не хотел бы пускаться в спор о предмете слишком близком, но с обычной своей откровенностью скажу вам: не думаю, чтобы практика, ведение воспитания, применение теории были бы вашей сильной стороной. Я об этом много думал в течение двух лет и должен признать, что «предоставление свободы» — дело опасное и вредное: лесть, предпочтение, снисходительность быстро развращают ребёнка...

Поверьте, воспитание — одна из наиболее сложных задач и не может быть разрешаема общими фразами.

Прощайте.

А. Герцен.

ПИСЬМО К СЫНУ¹⁵⁵)

29 сентября 1858

Сегодня утром получил твоё письмо из Женевы, и мне кажется, что ты вовсе не получил (т. е. не справлялся) письма моего, посланного в Ниццу, а вероятно, мимо почты ходил часто...

Пора узнать твою будущую и подробную программу занятий¹⁵⁶). Помни, что тебе в особенности недостаёт классиче-

*) Séparation — разлука, расхождение.

**) Переворот.

ского образования, т. е. того общего очеловечения, которое именно и называется «humaniora». При специальных занятиях естественными науками тебе будет мудро сделать многое, но несколько образовав себя чтением и посещением какого-нибудь курса философского, можешь воспитать себя сколько-нибудь и в эту сторону. Без неё страшно то, что легко можно впасть в ремесленничество науки и за множеством фактов потерять общность дела.

Товарищи тебе помогут в отыскивании источников или средств по части философии. Напиши, кто читает в Вюрцбурге и что читает и чем руководствуется по части философии.

Далее, не забывай, что самое колоссальное оружие многостороннего образования — чтение. Так как ты до сих пор не был большим начётчиком, то ты можешь ограничиться теми книгами, о которых записку мы раз составляли.

Не мешает ознакомиться и с древностью, — не только по школьным книгам. Возьми Фоссов перевод Гомера, Софокл также хорошо переведён.

Исторические сочинения постоянно надобно читать. Шлецера «История XVIII ст.» — очень полезна. Ты продолжай *inextenso* Альтгаузовы уроки. Я здесь нашёл огромное сочинение на немецком — Страль и Германа: «Geschichte des russischen Staates». Возьми-ка её в библиотеке и прочти, напр., с Петра I. Apropos, когда будешь у Мар. Каспар., возьми у неё присланную мне «Историю Петра».

Ты себе отметь эти книги на записке и мало-помалу читай их. Дальнейшие замечания я сообщу тебе, когда ты мне напишешь подробно о твоих занятиях.

У нас всё идёт по-старому. Русских бездна бывает¹⁵⁷).

30 сентября.

Тата ведёт себя мило; Ольга, хотя и шалит, но всё же ничего дурного нет. Она на тебя сердится, что ты ей не приложишь никогда особой записочки, — возьми какой-нибудь листок с цветом или видом и напиши. Тата тебя всё так же любит и надеется теперь на твой зимний приезд. Если будет возможно, разумеется, приезжай, а то обростёшь немецким мясом...

Фогта¹⁵⁸), как всегда, расцелуй. Что он, потолстел ещё?

ПИСЬМО К СЫНУ¹⁵⁹)

22 июня 1859

Вероятно, любезный Саша, ты получишь это письмо в самый день твоего рождения. Двадцать лет! И первое рождение вне дома! Мне это страннее, чем тебе. И будто уже есть 20 лет с тех пор, как Прасковья Андреевна*) принесла тебя на подушке... Вспомнишь ли ты, что в «Поляр. звезде» есть статья о твоём рождении?

*) Эри, мать М. К. Рейхель.

Треть или почти треть жизни прошла для тебя; через год — гражданское совершеннолетие. Ещё года два, — и настанет время деятельности... а для неё надобно быть сильно вооружённым или вперёд знать, что останешься в задних рядах. Я не считаю, чтоб раннее развитие было особенно необходимо; человек может много приобрести после школьного учения, но основания и занятия и всего умственного быта складываются в юности.

Из твоих писем я никак не вижу, чтоб ты, сверх занятий по части физиологии и пр., особенно читал что-нибудь дельное. Or dons*) без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, ни слога, ни многосторонней шири, понимания: Гёте и Шекспир равняются целому университету. Чтением человек переживает века не так, как в науке, где он берёт последний очищенный труд, а как попутчик, вместе шагая и сбиваясь с дороги.

Чтение газет и журналов очень хорошо, но я говорю о книгах, о нескольких книгах, без которых человек не есть полный человек.

Тебе дети и мы готовили разные подарки, но оставили их до твоего приезда, а пока, если нужно, ты можешь взять не в счёт жалования 100 фр. (из присланных Фогтам)...

Обнимаю тебя и желаю очень, чтобы ты этот день провёл весело, однако, вспоминая нас, да вспоминая и мамашу... Чем больше я думаю и живу, тем яснее я вижу, что за огромное несчастье вам всем её смерть.

Прощай...

ПИСЬМО К СЫНУ¹⁶⁰⁾

10 июля 1859

... Я как-то на днях, думая о разных случайностях, начал писать тебе записку на случай моей смерти. Главное, что я желаю от вашей жизни, ты знаешь; но я хотел вменить тебе в обязанность, несмотря ни на какие твои занятия, непременно продолжать русское книгопечатание за границей, даже в случае смерти Огарёва, который, как ты знаешь, действительно, ваш второй отец и истинный друг. Безусловная любовь к нему — лучшая память, какая возможна обо мне...

ПИСЬМО К СЫНУ¹⁶¹⁾

7 февраля 1860

Не будем длить этой переписки, т. е. об этом, и оставим главные вопросы до того времени, когда ты всеми силами ума и сердца поймёшь задачу. Ты своего положения не понимаешь — это ясно. Быть свободным человеком — вещь очень хорошая и совершенно отрицательная¹⁶²⁾.

*) А между тем.

Высокое значение всей истории — страстная борьба. И наука может быть борьбой, мучением и величайшим благом, но только, когда она входит в душу с своими вопросами на жизнь и смерть. Когда ты порядком вчитаешься в «Фауста», то поймёшь, как Гёте ярко разграничил учёного à la Каченовский — Вагнера, и мыслителя, à la Огарёв — Фауста. И это не всё. Чем смелее, чем безумнее человек чертит своё будущее, тем шире становится он.

Неужели у тебя недостаёт любопытства узнать, положить пальцы в раны той страны, которая теперь становится задачей для всех дальновидных умов? Швейцария — место покоя, учёной работы, но она не может дышать свободно, она вся под влиянием Наполеона, даже Австрии; про остальную Европу и говорить нечего, а потому я совершенно понимаю Шурца, который ушёл в Америку, и совершенно не понимаю русского, который из сурово-юного хаоса идёт в хаос гнилого разложения. Твоё действительное несчастье и в котором ты не несёшь никакой ответственности, — это твоя оторванность от всякой традиции; у тебя нет той *Natur gewandt**), которая даёт национальную физиономию, цвет и стремления. Ты бесспорно выиграл тем, что из общества Дом¹⁶³) и Бокз¹⁶⁴) перешёл в чистую семью¹⁶⁵), но окончательно потеряешь свою физиономию, и это оттого, что она не была круто завернута, а не была таковой оттого, что ты вёл пусто-рассеянную жизнь и не понимал дела, возле тебя подымавшегося.

Татьяна Петровна¹⁶⁶) писала мне из Гейдельб., что разные важные (финансовые) дела требовали бы чьего-нибудь присутствия в России. Может, не дурно было бы тебе съездить в 21 год, разумеется, узнав прежде, как уехать. Впрочем, тебя теснить не будут, это пока совсем не в духе Алекс. Я на твоём месте прожил бы там года два-три, присмотрелся бы к иной арене. Подумай об этом.

Что касается до последнего твоего признания, я одного не понимаю: как его *quadre***) с тем, что ты мне в Лондоне говорил¹⁶⁶).

Помни одно, что те чувства только святы, которые прошли горнило лет, испытаний и не кончаются, меняясь с географическим перемещением и временем года.

Помни и то, что жизнь не начинается, а завершается покоем. Затем обнимаю тебя.

Тата не знает, что я пишу. Я продолжаю быть довольным ею. У ней больше той физиономии, о которой я говорю, чем у тебя.

Кланяйся всем.

*) Природной силы.

**) Согласить.

Любезный Саша, и новое письмо твоё меня сильно огорчило. Ты не понимаешь ни меня, ни жизни... идёшь увлечениями и дошёл до безумия — жениться в 20 лет.

Изведал ли ты своё чувство? был ли у тебя искусе? выработал ли ты годами, искушениями закал твоему чувству? Ничего подобного. Второгодичный студент, женатый в pendant к твоему товарищу из милиции. Жизнь, начинающаяся с конца, жизнь без борьбы... Семейная жизнь — гавань, а тебе надобно плыть.

Да тут замешан и не ты один; ты влечёшь в нелепый (по летам) брак девушку. Ну, а если ты через два года её разлюбишь? Где доказательства твоего твёрдого постоянства? И что мы за немцы: зачем все Фогты знают это? Сильное чувство сильно, скромно и не высказывается. Я тут вижу ряд несчастий для тебя и для себя, а потому, как друг и как отец, я тебе скажу со всею откровенностью моё мнение. Я считаю безумием и патентом на пошлую или несчастную жизнь жениться студентом 20 лет.

Если ты в самом деле имеешь истинное чувство, то оно проживёт и до 25. Раньше 25-я*), что касается до меня, не дам моего согласия, и это потому, что моя совесть, мой опыт и мой разум согласны. Нетерпеливые чувства подозрительны. Для того, чтоб испытать себя, сделай усилие над собой и жертву — жертву не одной любви ко мне, но доверию. Так как мной не руководит в моём мнении об этом никакая мысль, кроме твоего счастья (которое ты должен взять в свои руки, но, по крайней мере, не ранее, как сойдя с ученической лавки и взглянувши на свет), то ты и прими это за последний совет и за совет неизменяемый. Жалею, что я не могу старушке Фогт рассказать, что я пишу: она поняла бы меня, я уверен.

Я столько же говорю для близкой ей девушки, как для тебя. Нелепость, комизм начинать первую главу жизни браком — бросается в глаза.

Не говорю уже о том, какой гибельный пример для Таты — тогда и её воспитание окончено и почему же ей не идти замуж 16 лет...

Ты думаешь, что я сержусь за то-то и за то-то, например, что ты не едешь (не зная, можно ли возвратиться, я бы и опыта не сделал) в Россию, — совсем нет. Я сержусь, что всё здание, которое я строил в мечтах о вашей жизни, мало-помалу осаживается, а может, и рухнет... и пойдёте вы маленькими тропинками... А какое же на это доказательство? Да вот, например: сколько я толковал, а ты не чувствуешь, что в России идёт борьба, и что эта борьба отталкивает слабых, а сильных именно потому и влечёт она, что это — борьба на смерть. Что ты ссы-

*) Двадцатипятилетия.

лаешься на письмо в «Кол.»? Разве он его окончил тем, чтобы бежать или лечь спать. Он его окончил боевым криком.

На днях будет в Берне Серно-Соловьевич (брат того, который приезжал в прошед. году). Посмотри на упорную энергию его; это тот самый, который был у Александра II и написал ему, что дело освобождения не идёт.

Мне казалось, что я в прошлом письме к тебе писал, что ты скверно делаешь, что не пишешь к Тате. Что ты не исполнил моего желания, свидетельствует о той же распущенности, о которой я писал.

Прощай.

ПИСЬМО К СЫНУ¹⁶⁸⁾

20 апреля 1860

...Теперь я должен обратить твоё внимание на ошибку, которую ты можешь сделать и которая меня огорчит. Почему и на каком основании ты пишешь, чтоб я Тату послал с Урихом¹⁶⁹⁾? да я вообще не знаю, с какой стати он придет ко мне. Неужели ты до сих пор так мало меня знаешь, что можешь думать, что я из чего бы то ни было стал принимать и сближаться с каким-нибудь slaveholder'ом*), и притом добровольным (не в наследство же ему досталось именье, как нам всем в России). Стало быть, ни после, ни прежде я с этими людьми ничего общего иметь не хочу, кроме внешней учтивости.

И это не всё. Я того же требую от тебя. Ты должен открыто и просто заявить им своё мнение. Таких уступок люди не делают — помни об этом. Я знаю, что есть добрые люди, которые умеют ладить с богом и чортом, но знаю и то, какую силу и какой покой даёт нравственная чистота. Ни любовь, ни какое иное чувство не дают права на такого рода уступки. Ты об этом очень подумай. Тут с моей стороны ты встретишь непреклонную волю. Преступления родителей не переходят на детей... но и не прощаются им за детей...

Засим на сей раз прощай.

ПИСЬМО К М. МЕЙЗЕНБУГ¹⁷⁰⁾

29 мая 1860

«Бригадир, вы совершенно правы!»... Это единственное, дорогая Мальвида, что я могу вам сказать. Ещё раз, ваше письмо это — ваш нравственный портрет: читая его, я улыбнулся по-дружески. Позволяю себе лишь одну маленькую поправку. Не скептицизма, не сомнений ищешь у молодого поколения, а серьёзности, великих открытых вопросов, зуда правды. Вот это даёт нравственное единство, ваше бессмертие души; без этого нет инициативы, нет ничего определённого. Говорю это вам в скоб-

*) Рабовладелец.

ках, потому что в основном я с вами согласен. Ваш идеализм, или вернее, ваша способность увлекаться состоит в том, что вы очень хорошо схватываете прекрасные возможности, и этого для вас достаточно: вы принимаете семязодолы за плоды. Докажите, что это не верно.

Перед вами громадная задача — направьте по верному пути ум Ольги¹¹¹), спасите её от хаотической рассеянности, чтобы она была положительна; она нуждается не в скептицизме, а в мышлении, в правильных занятиях и в руководстве её поведением. Прекрасные возможности налицо, но лишь в потенциальном состоянии, а несчастье всякой «возможности» — это возможность неудачи.

Теперь, чтобы этого достигнуть (дать правильное направление уму), не следует отправляться от сложного, но начинать с элементарного, с механизма памяти. Я утверждаю, что не выйдет ровно ничего, если вам предварительно не удастся научить её бегло читать и по-человечески писать, — это должно быть взято с боя, вполне проделано, а потом уж принимайтесь за философию и за эстетику. Если захотите меня понять, вы догадаетесь, что я называю «идеализмом» в вас, и, быть может, издавка согласитесь со мной. Ещё слово. Исходя из теории «прекрасных возможностей», вы думаете, что для Ольги нужно необыкновенное воспитание. Прежде я думал то же самое относительно всех детей, — нужно время. Будьте глубоко уверены, что на свете нет ничего хуже «заранее обдуманного необыкновенного».

Подумайте, хорошенько подумайте. Старый брюзга из Лондона не всегда неправ.

За сим, как истинный друг, жму руку — даже обе, если хотите.

А здоровье как?

ПИСЬМО К СЫНУ¹⁷³)

7 июня 1860

Любезный Саша, много и много придётся мне толковать прежде, чем ты вполне оценишь мои советы и моё желание. Слушай с начала. Я очень ясно и очень хорошо понял, что личная жизнь моя окончилась бурями и ударами 1852 года. Ты помнишь, я тебе читал в моих записках*), как много просила меня мамаша спасти вас, брошенных политическими обстоятельствами в совершенно чужой мир. Я дал обет и сдержал его. Для меня остались в мире две задачи: моя русская деятельность и ваше развитие. Одна удалась вполне, и работа, жертвы — всё вознаградилось успехом. От вашего развития я жду много; но тут я не умел¹⁷³) сделать то, что хотел. Из тебя вышел иностранец.

Но это не всё. У меня остаётся большая надежда на Тату, — последние мечты, которыми я липну к семье, к воспоминаниям.

*) В V части «Былого и дум».

Думал ли ты, приглашая её на некоторое время, что ты можешь мне разбить и это упование? чтобы не развивать в ней преждевременной страстности. Твой пример гибелен для неё. И ты, несколько не думавши ни обо мне, ни об ней, хочешь, боясь обидеть *susceptibility**) старушки и желая познакомить Тату, хочешь, чтобы она была свидетельницей девочки тех же лет, помолвленной и собирающейся идти замуж. Мне становится до такой степени страшно, что я себя спрашиваю в иную минуту: да исполнил ли я обет, данный у постели умирающей? Умри я через месяц, и этот венок весь распухнет в бедную огородную жизнь. Я видел у Наташи уже поползновения, не нравившиеся мне, а ты *de gaieté de cœur***) хочешь ей дать *coup de grâce****). Ты не думал об этом, — зачем не думал?

А потому насчёт её остаётся всё попрежнему. Когда начнутся вакации, если она до тех пор не приедет с Сатиным в Швейцарию, ты за ней приедешь, можешь провести от 10 до двух недель в Берне и ехать сюда к 15 августа.

Письмо это я тебя искренно прошу прочесть десять раз прежде ответа, да и вообще положи его особо. Если ты не понимаешь его, мне будет больно — оно покажет нашу даль. Ответ я посылаю, а лучше, если б этого письма не было, — отвечать трудно...

ПИСЬМО К М. К. РЕЙХЕЛЬ¹⁷⁴)

7 июля 1860

Жду от вас большого подробного письма. Пока напомню Вам о немедленном начале уроков рисования и притом у хорошего мастера. Рейхеля тоже прошу снискать клавикордой¹⁷⁵).

Я очень желал бы вашего мнения (откровенного) о Тате. Мне смертельно хотелось бы её развить в русскую девушку и притом с серьёзным артистическим направлением (Огар. писал вам с ней об этом). Я Сашей вообще доволен, но он швейцарец — и этого не поправишь. Хотелось бы иначе повести Тату и Ольгу, но сил нехватает, да и способностей нет.

Вот в этом-то вы и должны мне помочь нравственным влиянием, развитием; в Наташе больше и больше понятия не только своего положения вообще, но и того важного значения, которое она и дети имеют в моей жизни...

Isle of Wight меня тоже начинает ужасать неистовым множеством русских, которые туда едут. Это и для детей и для нас — гибельная праздность. Ума не приложу, что делать.

Кабы вырваться из Англии, — так нет, атанде! Может, я поеду на другое место, к морю...

*) Чувствительность.

**) По собственной охоте.

***) Последний удар, которым убивают с целью сократить страдания.

ПИСЬМО К СЫНУ¹⁷⁶⁾

21 марта 1861

Geehrtester Herr Sohn und Medicinae et Chirurgiae Doctor*).

Письмо твоё, разумеется, нас очень обрадовало, хотя я кое-что ждал в этом роде, по одному выражению Фогта¹⁷⁷⁾. Ты знаешь, что дипломом оканчивается школьное учение и начинается самобытное занятие наукой.

Советую тебе очень отдохнуть от усиленных занятий.

Теперь, друг мой и доктор, на досуге рассуди сам с собой тихо, кротко и всесторонне, зачем ты едешь в Тринидад. Я тебе вперёд говорю, что я не поставлю материального препятствия, а прошу тебя обратить внимание на пустоту этой поездки. Ты года через два женишься, т. е. на худой конец имеешь перед собой лет тридцать семейной жизни. Для чего же ты натягиваешь ещё год, с океанным путешествием, с климатом жарким и пр.?

Я не зову тебя на политическую работу, — ты не имеешь для неё ни достаточной связи с Россией, ни влечений. Но если сообразить, что весь мир не представляет теперь больше интересного зрелища, как Россия, входящая клином социального переворота в совершенно новую фазу; если подумать, что путешественнику там необъятное поле, — то я стал бы хлопотать на твоём месте о разрешении съездить в Россию и поездил бы à la Borchtcheff**).

Я тебе это предлагаю на размышление...

У нас будет праздник, может, ты успеешь к нему. Весь дом будет иллюминирован газом с надписью: 3 марта 1861.

И знамя с «Emancipation in Russia».

Обед для всех работников типографии и вечер для всех неработающих, т. е. раут... День не назначен¹⁷⁸⁾, потому что мы ждём подробности постановлений для того, чтоб знать, стоит ли Алекс. II, чтоб я предложил его тост.

Затем обнимаю тебя и посылаю следующий рескрипт:

«Господин доктор,

«Новое звание ваше обязывает вас как к покупке хирургических инструментов, так сигар и иных лекарств, — мы признали необходимым увеличить оклад ваш до пяти тысяч франков, считая со дня получения вами диплома. Остаёмся, впрочем, благосклонным к вам...»

ПИСЬМО К СЫНУ¹⁷⁹⁾

21 декабря 1861

Любезный Саша, твоё письмо, само собою разумеется, меня и тронуло, и обрадовало. Вспомни наш последний разговор перед твоим отъездом. Самое важное это, что теперь сам понимаешь вопрос — и тогда беды нет, что ты в этой стороне отстал:

*) Почтеннейший господин сын мой и доктор медицины и хирургии.

**) На манер Борщова.

ты молод, времени на работу много. Может, всего важнее, то, что ты это чувствуешь, это смирение искреннее и ведущее в даль. И как отец, и как друг, я желаю, чтоб ты этим путём шёл, чтоб я мог всегда и твёрдо опереться на тебя, и тебе завещать наше дело.

На твой вопрос о празднике мне отвечать трудно, не зная, что будет. Одно я тебе советую: веди себя как можно скромнее. Скажи, что ты одного ищешь и хочешь — сделаться русским и участвовать в предстоящем великом деле; благодари за меня, за Огарёва, — вот и всё...

Скажи нашим гейдельбергским друзьям, что я прошу обратить внимание на мою статью в «Колок.» на 1 янв. 1862. Я ещё раз решился протвердить зады и сказать до тла мнение об Европе. Заглавие «Mortuos plango»¹⁸⁰).

Письмо У. *) я прочитал... Мне и теперь кажется, что ранний брак для тебя большое несчастье, да сверх того, хотя бы я видел со стороны Э. **) сильную любовь. Впрочем, это можно только судить по письмам.

У нас всё тихо. Только у Ольги голова болит почти всякий день, а у Таты — нет. Маленькие дети процветают. Огар. печатает брошюру.

Прощай. Приезжай скорее, если ты едешь в Тринидад, если же не поедешь (что я от души желал бы), располагай временем, как хочешь.

Обнимаю тебя дружески.

ПИСЬМО К И. С. ТУРГЕНЕВУ¹⁸¹)

До 12 января 1862

Прежде, чем ты уехал в Лондон, спешу тебе дать поручение. Узнай сам или через Трубецкого¹⁸²), или через кого хочешь (Труб. можешь сказать, что я прошу его), можно ли Головнину сделать вопрос: «На каком основании мой сын, *medicinae doctor****) и натуралист, может возвратиться в Россию и снова получить там права гражданства?»

Он очень хочет; я не прочь его отпустить.

Посторонним — ни слова...

Прощай.

ПИСЬМО К СЫНУ¹⁸³)

14 июня 1862

Я твоим письмом, как оно ни грустно, очень доволен. Ты, наконец, дошёл до недовольства собой; это — первый шаг для выхода из праздно-неопределённости; у тебя начинается страх перед будущим и почти раскаяние в прошедшем. Если ты серьёзно вызовешь силу воли, если ты имеешь то, что называется

*) Урих.

**) Эмма Урих.

***) Доктор медицины.

характер, persévérance*) ты начнёшь совершеннолетнюю жизнь — учёным или артистом, политическим человеком или чем хочешь, но человеком, твёрдо идущим, на твёрдых нравственных основах, гласным, а не согласным.

Теперь, только теперь, может быть, ты поймёшь, что такое за благо, что ты можешь иметь такого друга, как Огарёв, — вот тебе рядом со мной маяк. Что его оскорбляет, против чего он, гуманнейший человек, восстаёт, того бойся.

ПИСЬМО К Н. П. ОГАРЁВУ¹⁸⁴)

17 июля 1862

...Разумеется, ты прав, но всё, что ты написал, как оно ни грустно, а не ново. А разве я тебе не писал из Ventnor, что мы С.***) научными требованиями мучили? насчёт Т.***) ты меньше прав, — она не сложилась и имеет много элементов для того, чтобы было во что сложиться. Для этого нужна женщина. Где она? Тут ни Natalie, ни Мейз. ничего не сделают. Natalie — потому, что она вся обращена на личное; Мейз. поражает меня благородной смутностью и бестолковостью... Она идёт до того, что С. и Т. видят это. Больно, досадно, но *pas de remède****)* вынести натуре хорошо... способствовать надобно.

Твоё влияние сильно и кротко. Застенчивость, робость (в этом отношении — попущение *laisser aller*). Я, действительно, не думал, чтобы ты был в состоянии давать уроки, — захотел и даёшь. Какой-нибудь час или два серьёзного разговора в неделю очень важно. Инициативы ты не разовьёшь, но известный диапазон благородства возможен, известная серьёзность. Жизнь наша дурно устроена; она вся рассчитана для нас и устроена так, чтобы молодому поколению досталось пиццеварение, усталость, «вечером не расположен», etc., etc. ... Да может иначе и нельзя, может, но тогда надобно аксептировать*****), и без последствий. В частной жизни я печально смотрю вперёд. Никого нет виноватого, никого нет правого... Мы, наиболее ответственные, дадим друг другу руку на помощь всем. Вот и всё...

И прощай.

ПИСЬМО К Н. П. ОГАРЁВУ¹⁸⁵)

18 августа 1862, четверг

Мы переезжаем сюда, в Swiss Cottage, т. е. я и Саша, а дети — в новый дом Melbourne House и Nat. с ними, а Мейз. остаётся в Pelhame. Всё это довольно глупо, но поумнее, чем прежде¹⁸⁶).

*) Упорство.

**) Саша — сын.

***) Тата — дочь.

*****) Нет никакого средства.

*****) Принять.

Лиза¹⁸⁷⁾ в первую минуту меня дичилась, а Сашу боялась, но через полчаса со мной пошла такая дружба, что просто не отходит и плачет, если я за дверь. Она совершенно здорова и поджарилась на солнце.

Разговоров у нас было немного, — есть тень раскаяния или неудовольствие собой, есть, пожалуй, и надежды; вообще, всё шло кротко и тепло, но одно остаётся неизменно: ни N, ни Мейзенб. не могут никогда научиться воспитывать детей. Всё делают они, чтобы их портить. Это — истинное несчастье, и не придумаю, что делать. Мейз. видит сама, *cela cloche**); она хочет прожить одна для купанья две недели...

Я думаю, что мир и гармония между нами водворятся, да почти уверен в этом, но на детском вопросе всё может срезаться. Полагай всю веру на меня, на моё искреннее желание излечить N. Как теперь идёт дело — может много хорошего выйти.

Лиза любит Боткина. Птица моя произвела фурор: она тряслась над ней и в ту же минуту изодрала. Негр понравился; она не тряслась над ним, но казнь была сделана в сутки.

Прощай. Дети¹⁸⁸⁾ умоляют остаться подольше. Может, съезжу один в Лондон.

ПИСЬМО К Н. А. ГЕРЦЕН¹⁸⁹⁾

22 октября 1862, вторник

Милая Тата, я чрезвычайно доволен твоим письмом к Огарёву, доволен всем в нём: и теплотой чувства и пониманием; доволен я и тем, что ты, наконец, поняла (и не много надобно было тебе времени на это), что всё же эти хорошие люди — люди чужие. Я знаю, что наша полумонастырская, полуклубная жизнь не может удовлетворить всем молодым потребностям, но, проживши в ней, ты будешь чувствовать тесноту всякой другой жизни. Саша и даже Мейз. увлекаются наружным порядком, и я бы его любил, если б легко он доставался, но он покупается очень дорого... Итак, друг мой, оставайся в душе русской девушкой и храни в себе это чувство родства и сочувствия к нашей форме.

Второй пункт твоей религии да будет искусство. Помни, что дни твоей жизни в Брюсселе сочтены. Лови каждую минуту и помни: этот случай не представится больше...

Прощай.

Папа не римский.

*) Это не то.

ПИСЬМО К А. Ф. ФРИКЕНУ¹⁹⁰⁾

3 декабря 1862

Письмо Ваше я получил и очень, очень благодарен Вам. Так как вы уже решились меня одолжить, то я беру **Вас за слово**, и буду прямо и просто просить Вас о следующем. Семейство моё едет 15 декабря через Париж, Ниццу... Они останутся в Hôtel du Nord. Если Вы будете иметь на примете очень небольшую квартиру: две спальни, одну для горничной, залу и столовую, то это за глаза довольно. Денег у меня на этот год мало; Америка сильно пришибает, и я не знаю, как выпутаться, а поэтому они должны жить скромно, и не только поэтому, — и тут-то я прошу наибольшую услугу Вашу.

Я отпускаю мою дочь в Италию единственно потому, что в последнее время, особенно под руководством такого великого художника, как Callait, она показала большие способности к живописи; она едет для серьёзных студий, — только потому я решился её отпустить. Поэтому сделайте мне дружескую услугу и отстраните, во-первых, всю русскую колонию, а во-вторых, колонии всех наций от них. Нет в мире ничего инкомпатибельнее*), как занятия, сопряжённые с рассеянностью пустых знакомств. Я Вас знаю за очень серьёзного человека и потому верю, что Вы захотите мне помочь в этом. Моё искреннее желание, чтобы они жили совершенно по-монастырски. Кашперов рекомендует певца Кондратьева¹⁹¹⁾. Что он? Можно ли дёшево иметь уроки французского языка и музыки? Прощайте. Простите — и впредь не предлагайте злодеям ваших услуг...

А. Герцен.

ПИСЬМО К Н. А. ГЕРЦЕНУ¹⁹²⁾

5—10 декабря 1862, Лондон

Милая моя Тата, десять лет тому назад я провожал тебя и Ольгу на Варский мост, — вы ехали с Мар. Касп. из Ниццы в Париж после похорон... Тебе было восемь лет; прощаясь, ты стала плакать; я дал тебе два франка, и ты утешилась тем, что купишь много...**) на них.

Вы поехали, мы пошли назад через мост, сели в коляску и поехали туда, где я жил, так сказано в записной книге моей. «Дома у меня больше не было; с вашего отъезда всё приняло холостой вид. Половина комнат была заперта. Один Саша напоминал возрастом и чертами, что тут была другая жизнь, напоминал кого-то отсутствующего».

И она, та, которая отсутствовала, говорила мне за сутки до своей кончины: «Береги Тату; с ней надобно быть осторожным, это — натура глубокая и несообщительная».

*) Несовместимый.

**) Слово не разобрано. — М. III.

Судьба тебя сберегла больше, чем я. Бедна любовь отца в сравнении с материнской болью о ребёнке. Так ли, иначе ли, но хорошо, что ты со здоровой душой выходишь из ребячества.

И вот, через 10 лет, я опять провожаю тебя вдаль, тебя и Ольгу¹⁹³). Тебе 18 лет. В Америке девушки твоих лет действуют самобытно, занимаются делами, путешествуют совершенно одни и не теряются так жалко и беспомощно при всякой случайности, как наши барышни.

Твоё сиротство, Тата, рано приучило тебя становиться на свои ноги. За тобой не следил с любовью и страхом взгляд матери, радуясь тебе и боясь ошибки, ободряя, предупреждая, вступаясь за тебя. Жаль тебя, но, друг мой, в наше время, в нашей среде крепость и сила — великое дело, великое освобождение.

Я не отпустил бы тебя в Италию, если б не верил в твой характер и такт. Поговорим же о твоём путешествии; из моих слов ты увидишь, чего я жду от тебя.

Ты едешь для живописи. Талант у тебя есть, но для развития таланта необходим упорный, выдержанный труд. Ни таланта, ни любви к искусству недостаточно, чтоб сделаться художником; один труд в соединении с ним может что-нибудь сделать. Без работы можно быть дилетантом, а мастером-художником никогда. Итак, работа должна господствовать над всем в твоей жизни во Флоренции. Привычка к работе — дело нравственной гигиены. Для работы надо жертвовать многим, без сомнения. Но ведь истинной любви, вообще, нет без жертвы, и там, где любовь к чему бы то ни было истинна, там жертва легка. К тому же искусство не так, как боги, которым тоже люди не умеют поклоняться иначе, как жертвоприношениями: оно требует мало, а даёт очень много.

Оно требует сосредоточенности и исключения пустой суеты и тревоги праздной жизни.

Для этого необходимо как можно меньше иметь сношений с людьми, ничем не занимающимися, с людьми, пропадающими от скуки, т. е. пустейшими из пустейших. В эстетическом отдыхе от работы недостатка не будет; во Флоренции, может, встретятся два-три знакомых дельных и занимающихся. Само собой разумеется, что от них не надо бежать, но, скажу откровенно, лучше и их не искать. От первых дней вашего приезда будет зависеть всё остальное время. Если в самом начале ты не сумеешь поставить свою работу независимо от внешних помех, ты не сладишь впоследствии.

Люди, вовсе не думая, по лени и небрежности накладывают на себя совершенно ненужные вериги внешних обязанностей и с ропотом таскают их потом, не имея силы порвать их; это смешно и слабо «les exigences du monde»*) в самом деле не требуют столько; свет очень принимает всякую самобытную волю, когда она

*) Светские требования.

является наивно и просто, не как упрёк и не как порицание. И потому не ссылайся на внешние невозможности; устроиться так или иначе зависит от себя.

Теперь перехожу к другому предмету, близкому мне. На тебе лежит святая обязанность относительно Ольги. Вы будете дома с ней почти одни; воспользуйся этим временем, чтоб теплее сблизиться. Ольга очень жива и, вследствие этого, резва через край. Ты ещё настолько молода, что не имеешь терпимости совершеннолетия. Я не виню тебя за это, но думаю, что тебе на это надобно обратить внимание. Шалости её с годами пройдут; но если вы успеете горячо сблизиться, сближение это не пройдёт. Для Ольги ты представляешь семью, её предания, даже родину; умей, друг мой, становиться выше детской шалости. Учи её непременно по-русски, — этого я требую. Об Ольге и твоей работе пиши мне всякий раз и довольно подробно; время на это найдётся.

Я хотел, чтоб вы ехали в Ниццу. Я хотел, чтобы, вступая в Италию, в новый отдел жизни, ты посетила нашу могилу, чтоб ты привела туда Ольгу и вместе с благоговением поклонились земле, под которой схоронена ваша мать, цветам, растущим на ней.

Ольга не знала её почти совсем, а ты немного знала... «Мне ужасно, — писала она в одном из предсмертных писем, — думать, что дети не будут знать меня!..» «Они будут тебя знать», — отвечал я много раз. И вы узнали её. Пока верьте мне: это была великая женщина и по мысли, и по сердцу, и по бесконечной поэзии всего бытия её.

Прощайте, Тата и Ольга; именем своим и именем покойной матери благословляю вас на ваш путь... Буду с трепетным сердцем ждать вестей, буду думать об вас, и да будет жизнь ваша в Италии полна кротости, мира и гармонии и проникнута серьёзной любовью к искусству.

Обнимаю вас дружески и горячо. Берегите себя не только для себя, но и для меня.

Ваш отец.

ПИСЬМО К М. МЕЙЗЕНБУГ¹⁹⁴)

12 марта 1863

... В письме к Тате вы прочтёте о всех наших планах и о датах отъездов. Вам нечего опасаться внезапной разлуки с Колизеем, священной конгрегации и т. д. Радуюсь, что занятия Ольги идут хорошо. Хотел бы только знать, смотрите ли вы на неё глазами любви, или глазами критики.

Русские письма и даже извинение Таты внушают мне скептицизм. Я вас попрошу о следующем: оставив в стороне историю, искусства, географию и всё прочее, спросите себя, во-первых, говорит ли она в настоящее время бегло хотя бы на одном каком-ни-

будь языке? Во-вторых, пишет ли она достаточно правильно, хотя бы на одном каком-нибудь языке? Умеет ли она делать сложение и остальные три действия? Если она делает успехи во всём этом, то это успех несомненный. Остальное придёт со временем, и это остальное трудно констатировать. Скептику во всём, разрешите мне, дорогая римлянка, быть скептиком в том, что касается успехов.

Прощайте. Следующее письмо будет из Парижа...

Ваш белый негр и друг.

ПИСЬМО К СТАРШИМ ДОЧЕРЯМ¹⁹⁵⁾

15 апреля 1864

Милая Тата...

Мне хочется, и очень, пожить хоть год с вами; долгие разлуки всё же отдаляют, и притом старость не имеет слишком материала на разлуку. Мне внутреннее чувство говорит, что ты хочешь, после долгого скитания, пожить в нашей среде, со мной; теперь тебе все интересы мои доступнее, и ты уже не маленькой девочкой, а товарищем входишь в дом. Напрасно я вас передвигать не стану; если можно, сам приеду... *no haben sie warten gelernt**)...

Ты, несмотря на мои вопросы, ничего не пишешь об Ольге и её русских занятиях.

Да и сама ты, Ольга, могла бы писать больше, — не так же ты занята, чтоб не могла приписать несколько строк, и притом пиши ко мне всегда по-русски. Лиза видела Г.**).

Natalie и Ага целуют вас и милуют.

ПИСЬМО К Н. П. ОГАРЁВУ¹⁹⁶⁾

3 декабря 1864

Трактир на ул. Кастильи

Ещё дрожат руки и внутренности. Я затерял письмо к тебе и пишу другое, съездивши за доктором.

У Лёли взрезали трахею. Я держал её голову — и не сморел. Пот с меня лил. На первую минуту она спасена — в минуту агонии. Но, если останется живой, это — чудо.

И Бой хворает¹⁹⁷⁾.

Сегодня явилась Салиас. Она пришла в минуту, когда Лёля отходила, и осталась во время операции. Лёля жива — вот и всё.

Одно письмо получил твоё от Левицкого, другое не могу найти: я его нераспечатанным потерял.

*) Научились ли вы ждать?

**) Гарибальди.

ПИСЬМО К СЫНУ¹⁹⁸⁾

4 декабря 1864

Саша, вчера в 12 часов ночи скончалась Лёля в дифтерии... Что это была за удивительная натура, я узнал только в её болезнь... Нат. совершенно убита. Она ходила за ней — с самоотвержением матери, поднявшей её снова над мелочами.

Бой занемог.

Прощай.

Пиши на имя Левицкого.

ПИСЬМО К С. ТХОРЖЕВСКОМУ¹⁹⁹⁾

4 декабря 1864

Любезный Тхоржевский²⁰⁰⁾, бедная Лёля скончалась сегодня в 12 часов ночи от дифтерии. Передайте письмо Огарёву. Я ему писал о её безнадёжном положении, но всё же, отдайте записку осторожно и напишите, как он принял весть.

Сегодня занемог Бой, — не говорите этого.

Вещи пришли. Прощайте.

Нат. Ал. ближе к смерти, чем к жизни.

ПИСЬМО К Н. А. ГЕРЦЕН и М. МЕЙЗЕНБУГ²⁰¹⁾

18—19 декабря 1864,
Монпелье

Дорогая Тата и дорогая Мальвида!

Какую мрачную и страшную страницу я пережил, все мы пережили, трудно сказать вам это. Я присутствовал при ужасающем зрелище самой жестокой смерти — смерти от удушья этих двух детей. Я держал девочку во время операции трахеотомии и закрыл глаза мальчику... Всё это сразу, удар за ударом... как сон... Огарёв — больной, бледный, упавший в обморок, когда началась агония. Обезумевшая мать, почти потерявшая сознание, усланная врачами из дому для спасения Лизы. Добрый Тхоржевский, потрясённый, со слезами на глазах...

Ничтожные горести последнего времени исчезли при этих ударах молний, чумы, бессмысленности... Бедняжки, они умерли в полном сознании, чувствуя смерть, чувствуя, что нехватало им дыхания, и умолая о спасении.

Лиза спасена. У неё начиналась ангина, но повлияла ли быстрая и внезапная перемена климата, или болезнь была слабее, но она быстро выздоровела и вчера встала уже с постели.

ПИСЬМО К СЫНУ И Н. А. ГЕРЦЕН²⁰²⁾

28 июня 1865

Дела наши немножко здесь идут туманнее. Как необыкновенно полезно, что я здесь сам, школа хороша²⁰³⁾, могла бы отлично *faire notre affaire**), но локаль**), содержание и присмотр у Фрелиха никуда не годятся. Скверно кормят детей, скверно содержат; они тайком пьют чай зимой, чтоб отогреться; комнаты не топлённые; я не возьму ни на свою совесть, ни на свою любовь к Ольге её так бросить. Вот тебе и подводный камень, и без Мейзенбуг ничего не сделаешь. А ей, кажется, хотелось бы сразу переменить, решившись. Немецкое скряжничество мне было уже известно из спора одной русской дамы с гейдельбергским содержанием. Я хочу завтра ультиматума для того, чтоб в субботу ехать (а если можно, в пятницу в ночь); думаю даже остановиться в Лозанне и там взглянуть на школы.

Не странно ли, Ольга всех больше хочет остаться, но это из камрадерии***).

Она продолжает вести себя превосходно — и притом не только, когда она с нами, но и с двумя девочками...

ПИСЬМО К ЛИЗЕ²⁰⁴⁾

21 мая 1866, понедельник

Милая Лиза, завтра неделя, что ты ходишь в детский сад; напиши мне, что ты делаешь и как тебе нравится; представляла ли ты *le lapin, qui avait du chagrin*****) и делала ли ру-ру-ру, как голуби?²⁰⁵⁾ У нас плохо. У Таты страшно болят зубы, больше прежнего. Я её привезу к вашему дантисту. У меня вчера весь день болела голова. На дворе стужа.

Прощай, слушайся маму, чтоб, когда я приеду, я мог удивиться и сказать: «вот какая стала умная Лизуточка».

Тата целует тебя; у неё сделался нарыв. Тхоржевский кланяется...

ПИСЬМО К О. А. ГЕРЦЕН²⁰⁶⁾

18 сентября 1866

А я, всё-таки, не могу привыкнуть писать к тебе, милая Ольга, по-французски. Мне как будто стыдно, что ты не знаешь по-русски или мало знаешь, хотя вина это и не твоя.

Ну вот сначала едут к вам дней через пять... шесть в авангарде Саша и Тата. Ты тотчас заставь Тату петь.

Затем, может через месяц, и я приеду к вам.

Прощай, целую тебя.

*) Устроить наши дела.

**) Помещение.

***) Чувства товарищества.

****) Огорчённого кролика.

ПИСЬМО К М. МЕЙЗЕНБУГ²⁰⁷)

29 ноября 1868, воскресенье

... Я посетил дома, виллы, киоски, замки, шале. Многое — за, но многое — против²⁰⁸). Цюрих — это уединение, усиленное гг. Кинкелем²⁰⁹) и Лионом; затем — Политехникум и ничего кроме Политехникума. Значит, вопрос нужно поставить таким образом: если вы ещё сохранили старую веру в оживляющее влияние моего присутствия на всё меня окружающее, если вы считаете, что единение с Ольгой чего-нибудь да стоит, тогда нет никакого сомнения, что Цюрих приемлем в том, конечно, случае, если Ольга действительно желает изучать природу (внешность которой нравится вам, но не изучение). В противном случае надо избрать другое место.

Одно остаётся неизменным — первого мая мы будем вместе. С радостью говорю вам: посмотрите, как развивается Тата, как она понимает всё человеческое. Ольга тоже пробуждается и, без всякого тщеславия с моей стороны, я думаю, что я стою немного Доманже и немного Моно²¹⁰). У Лизы большой логический талант, необыкновенный, ну а блеск её диалектики — кто научил её этому?..

ПИСЬМО К М. МЕЙЗЕНБУГ²¹¹)

15 декабря, 1868, вторник

Дрожайшая Мальвида!

Здоровье Таты восстанавливается. У неё была чёрная оспа, и она невыразимо страдала, не в обиду будь сказано, вашим докторам.

Что мне ответить на ваше письмо? Вы так же хорошо знаете моё мнение, как я — ваше. Год тому назад вы писали мне: «Ещё один год, — и я верну вам Ольгу, вполне закончив её воспитание», — а теперь вы ещё просите 2—3 года. Через два-три года она, если не остережётся, выйдет замуж — и *finita la comedia* внутреннего единения со мною. Несчастье, что она ушла из дома, но я никогда не предполагал, что она уйдёт на всю жизнь.

Я — не педант и не настаиваю ни на Цюрихе, ни на апреле, но то отдаление, в котором вы хотите держать Ольгу, кажется мне несправедливым по отношению ко мне и жестоким по отношению к Ольге (впрочем, она сейчас в таком возрасте, когда уже может высказать своё мнение). Как на лекарство, вы указываете на Флоренцию и на то обстоятельство, что в мае будет приращение семейства у Александра²¹²). Я от всей души желаю Александру семейного счастья, но чем могу быть там полезен? Разве вы не знаете, что всё там делалось вопреки моим советам, и что жизнь Алекс. будет протекать столь же раздельно (доказательство этому то, что вы не живёте вместе), как и жизнь Ольги. Я, конечно, могу как-нибудь на недельку присхать во Флоренцию. Если я говорил о Турине, то потому, что там Молешотт и другие и, кроме

того, это была уступка вам, так как я никогда не оспаривал ваших прав.

Словом, оставайтесь ещё несколько месяцев во Флоренции, по взвесьте хорошенько всё за и против бесконечной оттяжки. На Тате и на Лизе лежит отпечаток большого нравственного единения со мною. Тата — не только мой друг, но она отлично понимает, под каким углом зрения я смотрю на вещи. У Лизы тот же такт (поверьте мне), та же форма мышления. Вопрос, конечно, в том, дурно это или нет? А может быть, вы боитесь влияния национального русского духа. Но вы не Карл, не слепы²¹³), и умеренная узость других не импонирует вам.

Таково моё смиренное мнение, а засим весь ваш

А. Г.

Ольга пишет, что она с головы до ног закутана во фланель. Вы думаете, что это хорошо? А я в этом году совсем не ношу фланели.

Сейчас получено ваше письмо. 12 час.

ПИСЬМО К М. МЕЙЗЕНБУТ²¹⁴)

14 февраля 1869

Дорогая Мальвида!

...Моё желание не было чрезмерным, просьба моя была искренна. Письмо Ольги доказало мне, что было слишком поздно; признаюсь, это — жестокий удар. И мне кажется, что если бы я был на вашем месте, я бы не торопился отослать это письмо. О чём же я просил в сущности? О месяце свидания для того, чтобы нам сойтись немного. В настоящее время в моде одна французская пьеса: «Мисс Мюльтон». Это — женщина во многом виновная, и у неё дети. Её бывший муж женится на другой. Мисс Мюльтон желает, чтобы ей вернули детей; муж отказывает в этом, но дальше его бесчеловечность не идёт: «Ежегодно часть лета дети будут проводить у вас». Я просил один месяц. Кроме того, я желал, чтобы Ольга была у меня одна, даже без Таты — лишние люди мешали бы делу сближения. Она видит в этом умаление ваших прав²¹⁵), я этого не думаю. Я ей сказал, что она должна видеть в вас вторую мать, но из-за этого не следует не знать своего отца, и я на самом деле не понимаю, почему нельзя на месяц расстаться с матерью.

Ольга находится в исключительном положении: она не говорит на моём языке; значит, даже читая, она не будет знать, чем я был. Меня она, конечно, не забудет (как она совершенно забыла свою покойную мать), но и знать меня не будет. Согласитесь, что заслуженно или незаслуженно, но это тяжело. Огарёв не верит в возмездие. Слово, действительно, скверное, но последствия и сцепление обстоятельств поражают нас, как самый строгий судия.

Что делать? Претерпеть последствия. Я уверен, вы никогда не думали, что возьмёте на себя часть обязанностей Немезиды²¹⁶⁾ по отношению ко мне. Ну так вот, все принимали участие в экзекуции. Клянусь, что я не сержусь на вас, я слишком справедлив к себе; я стремился иначе повернуть свою жизнь, но потерял слишком много времени, и искупление наступило раньше, чем я ожидал.

ПИСЬМО К О. А. ГЕРЦЕН²¹⁷⁾

13 июня 1869

Дорогая Ольга!

Прошу твоего полного внимания и открытого сердца, так как собираюсь сообщить тебе весьма важное обстоятельство, которое должно оказать невероятно большое влияние на наши отношения. Оно проведёт черту между прошедшим и будущим. Оно должно нас сблизить, сделать более тесными узы, связывающие нас. Годы целые тяготит меня бремя, — твой возраст и некоторые мелкие соображения, которые всё портят, заставили меня держать от тебя в секрете, что Лиза твоя сестра, и что Натали, вы и Лиза составляете одну семью, в которой, как брат и отец, как друг и близкий родственник, остаётся Огарёв, любящий вас всех, как он любил меня и вашу мать²¹⁸⁾. Он сам тоже пишет тебе. Мы все трое долго обсуждали в Женеве этот вопрос, и Натали взяла на себя инициативу открыть тебе тайну, тяготившую нас всех. Я чувствовал себя несчастным при мысли жить вместе с тобою (чего я от всей души желаю), не рассказавши тебе правды.

Моя откровенность должна послужить тебе доказательством, что я уже не обращаюсь с тобою, как с ребёнком, что я тебя не только люблю, но и уважаю. Вот почему я желал прекращения ложного положения, которое не могло не омрачить наших отношений. Ты отлично знаешь, что я терпеть не могу французского сентиментализма, прибавлять фраз я не буду. Ограничиваюсь тем, что сказал тебе правду, а остальное — дело твоего сердца.

Моим идеалом было бы, чтобы никогда не уменьшалась взаимная любовь Огарёва и Лизы. Лиза должна соединить оба наших имени и называться Герцен-Огарёвой, она должна проникнуть сквозь всё наше существование. Лиза нас соединит и будет нашей представительницей по ту сторону гроба, она продолжит традицию нашей дружбы. Теперь совесть моя спокойна. Я сделал то, что годы целые хотел сделать. Затем, дорогая Ольга, целую тебя от всего сердца и жду твоего ответа.

Твой отец.

ПИСЬМО К М. МЕЙЗЕНБУГ²¹⁹)

23 июня 1869

Дорогая Мальвида!

Вы не можете себе представить, как я доволен тем, что избавился от лжи, которая была навязана мне не моральным чувством, но соображениями приличия, которых я не признаю и с которыми воюю. Надо было разрубить узел, и письмо Ольги очень растрогало меня своим естественным и спокойным тоном. Жду теперь вашего письма. Это ничего не изменит, но освещенные всё-таки изменятся...

Ранее получения нового адреса пишите на имя Тхоржевского или Огарёва в Женеву. Обнимаю Ольгу и благодарю её; завтра, может быть, напишу ей.

Прощайте.

ПИСЬМО К Н. П. ОГАРЁВУ²²⁰)

17 октября 1869, воскресенье

Министр Толстой сказал одному из своих приятелей: «ещё шесть лет латыни — и вы увидите, как угомонится наша молодёжь». Что хорошо, то хорошо. А это ты знаешь, что никто из профессоров по выбору не пошёл в члены катковского лицея, так что попали в Любимова, который никогда о Каткове не говорит иначе, как «они» и «их превосходительство». Общая сумма слухов из России очень разношерстна. Столичное образованное общество, говорят, падает, видимо, тоном, взглядом. Фрикен, пишет Саша, с ужасом рассказывает о голоде и о том, что богатые крестьяне, пользуясь им, скупают землю бедняков. В высших слоях не заботится никто о 1870 и переселениях. Женщины хвалят — занимаются и рвутся на волю...

ПИСЬМО К Н. П. ОГАРЁВУ²²¹)

14 января 1870, пятница

Что будет, не знаю, я — не пророк, но что история совершает свой акт здесь, и будет ли решение по + или по —, но оно будет здесь, — это ясно до очевидности²²²). А из этого ещё яснее, что до окончания V акта и до занавеси жить лучше здесь, — даже чисто зрителем. Я сильно убеждаю тебя прочесть все подробности 12-го января не только в подлом «Journal de Genève», Nat. и Malvida видели всё. Я сначала не верил, а потом провожал Тату в другое место и видел только возвращение²²³). Говорят, что сегодня приедет Ледрю-Р.²²⁴), а Ив. Сергеев.²²⁵) уже пожаловал. Вчера был у меня, не застал, сегодня я жду его утром.

Ищу квартиру на полгода; как только устроюсь, приеду в Женеву для приведения, елико возможно, к одному уровню общее воззрение²²⁶). Вопрос о твоём переезде сюда опять занимает меня.

15 января

Тургенев был, весел и здоров. У него подагра, и больше, кажется, ничего; рассказывает анекдоты; сед, как лунь.

Сегодня я расклеился: болит бок и грудь. Шарко велел сегодня полежать²²⁷). Он славный д-р.





ПРИМЕЧАНИЯ

¹⁾ «Записки одного молодого человека» — автобиографическая повесть «о себе», была начата Герценом по совету его двоюродной сестры Наталии Александровны Захарьиной, позже ставшей его женой. Герцен в письме к Наталии Александровне говорил: «Да, это поэма юности, и она хороша, юноша её не прочтёт хладнокровно, жаль, по многому не везде всё сказано» (Письмо к Н. от 30 марта 1838 г. Герцен, Полное собр. соч. и писем под редакцией Лемке, т. VII, стр. 548). В последних словах Герцен намекает на то, что по цензурным условиям сказал не всё, как хотел.

Настоящий текст печатается по изданию «Academia», Герцен, Повести и рассказы, М. 1934, в сокращённом виде; нами опущена заключительная часть «Записок», «Последний праздник дружбы».

²⁾ *Les Incas de Marmontel* — «Инки», роман французского писателя Мармонтеля о завоевании французами Перу.

³⁾ *Accent grave* и *aigu* — знаки над буквами, употребляемые во французском правописании.

⁴⁾ «Лолотта и Фанфан». Роман французского писателя Дюкре-Дюмениль (1761—1819).

⁵⁾ «Алексис, или домик в лесу». Роман того же писателя. Как и «Лолотта и Фанфан», отличается крайне запутанным сюжетом и страшными происшествиями.

⁶⁾ «Россиада». Трагедия поэта XVIII в. Сумарокова, написана в ложноклассическом стиле.

«Российский театр». Сборник пьес, драм, трагедий, издавался при СПб Академии наук в 1786—1794 гг.

⁷⁾ «Дети аббатства». Роман английской писательницы Регины Рош (1766—1845).

⁸⁾ *Aimer, être, avoir* — глаголы французской грамматики. Два последних вспомогательные, что и дало Герцену повод с изящной иронией назвать их «адьютанты».

⁹⁾ Роман «*Der Sonderling*», упоминаемый Герценом, был издан в России в 1817 г. под названием «Странный человек или Эмиль в свете». Герой романа Бургард — человек, воспитанный якобы по принципам Руссо, принижённым и опошленным автором романа. От страстной проповеди демократических идей и призывов к свободной, естественной жизни осталось только требование свободы любовного чувства от светских условностей. Однако и в таком искажённом виде идеи Руссо, переданные немецким беллетристом, способствовали оформлению в среде молодёжи протеста против сложившихся

ся устоев жизни и поведения. Этим и следует объяснить популярность романа и его автора.

¹⁰⁾ «Письмовник» Курганова во второй половине XVIII века выдержал много изданий. Был книгой для чтения и своеобразной энциклопедией. Его полное название — «Письмовник, содержащий в себе науку российского языка со многими присовокуплениями разного учебного и полезно забавного вещесловия с присовокуплением книги: неустрашимость духа, геройские подвиги и примерные анекдоты русских».

Белинский дал об этой книге в 1843 г. следующий отзыв: «Для своего времени эта книга — просто золото» (Педагогические сочинения, СПб, 1912, стр. 129).

¹¹⁾ И. А. Гейм (1758—1821), род. в Германии. В 1779 г., как гувернёр семьи аристократа А. А. Лопухина, переселился в Россию. Позже стал профессором Московского университета и инспектором Благородного пансиона при университете. Преподавал историю и статистику. Составил «Руководство к коммерческой науке» (М., 1840 г.) и «Начертание всеобщего землеописания» (М., 1811, 1817 и 1819 гг.). Герцен говорит об этой последней учебной книге, изданной в 1822 г. в сокращённом виде директором Московского Коммерческого училища Каменецким. Замечание Герцена об Австралии, «только для баланса выдуманной части света», свидетельствующее об его ироническом отношении к официальным учебникам, навелю следующими строками учебника: «первые 4 части света суть твёрдые земли, а последняя состоит из множества островов, из коих один только главный, новую Голландию, по его величине некоторые причисляют к материкам».

¹²⁾ Ъ — ять, буква, употреблявшаяся в русском правописании.

¹³⁾ Фигуры, метафоры, хрии — термины и понятия риторики, одного из основных учебных предметов школьного и домашнего обучения в России. Тредьяковский и Сумароков, а вслед за ними авторы учебников риторики 20—30-х годов XIX в., называли её «наукой изобретать — располагать и выражать мысли». Риторика представляла собой теорию красноречия, свод правил, как красиво говорить и писать, а также сочинять прозаические и поэтические произведения по правилам эстетики ложноклассицизма. Хрия — речь, построенная по правилам риторики.

¹⁴⁾ Петрозиллиусова поэма «О фарфоре» — произведение Иоганна Берпгарда Петрозиллиуса, помощника библиотекаря Московского университета, воспитателя и учителя А. С. Грибоедова.

¹⁵⁾ Роландо-Риландини — каламбур, построенный на соединении имён Ринальдо-Ринальдини и Роланда — героя французского средневекового эпоса. Получается как бы маленький Роланд.

¹⁶⁾ «Вакесфильдский священник» или по другим изданиям «Векфильдский священник». Роман английского писателя Гольдсмита (1728—1774), пользовавшийся в своё время большим успехом. Белинский в специальной рецензии резко критиковал мечтательность, слащавость, оторванность от действительной жизни, воспевавшиеся в этом романе (Белинский, Пед. соч., стр. 214—216).

¹⁷⁾ «Нума Помпилий». Роман Флорнана (1755—1794), представителя французского сентиментализма. В романе пропагандировалась идея просвещённого абсолютизма.

¹⁸) Анахарсис — легендарный скиф, совершивший путешествие в Грецию. Герой скучного и тягучего произведения французского археолога Бартелями (1716—1795) под заглавием «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию».

¹⁹) Курций и Сцевола — герои Рима по древним преданиям, пожертвовавшие собой для спасения родины. Герцен подчёркивает, что даже такие легендарные сведения о патриотических действиях людей (наука не обнаружила географического места пропасти, в которую бросился Курций) производят впечатление на юные души.

²⁰) *Парфенон* — храм богини Афины, лучший памятник греческой архитектуры.

²¹) *Коринф* — важнейший торговый город древней Греции, славившийся колоннами древнего храма.

²²) Тридцатилетняя война в Германии с 1618 по 1648 г. между католиками и протестантами за освобождение от католического гнёта и феодальной эксплуатации. В этой войне часто немцы — как католики, так и протестанты — стремились к порабощению соседних народов (например чехов), исповедывавших другую религию.

²³) Герцен цитирует 1-е письмо Юлия к Рафаилу, точнее, к Рафаэлю, из философских писем Шиллера, написанных в форме переписки двух друзей Юлия и Рафаэля.

²⁴) *Агатон* — древнегреческий поэт, друг Еврипида и Платона. Этим именем Карамзин называл своего друга А. А. Петрова. Герцен цитирует место из элегической статьи Карамзина «Цветок на гроб моего Агатона».

²⁵) Здесь напечатаны с сокращениями следующие главы «Былого и дум»: ч. I, гл. I, II, III, IV, VI, VII; ч. III, гл. XX, XXIV; ч. IV, гл. XXV; ч. VI, гл. LIX по изданию: Герцен, Былое и думы, тт. I—V, Гослитиздат, М. 1937.

²⁶) Книга в четырёх томах с 100 гравюрами аллегорического содержания переведена Иваном Хмельницким с немецкого под заглавием «Свет, зримый в лицах, или величие и многообразность жиздителей намерений, открывающиеся в природе и во нравах, объяснённые физическим и нравственным изображениями, украшенными достойных сих предметов словом, в пользу великого состояния людей, а наипаче молодым витиям, стихотворцам, живописцам и другим художникам».

²⁷) Герцен узнал из слов окружающих о том, что его отец и мать не были обвенчаны и, следовательно, сын считался «незаконнорожденным».

²⁸) *Бакай* — кучер в доме И. А. Яковлева.

²⁹) *Терновский* — профессор богословия в Московском университете.

³⁰) Речь идёт о восстании декабристов, сыгравшем огромную роль в жизни и формировании Герцена.

³¹) *Subjonctif* — сослагательное наклонение во французском языке.

³²) Платон Богданович-Огарёв — отец Николая Платоновича Огарёва.

³³) Огарёв Николай Платонович (1813—1877) — поэт и революционер, друг Герцена. Был арестован в 1834 г. вместе с Герценом и выслан под надзор отца в его имение в Пензенской губернии. С 1856 г. эмигрант. Принимал самое активное участие в деятельности Вольной русской типографии. В «Колоколе» и «Полярной звезде» напечатал много статей по социальным, особенно кре-

стьянским вопросам. В 1856 г. издал сборник своих стихов, неоднократно переиздаваемый позже в России. Оставил воспоминания, напечатанные после его смерти.

³⁴⁾ Герцен говорит о сильном впечатлении, произведённом на русское общество приговором по делу декабристов, согласно которому руководители движения, в числе 5 были повешены, а большинство участников сосланы на каторжные работы.

³⁵⁾ Князь Н. Б. Юсупов (1750—1831), вельможа екатерининского времени, товарищ И. А. Яковлева. Так же как и отец Герцена, Юсупов много путешествовал за границей, будучи в Швейцарии, посетил Вольтера. По возвращении в Россию заведывал Эрмитажем, театрами. Его подмосковное имение — Архангельское — славилось своей красотой и исключительной роскошью.

³⁶⁾ В крепостнической России дворяне с детства записывались их отцами и родственниками в полки, получали там чины, часто не показавшись ни разу своим сослуживцам.

³⁷⁾ Согласно указам Александра I, студенты из дворян по окончании университета получали офицерский чин и могли поступить на военную и гражданскую службу.

³⁸⁾ По указу от 6 августа 1809 г., подготовленному М. М. Сперанским, повышение по службе с определённого чина получали только дворяне, имевшие университетское образование. Чиновники-дворяне, не получившие такового до поступления на службу, посещали особые курсы для чиновников, открытые при всех русских университетах и по окончании держали экзамены, о которых говорит Герцен.

³⁹⁾ А. Писарев — попечитель Московского университета. В 1825 г. выпустил сборник «Калужские вечера» из произведений различных авторов.

⁴⁰⁾ «Полный курс чистой математики» — французского математика Луи Бенжамена Франкера (1773—1849). Книга служила распространённым учебным руководством.

⁴¹⁾ В торжественной церемонии встречи Гумбольдта поэт Сергей Глинка читал написанное им по этому случаю стихотворение, в котором назвал Гумбольдта «Прометей наших дней». Воспользовавшись этой фразой, Герцен остроумно высмеивает Уварова, намекая на неблагоприятные приёмы министра по приобретению наследства... «свет крал не у Юпитера, а у людей». О неблагоприятности министра в его личных делах писал Пушкин в стихотворении «На выздоровление Лукулла», которые Герцен неправильно называет «Послание к Лукуллу». (Подробно об отношениях Пушкина к Уварову см. А. Пушкин, Сочинения, ГИХЛ, 1936, стр. 435—896.)

⁴²⁾ Здесь рассказывает о детстве и воспитании «сироты», будущей жёны Герцена Натальи Александровны Захарьиной — «незаконнорожденной» дочери дяди Герцена, Александра Алексеевича Яковлева, от его крепостной крестьянки Ксении Ивановны Захарьиной. Восьми лет девочка была взята на воспитание тёткой-княгиней из прихоти, каприза, как подчёркивает Герцен.

⁴³⁾ Княгиня — тётка А. И. Герцена и Н. А. Захарьиной, родная сестра их отцов Ивана Алексеевича и Александра Алексеевича Яковлевых — Мария Алексеевна Хованская.

44) Тётка М. А. Хованской княжна Анна Борисовна Мещерская, «девица лет восьмидесяти» — говорит Герцен.

45) Фёдор Сергеевич — муж княгини, умерший ранее появления в их доме «сироты».

46) День рождения старшего сына Герцена — Александра Александровича. Герцен вдохновенно рассказывает о чувствах, обуревавших его при появлении на свет его первого сына. Из этой главы читатель узнаёт также о взглядах Герцена на семью и брак.

47) Оговорка Герцена: «мы сами были не очень далеки от этого взгляда» не может закрыть сущности и глубины расхождений русских людей с французскими теоретиками в вопросах воспитания.

Герцен признаёт полную справедливость и историческую необходимость критики Руссо в адрес феодально-аристократического и церковно-схоластического воспитания. Но он протестует против основного тезиса «природосообразного воспитания» по Руссо, требующего изоляции ребёнка в процессе воспитания от влияния общества, городской культуры, созданной человечеством наукой — «исторической среды», как говорил Герцен. По мнению последнего, воспитание — есть процесс передачи ребёнку «родовой жизни», т. е. всего, что достигло человечество в своём развитии. Этого не понимал Кетчер. С этим безусловно не согласился бы Руссо. Герцен расходился с Руссо и его «русским» последователем Кетчером также в вопросах дисциплины. Он считал, что ребёнок должен быть приучен к стеснению себя в интересах окружающих. Ребёнок должен не только требовать, но и подчиняться. Этих вопросов Герцен касается также в романе «Кто виноват?» и в письмах к воспитательнице его дочери Мальвде Мейзенбург.

48) Роберт Оуэн (1771—1858) — крупнейший представитель утопического социализма. Согласно его учению, человек есть продукт среды и обстоятельств. Он не отвечает за свои поступки. Изменение среды изменяет человеческий характер. Свою теорию Р. Оуэн применил к практике. В 1801 г. он произвёл на фабрике, которой был совладельцем, в Нью-Ланарке социалистический эксперимент. Он улучшил условия жизни, быта и труда рабочих, организовал институт создания нового характера, в который входили детская площадка, школа, внешкольные учреждения. Здесь он стремился дать правильное воспитание детям рабочих. Позже переехал в Америку, где создал коммунистическое сообщество «Новая гармония». Активно пропагандировал свою теорию образования человеческого характера и воспитания в выступлениях, статьях, беседах. Р. Оуэн утопически надеялся на то, что капиталисты и правительства поймут его учение и совершат необходимые перемены в промышленности и в обществе. Статья Герцена о Р. Оуэне — одно из его произведений, в котором особенно ярко выступают скептицизм дворянского революционера Герцена и идеализм его воззрений на развитие общества.

49) Роман «Кто виноват?» перепечатан сокращённо.

50) Воспитательное общество для приёма и призрения подкидышей и беспризорных младенцев существовало в России с 1864 г. Содержа «Воспитательные дома», детские приюты и дома для детей-подкидышей на благотворительные средства, оно также создавало капитал путём операции по приёму в заклад имений, покупке недвижимого имущества и других коммерческих сделок.

⁵¹⁾ Герцен имеет в виду педагогический роман-трактат «Эмиль или о воспитании» французского философа-просветителя и педагога Жан Жака Руссо (1712—1772).

⁵²⁾ Герцен имеет в виду Женевское озеро, в Швейцарии под Женевой, где на острове поставлен памятник Ж. Ж. Руссо. Озеро являлось местом паломничества для всех последователей и почитателей Руссо.

⁵³⁾ История России, написанная французским историком Левек (1737—1812).

⁵⁴⁾ «Два выбора прошли» — прошло 6 лет. Дворянские выборы в России проходили один раз в три года.

— ⁵⁵⁾ *Каспар Гаузер* — таинственный найдёныш, появившийся в 1828 г. в Нюрнберге, в возрасте 16—17 лет. О своём происхождении он ничего не знал; сообщил, что жил и воспитывался в глубокой тайне. Тайна его рождения и смерти так и не была раскрыта.

⁵⁶⁾ Перепечатано из X т. собр. соч. Герцена под ред. Лемке. Предисловие Герцена к изданному им в 1860 г. в Лондоне произведению Жорж Занд «Похождения Грибуля», которое он горячо рекомендовал раньше читать своим детям. Оно привлекло Герцена высоко нравственным содержанием и художественными достоинствами.

Интересно отметить совпадение мыслей Герцена о требованиях к детской литературе и детскому писателю с мыслями Белинского по этим вопросам.

Вместе с тем «Предисловие» ещё раз свидетельствует о глубоких педагогических интересах и знаниях Герцена.

⁵⁷⁾ Перепечатано с сокращениями из сборника «Избранные философские сочинения Герцена», М., Госполитиздат, 1941.

⁵⁸⁾ *Лорд Верулам* — так звали английского философа Бэкона, бывшего лордом-канцлером Англии и имевшего титулы: барон Веруламский и виконт Сент-Альбанский.

⁵⁹⁾ *Глоссология* — произведено от греческого слова «глосса» — толкование непонятных слов.

⁶⁰⁾ *Космос* — сочинение Ал. Гумбольдта. В этом своём монументальном произведении Гумбольдт пытался синтезировать в единое целое все научные данные о мире и вселенной.

⁶¹⁾ Отзвуки антропологических взглядов Герцена на природу, в силу которых он в 40-х годах считал, что человек отличается от животного главным образом развитием своих умственных способностей.

⁶²⁾ Герцен имеет в виду Кювье, выступившего с критикой линнеевского принципа классификации мира. Однако Кювье также стоял на метафизической концепции неизменяемости видов.

⁶³⁾ Герцен имеет в виду стихийно-материалистические взгляды немецкого поэта, написавшего ряд естественно-научных трактатов, в частности создавшего в отличие от Ньютона свою теорию света.

⁶⁴⁾ Перепечатано из т. IX полного собрания сочинений Герцена под ред. Лемке.

⁶⁵⁾ Перепечатано из т. X полного собрания сочинений Герцена под ред. Лемке.

⁶⁶⁾ Герцен рассказал об этом раньше своей кузине Пассек в письме от 1828 г. (см. т. I, стр. 26 полн. собр. сочинений под редакцией Лемке).

67) «Письма к будущему другу» написаны Герценом в 1864—1866 гг.; они состоят из 5 писем. Мы приводим здесь выдержки из второго письма, напечатанного в собр. соч., т. XVII. Журнал «Отечественные записки» в 60-х годах XIX века занимал в тогдашней журналистике правую ретроградную позицию. Вокруг него группировались те деятели 60-х годов, которые постепенно переходили в лагерь реакции.

68) Речь идёт о детстве Герцена, описанном им в «Записках одного молодого человека» и в «Былом и думах».

69) *Путятин* — министр народного просвещения при Николае I, боролся с распространением просвещения в недворянских слоях населения.

70) *Эмбриология* — наука о развитии зародыша многоклеточных животных и растений.

71) Перепечатано из полн. собр. соч., т. IX.

Фельетон Герцена, помещённый в 1857 г. в «Колоколе», в нём основатель «Вольной русской типографии» едко и остроумно высмеивает неудачные попытки правительственных чиновников России, Польши и Германии бороться с проникновением изданий Герцена в эти страны.

А. С. Норов — министр народного просвещения России, реакционер.

72) *Гизо* — французский историк, государственный деятель, был министром народного просвещения Франции. Написал много сочинений по истории Европы и Франции. В конце своей жизни с большим самолюбованием писал о себе и своей деятельности.

73) *Авраамий Палицын* — монах Троицко-Сергиевской лавры, составитель повествования об осаде Троицкого монастыря поляками в 1612 г.

74) *Авраам* — родоначальник еврейского народа согласно библейских сказаний. По тем же сказаниям хотел принести в жертву богу своего единственного сына Исаака.

75) *Моисей* — по учению церкви пророк и вождь еврейского народа. Вывел евреев из египетского плена.

76) Перепечатано из полн. собр. соч., т. IX.

77) Остроумный намёк на торгашеские операции церкви, собиравшей продажней свечей, крестов, просфор и прочих церковных мелочей огромные средства.

78) Перепечатано из полн. собр. соч., т. X.

79) Показывая России тех, кто преследует просвещение, Герцен в этой заметке высмеивает также установившуюся при Николае I и продолжаемую Александром II своеобразную традицию поручать руководство делом народного образования оставшим военным из иностранцев.

80) *Гусары* — род конных войск в императорской России.

Мичман — средний чин морских вооружённых сил царской России.

Фейерверкер — нижний чин артиллерии в царской армии.

81) Перепечатано из полн. собр. соч., т. X.

82) В декабре 1859 г. Герцену были присланы из России его нелегальными корреспондентами новые «Правила для студентов Московского университета». Он напечатал их 15 декабря 1859 г. в 59-м листе «Колокола» в сопровождении этой статьи. «Правила» были перепечатаны перед словами «кто из профессоров подписал эти правила?» Герцен снабдил текст правил подстрочными примечаниями. Приводим наиболее интересные.

К §§ 2, 3 раздела «Обязанности студентов», в которых говорилось, что студенты могут собираться в тех аудиториях, где назначены лекции, и только в часы, установленные расписанием, Герцен делает такое примечание: «Учёный Совет хочет убить всякую самобытность, дрессировать в науку так, как дрессируют собак, как при Николае воспитывали кадет».

К § 10 этого раздела, в котором говорится, что студенты, прежде чем взять книги в библиотеке, должны получить разрешение инспектора, Герцен пишет: «Во всей Европе, где есть библиотека при университете, там библиотекарь студентам даёт книги; для чего эти затруднения...?»

Герцен резко реагирует на § 11 об установлении платы за обучение и порядка её взимания. К этому пункту он делает такое примечание: «тут важны не деньги, но затруднение и затруднение, делаемое именно бедным: тут лицемерие, безразличность и варварство спорят друг с другом».

Но особенное возмущение вызывает в нём § 26, согласно которому студенты-стипендиаты, не выполняющие обрядов церкви, лишаются стипендии. Герцен говорит читателям: «Видите, как они пуще всего преследуют бедность... ты беден — в бараний рог тебя. Да и зачем бедному учиться?..»

⁸³⁾ *Тимашев Ал. Егорович* — с 1856 г. начальник корпуса жандармов и управляющий III отделением собственной канцелярии царя, был известен как душитель печати и литературы.

⁸⁴⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XI.

⁸⁵⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XI.

⁸⁶⁾ Из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник».

⁸⁷⁾ *Чаадаев Пётр Яковлевич* — один из ярких представителей русской общественной мысли 30–40-х годов. За написанный им обличительный протест против николаевской политики был объявлен царём сумасшедшим.

⁸⁸⁾ *Славянофилы* — особое направление в русском общественном движении 30–40-х годов XIX в. Не признавая крепостного права, отрицали положительное значение для России развития промышленности, техники. Борясь с бюрократизацией царской власти, были сторонниками монархического строя.

Славянофилы идеализировали патриархальный уклад крестьянской жизни и православную религию.

⁸⁹⁾ Герцен намекает на официальную петербургскую журналистику, во главе которой стоял продажный журналист — агент III отделения Фаддей Булгарин.

⁹⁰⁾ *К. Д. Кавелин* — западник буржуазно-умеренного направления. Герцен ещё не знал, что в это время Кавелин стал ярым врагом революционной демократии.

⁹¹⁾ Герцен говорит о форменной одежде, введённой для профессоров и студентов Николаем I.

⁹²⁾ *Муханов* — товарищ министра народного просвещения.

⁹³⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XI.

⁹⁴⁾ *Долгоруков Василий Андреевич* — пользовался большим расположением Николая I. С 1853 г. военный министр России. С 1856 г. по желанию Александра II стал шефом жандармов и начальником III отделения канцелярии царя.

⁹⁵⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XI.

⁹⁶⁾ *Пирогов Николай Иванович* (1810—1881) — выдающийся русский учёный, хирург и педагог. В 1856 г. выступил с либеральной статьёй на педагогические темы «Вопросы жизни», привлёкшей к нему симпатии всей передовой России. В первые годы царствования *Александра II*, во время подготовки реформы народного образования, был привлечён к руководству просвещением. С 1857 г. был попечителем Одесского, а затем Киевского учебного округов, где провёл много гуманных мероприятий по распространению просвещения, улучшению работы учебных заведений и, в частности, Киевского университета. Своей деятельностью Пирогов восстановил против себя местного генерал-губернатора и петербургских сановников и был вынужден уйти в отставку. Интересно, что Герцен, зная о деятельности Пирогова только по корреспонденции из России, сумел правильно оценить её значение.

⁹⁷⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XI.

⁹⁸⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XI.

⁹⁹⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XI.

¹⁰⁰⁾ После опубликования в «Колоколе» новых правил Московского университета Герцен объявил сбор средств в пользу бедных студентов и пересылал их по назначению в Россию.

¹⁰¹⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XI.

¹⁰²⁾ *Пулятин* — адмирал русского флота, до назначения министром народного просвещения был в плавании в Англии и в Японии, о чём остроумно и говорит Герцен.

¹⁰³⁾ Намёк на англофила Каткова, см. прим. 115.

¹⁰⁴⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XI. Письмо было напечатано 20 ноября 1861 г. в Лондонской газете «Таймс».

¹⁰⁵⁾ В начале 1861/62 учебного года в Петербургском, позже Московском университетах имели место выступления студентов против начинающегося гонения на университеты. 10 октября 1861 г. произошло в Петербурге кровавое столкновение полиции со студентами на университетском дворе. Были ранены. 108 человек студентов отправили в крепость. Почти одновременно произошло выступление студентов Московского университета, в результате которого было арестовано 500 человек. Волнение нарастало, и правительство закрыло СПб университет. Герцен был хорошо информирован об этих фактах и отзывался на них статьями, обращениями к студентам, а также памфлетами на растерявшихся чиновников и террористические действия правительства. Корреспонденции о студенческих волнениях печатала также газета «Таймс», истолковывая события, как нежелание молодёжи подчиниться дисциплине. Герцен и Огарёв сочли нужным обратиться к редактору «Таймс» с данным письмом в целях создания в Англии правильного общественного мнения о причинах выступлений студентов.

¹⁰⁶⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XV.

¹⁰⁷⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XV.

¹⁰⁸⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XI.

¹⁰⁹⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XV.

¹¹⁰⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XV.

¹¹¹⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XV.

¹¹²⁾ *Ал. Вас. Головин* — министр народного просвещения с 1861 г. Некоторые либеральные круги русского общества связывали с назначением Головнина свои надежды на отмену цензурных ограничений, восстановление прежних условий работы университетов и т. д. Герцен отдал дань этим иллюзиям и в 1861 г. высказался положительно о назначении Головнина. Данная заметка свидетельствует об изжитии им этих иллюзий.

¹¹³⁾ Книга Александра Александровича Герцена «Общепонятное изложение сравнительной анатомии и зоологии», Лондон, 1862.

¹¹⁴⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XVIII.

Константин Николаевич — брат царя Александра II, имел репутацию либерального человека, оказывавшего якобы положительное влияние на правительственную политику.

¹¹⁵⁾ Граф *Дмитрий Андреевич Толстой* был — до назначения его министром просвещения — министром внутренних дел. Герцен правильно оценил смысл этого нового назначения, как дальнейший шаг в сторону реакции.

М. Н. Катков (1818—1887) — в молодости считал себя другом Белинского и был участником философского кружка Станкевича. Позже перешёл в лагерь правительственной реакции, резко боролся с проникновением в школы, университеты, литературу освободительных идей. Был сторонником введения в русскую школу сухого, формального «драматического» классицизма.

¹¹⁶⁾ *А. В. Головин* был с 1850 г. личным секретарём Константина Николаевича.

¹¹⁷⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XIX.

¹¹⁸⁾ *Делянов* — сотрудник министерства народного просвещения, позже министр народного просвещения, реакционер. Особо известен своим циркуляром о недопущении в гимназии детей простолюдинов. Указ «о кухаркиных детях» — так было названо в русском обществе это распоряжение министра.

¹¹⁹⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XIX.

¹²⁰⁾ Тенью *Магницкого* Герцен называет *Д. А. Толстого*, выступившего с речью, выдержки из которой приводит Герцен.

¹²¹⁾ Выдержки из газеты «Московские ведомости», где редактором был *М. Н. Катков*, «ливрейный холол реакции», как называет его Герцен.

¹²²⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. VI.

¹²³⁾ Герцен находился в это время в Париже. Семья его жила в Ницце. За несколько дней до этого обращения к сыну Герцен писал Наталии Александровне: «Саше кланяюсь уж не как маленькому, а как молодому другу и прошу его в память мою не терять времени». На время своего отъезда Александр Иванович составил программу занятий Саши и настойчиво требовал от него присылать отцу «рапорт» о выполнении этой программы.

¹²⁴⁾ Александр Александрович родился 13 июня 1839 г.

¹²⁵⁾ *Виктор Гюго* (1802—1885) — известный французский поэт, драматург, романист. Сын его Шарль поместил в парижской газете статью в защиту человека, приговорённого к смертной казни, за что был привлечён к судебной ответственности. 11 июня Виктор Гюго произнёс на суде речь в защиту своего сына.

¹²⁶⁾ Речь несколько упрощена Герценом.

¹²⁷⁾ См. стр. 113 нашего издания.

¹²⁸⁾ Действующее лицо произведения Ж. Занд «Похождения Грибуля».

¹²⁹⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. VI.

¹³⁰⁾ Александр Иванович и Наталия Александровна были в Турине (рассказ об этой поездке содержится в IV ч. 6 гл. «Былого и дум»), откуда Герцен написал Саше это письмо. В мае и июне, во время отъезда Герцена из Ниццы, он много писал Наталии Александровне о детях и их воспитании. Так, 20 июня Герцен, находившийся в очень мрачном расположении духа в связи с европейскими событиями в 1848—1849 гг., изгнанием его из России, пишет Нат. Ал.: «но если и дети пойдут в дурную сторону... это будет моя вина, именно оттого и будет большее...»

Наталия Александровна отвечала на это: «Благодарю тебя за письмо твоё Саше: у него каждый раз слёзы на глазах... В Саше тебе нечего сомневаться, друг мой, — благородная натура, а потом близость с тобой; я и в себя верую много в этом отношении. Никогда мне не придёт в голову такой страшный вопрос: «но если дети пойдут в дурную сторону». С таким вопросом в груди я бы жить не могла. Стоит только взглянуть на их лица и почувствовать, что вопрос этот — великий грех...»

¹³¹⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. VI.

Рейхель Мария Каспаровна, до замужества Эри, ближайший друг Александра Ивановича, Наталии Александровны и всей семьи. В 1847 г. М. К. вместе с Герценами выехала в Европу и здесь вышла замуж за немецкого композитора, музыканта Адольфа Рейхеля.

¹³²⁾ Коля с матерью Герцена Луизой Ивановной и воспитателем Шпильманом гостили у Рейхелей в Париже и в ноябре возвращались пароходом в Ниццу. 16 ноября пароход потерпел аварию, весть о которой к вечеру дошла до Ниццы. Герцен выехал на место катастрофы и нашёл в живых чудом спасшихся: племянницу Луизы Ивановны — Луизу Суццер и горничную Аделаиду. Подробности этого жуткого происшествия, переживания Герцена и Нат. Ал. в «Былом и думах», гл. «Осепано пох» («Ночь на океане»).

М. К. Рейхель в своих воспоминаниях пишет: «А в Ницце ждали (возвращающихся из Парижа. — М. Ш.), иллюминировали дом и сад, и вдруг эта весть! Вытащили только саквояж, где нашлись краски Коли и его перчатка. Вот всё, что осталось от дорогих существ».

¹³³⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. VII.

¹³⁴⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. VII.

¹³⁵⁾ Болезнь Наталии Александровны закончилась трагически. 2 мая 1852 г. она умерла в присутствии приехавшей М. К. Рейхель. После её похорон, 21 мая, Мария Каспаровна уехала с дочерьми Герцена Татой 7½ лет и Олей 1½ лет обратно в Париж, куда и пишет Герцен это письмо.

¹³⁶⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. VII.

¹³⁷⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. VII.

¹³⁸⁾ Герцен сильно скучал по девочкам и стремился собрать детей вместе. Вставал вопрос об их воспитательнице. М. К. Рейхель не могла переехать к Герцену; из России пришло известие, что Огарёвы не смогут скоро быть в Европе. Письмо свидетельствует о тяжёлых размышлениях Герцена по этому поводу.

¹³⁹⁾ Тёсье Мари, французский революционер, после 1848 г. эмигрировал в Лондон, занимался с сыном Герцена Александром.

¹⁴⁰⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. VII.

¹⁴¹⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. VII.

¹⁴²⁾ Все названные здесь Герценом опекуны — участники революционного буржуазно-демократического движения в Европе, друзья семьи Герцена. Это завещание Герцен не изменил, и после его смерти, 31 января 1870 г., оно было прочитано в Муртене (Швейцария) в зале мирового судьи в присутствии Александра Александровича.

¹⁴³⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. VIII.

¹⁴⁴⁾ Мария Каспаровна Рейхель. Соколово и Покровское — дачные места под Москвой, где Герцены до отъезда из России проводили лето и куда к ним съезжались их московские друзья. Чрезвычайно характерный для Герцена приём: постоянно знакомить детей с прошлым семьи, с жизнью в России.

¹⁴⁵⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. VII.

¹⁴⁶⁾ Обращаем внимание читателей на стиль писем Герцена к маленькой дочери — он интересен своей лаконичностью, простотой, внутренней нежностью.

¹⁴⁷⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. VIII.

¹⁴⁸⁾ Мария Фомм — воспитательница детей Герцена.

¹⁴⁹⁾ Мальвида Мейзенбург, родилась в 1816 г., немка, участница общественного движения Германии. После 1848 г. переселилась в Лондон, где занималась переводами и давала уроки. Здесь встретилась с Герценом и согласилась давать уроки музыки Тате. Готовясь к встрече девочек, приезжающих из Парижа в Лондон, Герцен писал М. К. Рейхель о Мейзенбург: «Учительница для Таты в виду есть — умная и образованная особа, я её приглашу через день давать уроки на фортепиано, по-немецки и по-французски. А по-русски уж разве я сам на старости лет позаимую».

Мейзенбург так отзывалась о своих первых уроках Тате: «Герцен привёл ко мне свою старшую дочь (Наталью), семилетнюю девочку своеобразной красоты; она с первого раза завоевала моё сердце, и я была тронута чисто материнской нежностью, с которой отец заботился о ней, говоря: «Надо же мне быть нянюшкой». Дальше Мейзенбург рассказывает о своих первых посещениях дома Герцена. «Дом был не роскошен, но очень хорошо устроен, у сына были свои учителя, за девочками смотрела немецкая бонна, не лишённая некоторой образованности». Мейзенбург говорит, что после уроков Герцен часто приглашал её в свой кабинет и знакомил «с русской литературой, читая отрывки из Пушкина, Лермонтова, Гоголя, живо и ярко описывая мне русские нравы и русские характеры». Так Герцен, выбрав Мейзенбург в качестве воспитательницы, с первых дней её работы сам старался воспитать её, ознакомить её с Россией, сделать Мейзенбург способной выполнить поставленную им задачу — воспитать детей русскими людьми. Появление Мейзенбург вызвало недовольство «немецкой бонны» — Марии Фомм. Герцен предпочёл ей Мейзенбург, и М. Фомм уехала обратно в Париж.

¹⁵⁰⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. VIII.

¹⁵¹⁾ В 1856 г. Герцена посетил М. С. Щепкин — великий русский актёр, в прошлом — член герценовского кружка. Он привёз в Лондон Герцену приветы от его друзей, которым лондонский изгнанник и ответил этим письмом.

¹⁵²⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. VIII.

¹⁵³⁾ Огарёвы в мае 1856 г. приехали наконец в Лондон. Между двумя женщинами сразу возникли резкие конфликты. Герцену стало ясно, что Мейзенбург не хочет и не уступит Огарёвой первенствующую роль в воспи-

талии детей. Он встал на сторону Огарёвой, считая, что этим он выполняет волю покойной Наталии Александровны и приближает детей к родине.

Мейзенбург посвятила в своих воспоминаниях много страниц её уходу из дома Герцена. Приводим некоторые её высказывания.

«Герцен желал, — говорит она, — и это было вполне естественно, чтобы т-е Огарёва много занималась детьми, говорила им о их покойной матери, учила бы их русскому языку и как можно более знакомила их с их родиной...

Русский язык, русские интересы не были мне настолько близки, чтобы вполне удовлетворять меня, хотя первый не остался мне чуждым, а ко вторым я привыкла относиться с участием...

Когда я заметила, что возникает настоящий разлад, я осторожно предупредила Герцена. Мне казалось, что я могу потребовать от него, чтобы он заступился за меня и помог отстоять домашний мир, которому, по моему мнению, грозила опасность. Дело вовсе не шло ни об умалении прав его друзей, ни о лишении его самого благотворных воспоминаний о прошлом. Нужно было только отстоять и держать то *status quo*, которое было им одобрено и ради детей и ради его самого; нужно было урегулировать вмешательство его друзей так, чтобы эти новые отношения не являлись прихотливым, разъединяющим и вносящим смуту элементом.

Я знала со стороны, как сильно желала г. Огарёва занять предназначенное ей раньше место. Я видела, что Герцен с каждым днём всё более и более желал преобладания русского элемента в воспитании детей и становился равнодушным ко всем связям, которые поддерживал до тех пор с душевной симпатией. Я жестоко страдала от такого положения вещей, так как ясно видела, что это приведёт к расхождению. Я понимала, что мне придётся отдать детей во власть этого русского элемента, хотя бы для того, чтобы сохранить единство в их воспитании; я не могла следовать за ними на этой почве и не чувствовала в себе достаточных сил для борьбы с этими, отныне всемогущими, влияниями. Сверх того, я находила эту двойственность вредной для детей... Не было никакой возможности сгладить различия в натурах, во мнениях и привычках. Нужно было, чтобы Герцен объявил, что желает удержать существующий строй воспитания и домашнего устройства и не желает вторжения и господства нового элемента.

Я видела, что семью изгнанников окружил родной элемент и что он становился господствующим, — это было всегда самым горячим желанием Герцена». (М. Мейзенбург, Воспоминания идеалистки. Цитируем по Лемке. Герцен, полн. собр. соч., т. VIII.)

¹⁵⁴⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. VIII.

¹⁵⁵⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. IX.

¹⁵⁶⁾ Герцен отправил сына в Швейцарию для продолжения образования. В Англии Александр занимался анатомией, химией, физикой у крупнейших учёных мира. Его учение сопровождалось постоянными успехами. Он прекрасно учился, сдавал экзамены, получал много наград.

¹⁵⁷⁾ Постоянные и массовые приезды русских в Лондон к Герцену чрезвычайно тревожили его. Дом посещало много пустых светских людей, путешествующих по Европе, иногда засылались шпионы. Все эти люди отрывали много времени, нарушали спокойный, рабочий режим, который, по мнению Герцена, необходим каждой семье, в которой есть дети.

158) В Швейцарии образованием А. А. Герцена руководил К. Фогт.

159) Перепечатано из полн. собр. соч., т. X.

160) Перепечатано из полн. собр. соч., т. X.

161) Перепечатано из полн. собр. соч., т. X.

162) Мы уже обращали внимание читателя на отношение Герцена к «свободе» в воспитании и поведении человека; это выражение «свобода человека (как её понимал Руссо), — вещь совершенно отрицательная» — есть окончательный и правильный вывод Герцена по данному вопросу.

163) *Доманже* — французский эмигрант, занимался с сыном Герцена, а позже с его дочерью Ольгой.

164) *Бокз* — то же.

165) *Чистая семья* — семья К. Фогт.

166) *Пассек* — «корчевская кузина», «Былое и думы», гл. III, ч. I, «Кузина из Меленок» — «Записки одного молодого человека», друг детства и юности Герцена.

166) В одном из писем к отцу Александр Александрович писал о своих чувствах к родственнице К. Фогт — Эмме Урнх, которой юноша собирался сделать предложение.

167) Перепечатано из полн. собр. соч., т. X.

168) Перепечатано из полн. собр. соч., т. X.

169) *Урнх* — отец девушки, на которой собирался жениться Александр Александрович.

170) Перепечатано из полн. собр. соч., т. X.

171) К этому времени личная жизнь Герцена осложнилась тем обстоятельством, что Н. А. Огарёва стала его фактической женой. Эта связь не разрушила дружбы и совместной работы Герцена и Огарёва, но затруднила их отношения. Она тяжело отразилась на детях Герцена, тем более, что Огарёва не сумела установить с ними правильных отношений. Герцену пришлось опять думать о воспитательнице для дочерей и особенно младшей. Он пригласил Мейзенбург, к которой Ольга была привязана.

172) Перепечатано из полн. собр. соч., т. X.

173) Герцен безусловно не прав. Приходится удивляться тому, как много «умел» он сделать для осуществления в детях его надежд.

174) Перепечатано из полн. собр. соч., т. X.

175) Заниматься музыкой с Н. А. Герцен.

176) Перепечатано из полн. собр. соч., т. XI.

177) Александр Александрович сообщил отцу, что он блестяще окончил Бернский университет и получил учёную степень доктора медицины. В этом нельзя не видеть огромной роли Герцена, передавшего сыну любовь к естественным наукам, направлявшего постоянно его развитие, обеспечившего его занятия у крупных учёных европейской науки.

178) День опубликования в России манифеста об освобождении крестьян.

179) Перепечатано из полн. собр. соч., т. XI.

Герцен здесь отвечает Ал. Ал. на его письмо, в котором сын сообщил отцу о своём решении поехать в Россию, а также советуется о поездке в Гейдельберг.

180) Русская молодёжь, учившаяся в университете в немецком городе Гейдельберге, решила дать обед в честь издателя «Колокола». А. А., живший

недалеко от Гейдельберга, был приглашён студентами на этот праздник. Он советовался с отцом о том, как ему держаться на этом обеде.

Статья, в которой Герцен говорит о разложении Европы и будущности России (Герцен, собр. соч., т. XV, стр. 3—10).

¹⁸¹⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XV.

Иван Сергеевич Тургенев — знаменитый русский писатель, ближайший друг Герцена, жил в это время в Париже.

¹⁸²⁾ *Кн. Трубецкой Пётр Никитич* — сотрудник русской миссии в Париже. 25 января Тургенев писал Герцену, что запрос об Александре Александровиче направлен в Петербург к министру народного просвещения — Головинну. Головинни сообщил шефу жандармов Долгорукову о трудности положительного ответа «вследствие того сильного влияния его (т. е. Герцена. — М. Ш.) на наше молодое поколение, — влияния, которое необходимо парализовать. С каждым днём, — продолжал министр, — я более и более вижу, как распространены его издания в наших училищах...»

В результате обсуждения и переписки высшие сферы пришли к решению удовлетворить просьбу, «буде он (т. е. Ал. Ал.) окажется достойным сношения».

¹⁸³⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XV.

¹⁸⁴⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XV.

¹⁸⁵⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XV.

¹⁸⁶⁾ Это письмо — свидетельство нового решения Герцена по вопросу о совместной жизни детей и их воспитателей. Атмосфера взаимного недовольства так накалилась, что пришлось согласиться на отдельную жизнь Мейзенбург с младшей дочерью Ольгой.

¹⁸⁷⁾ *Лиза* — дочь Герцена от Огарёвой — родилась в 1858 г.

¹⁸⁸⁾ Дети от Огарёвой: *Лиза, Елена, Алексей*.

¹⁸⁹⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XV.

¹⁹⁰⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XV.

¹⁹¹⁾ *Кондратьев Геннадий Петрович* — артист, в 1863 г. выступал в Тифлисе, с 1871 г. — главный режиссёр русской оперы.

¹⁹²⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XV.

¹⁹³⁾ Герцен вынужден был в силу осложнённых отношений Огарёвой с его старшими дочерьми решиться на разлуку с Натальей Александровной, которую он очень сильно любил и общение с которой было ему так необходимо. Боясь, что постоянные конфликты и столкновения с Н. А. Огарёвой плохо отразятся на воспитании дочерей, Герцен отправил их с Мейзенбург в Италию. В Италии Наталья Александровна должна была заниматься живописью и музыкой, к которым у неё была большая склонность.

Письмо свидетельствует, как труден был для Герцена этот шаг, как много и серьёзно думал он о программе занятий молодой художницы, как стремился он руководить образованием дочерей и на далёком расстоянии, как хотел быть в курсе их повседневной жизни.

¹⁹⁴⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XVI.

¹⁹⁵⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XVII.

¹⁹⁶⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XVII.

¹⁹⁷⁾ *Лёля* — Елена и Бой — Алексей — дети Герцена от Н. А. Огарёвой.

¹⁹⁸⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XVII.

199) Перепечатано из полн. собр. соч., т. XVII.

200) *Тхоржевский* — сотрудник Герцена по Вольной русской типографии — поляк-эмигрант.

201) Перепечатано из полн. собр. соч., т. XVII.

202) Перепечатано из полн. собр. соч., т. XVII.

203) Герцен приехал в Швейцарию, чтобы встретиться с Ольгой и самому познакомиться с пансионом Фрелиха в г. Берне. А. А. Герцен и М. Мейзенбург в своих письмах к А. И. Герцену хвалили этот пансион, как одно из лучших учебных заведений. Полагаясь на эти свидетельства, Герцен согласился поместить туда дочь. Осмотрев пансион, он взял Ольгу обратно.

204) Перепечатано из полн. собр. соч., т. XVIII.

205) Новое свидетельство подробного знакомства Герцена с учреждением, где воспитывается дочь. Он знает, какими играми занимают детей в детском саду, который посещает Лиза.

206) Перепечатано из полн. собр. соч., т. XIX.

207) Перепечатано из полн. собр. соч., т. XXI.

208) Герцен выбирал место для совместного жительства всех членов семьи. Он интересовался школами, библиотеками, всем необходимым для развития детей и продолжения образования Ольги и Лизы.

209) *Кинкель* — немецкий эмигрант, участник буржуазно-демократического революционного движения Германии.

210) *Габриель Моно* — французский историк и социолог, занимался с Ольгой Александровной. После смерти Герцена стал её мужем.

211) Перепечатано из полн. собр. соч., т. XXI.

212) Мейзенбург предлагала переехать всем во Флоренцию, где жил в это время Ал. Ал., женившийся 5 августа 1868 г. на Терезине Феличе и ожидавший ребёнка. Герцену не всё нравилось в их жизни. Мейзенбург считала благотворным для развития Ольги её пребывание в счастливом доме молодого жёна. Между Герценом и Мейзенбург, а иногда и Ал. Ал., шла постоянная дискуссия по вопросу о роли женщины в обществе и семье. Интересно привести некоторые выдержки из писем Герцена к сыну, касающиеся этих вопросов. 20 декабря 1866 г. Герцен пишет: «Я очень часто размышляю о том, по какой такой роковой логике Мальвида, в теории человек совершенно свободный — отдаёт предпочтение семейной жизни и видит в ней предназначение женщины. Я узнаю в этом немецкий дух». 5 октября 1868 г. через несколько месяцев после женитьбы сына он пишет ему: «Старайся и очень об образовании Терезины, не оставляй её в дикости, которая выйдет в кокетство дикостью, а это губительно». Герцен считал необходимым широкое участие женщин в общественном движении.

213) Здесь игра слов. Karl Blind, немецкий публицист, обвинял Герцена в национализме; blind — слепой.

214) Перепечатано из полн. собр. соч., т. XXI.

215) Ольга прислала отцу письмо, в котором, настроенная Мейзенбург, писала, что она не может приехать к отцу без своей «второй матери».

216) *Немезида* — богиня возмездия.

217) Перепечатано из полн. собр. соч., т. XXI.

218) Личная жизнь Герцена, естественно, привлекала к себе внимание его многочисленных врагов, пользовавшихся любым поводом для его ком-

прометации. Не желая стать объектом клеветы и сплетен, он и Огарёв держали в тайне связь Герцена с Натальей Алексеевной. Младшие дети в силу этого носили фамилию Огарёвы. Александр Александрович и Наталья Александровна были в курсе этих отношений. Теперь пришло время посвятить в это и Ольгу Александровну. Одновременно с письмом отца к О. А. обращался по этому вопросу Огарёв.

²¹⁹⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XXI.

²²⁰⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. X.

²²¹⁾ Перепечатано из полн. собр. соч., т. XX.

²²²⁾ В этом, как и в предыдущих письмах к Огарёву из Парижа, Герцен сообщает другу о новом подъёме революционного движения во Франции. Нельзя не отметить прозорливости Герцена, почувствовавшего историческую важность совершающегося. Развиваясь, события, о которых пишет Герцен, привели Францию уже после его смерти к Парижской Коммуне.

²²³⁾ Говорится о столкновении народа с полицией, возбуждённом настроении парижан, о росте оппозиционных настроений печати.

²²⁴⁾ *Ледрю Ролан* — крупнейший французский революционер буржуазно-демократического направления.

²²⁵⁾ Тургенев приезжал в это время на несколько дней в Париж.

²²⁶⁾ Воодушевлённый начавшимися событиями, Герцен хотел собрать в Париже всю семью.

²²⁷⁾ *Шарко Жан Мартэн* — известный врач, профессор патологической анатомии. Боль, на которую жалуется Герцен, была злоеющей. Хотя врачи не считали положение серьёзным, болезнь, перешедшая в воспаление лёгких, бурно развивалась. Уже 19 января Герцену стало очень плохо, но он изредка жаловался на боль в боку: «боль нестерпимая, боль нестерпимая» и сердился, что ему не рассказывают о происходящем в Париже. Когда на улице заиграла военная музыка, он улыбнулся и, обращаясь к Огарёвой, сказал: «Отчего бы не ехать нам в Россию?»

20 января Герцену стало хуже. Он умер в отсутствие Ал. Ал. и Огарёва, вызванных, но ещё не успевших приехать к этой трагической минуте.

23 января состоялись похороны Герцена на кладбище Père-Lachaise (где хоронили революционеров). Полиция, боясь большого скопления народа, распорядилась вынести гроб из дома рано утром. Тем не менее, по свидетельству очевидцев, «похороны привлекли огромную толпу... много шло за гробом старых деятелей, даже работников (т. е. рабочих. — М. Ш.), знавших Герцена по 1848 году». Могила Герцена была засыпана красными цветами.

Позже, выполняя завещание Герцена, семья перевезла его прах в Ниццу и похоронила рядом с Натальей Александровной. Здесь был поставлен ему памятник, изображающий Герцена во весь рост.





УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН И НАЗВАНИЙ

Адлерберг Александр Владимирович, ближайший советник Александра II, министр императорского двора и уделов.

Александр Великий Македонский (356—323) — величайший человек древности, создатель мировой империи, один из самых гениальных древних полководцев.

Александр II — русский царь с 1855 по 1881 г.

Алкивиад (V в. до н. э.) — политический деятель древней Греции. Его жизнь, полная драматических событий, очень увлекала молодёжь и вызывала стремление к подражанию.

Аполлон (сын Зевса, главного бога древних греков) — бог света и солнца; позже — покровитель искусства; занимал первое место среди греческих богов. В искусстве — идеал мужской юношеской красоты.

Ахиллес, или Ахилл, — герой греческих сказаний. Храбрейший, бесстрашный воин греческих войск, осаждавших Трою, в «Илиаде» Гомера.

Бабеф Кай Гракх (1760—1797) — французский коммунист, организатор заговора против буржуазного правительства Директории. Был казнён в 1797 г. за неудавшийся «заговор равных».

Базедов (1724—1790) — немецкий последователь Ж. Ж. Руссо, пытавшийся применить его идеи на практике.

Батте Шарль (1713—1780) — французский философ, теоретик классицизма.

Бенжамен Констан (1748—1832) — английский юрист и философ.

Бенкендорф — шеф жандармов. Жандармы носили форму голубого цвета.

Беранже (1780—1857) — популярный французский автор либеральных сатирических песен.

Бетховен Людвиг (1770—1827) — крупнейший немецкий композитор.

Брен Мальт (1775—1826) — датский географ.

Библия — книга об истории еврейского народа, считающаяся, согласно установлений церкви, священной.

Буало Николай Депрео (1636—1711) — французский критик. Его поэма «Art poétique» служила теорией эстетики классицизма.

Бэр Карл Максимович (1792—1876) — крупнейший русский естествоиспытатель, академик, создатель современной эмбриологии; известен также своими работами по изучению естественных богатств России.

Бэкон Френсис (1561—1626) — знаменитый английский философ, родоначальник новейшего материализма. О нём Маркс писал: «... истинным родоначальником английского материализма и вообще опытных наук новейшего времени был Бэкон. Естествознание является в его глазах истинной наукой, а физика, опирающаяся на свидетельство внешних чувств, важнейшей частью естествознания» (Маркс и Энгельс, Соч., т. III, стр. 157). Герцен много говорит о Бэконе, особенно в трактате «Письма об изучении природы», но он вместе с тем критически относится к стремлению некоторых учёных остаться на стадии эмпирического знания, не поднимаясь к обобщениям.

Бюффон Жорж Луи Леклер (1707—1788) — естествоиспытатель, член французской Академии наук. Известен своими работами в области зоологии. Считал своей задачей возбуждение в обществе интереса к животному миру. С большим литературным мастерством описывал нравы и образ жизни животных. Написал «Естественную историю животных», сыгравшую роль в популяризации естественно-научных знаний среди широких читателей.

Вагнер Рудольф (1805—1864) — немецкий физиолог и анатом — в это время под влиянием Кюве занимался сравнительной анатомией и изучением жизни низших животных.

Валентин Габриель Густав (1810—1883) — известный немецкий физиолог; к этому времени в России были известны его работы по физиологии человека и истории развития.

Валленштейн — крупный немецкий полководец периода Тридцатилетней войны, католик. Высокомерный, жестокий, честолюбивый человек. Его жизнь была материалом для многих литературных произведений, в том числе трилогии Шиллера.

Вашингтон — национальный герой Америки, первый президент США (1792—1799) после провозглашения их независимости.

Гайюй — учёный в области естественных наук.

Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — знаменитый итальянский революционер-демократ; был страстным патриотом своей родины, отличался смелостью, большой волей, напряжённым упорством. Был другом Герцена и его детей.

Николай Генрих (Александр Львович) — немец, окончил Страсбургский университет, был воспитателем наследника Павла Петровича (Павла I), позже — президентом Российской Академии наук.

Гёснер (1730—1787) — немецкий писатель, автор сборника «Идиллии». Гёте Вольфганг (1749—1832) — крупнейший немецкий поэт, писатель и учёный, автор замечательных произведений: «Вертер», «Фауст» и т. д. Во времена Герцена воспринимался как духовный вождь того периода истории Германии, который носит название «Бури и натиска».

Гмелин Иоганн-Георг (1709—1755) — академик Петербургской Академии, участник Сибирской экспедиции 1733—1743 гг., снаряжённой Российской Академией наук. В 1751—1752 гг. издал в Геттингене на немецком языке четырёхтомное сочинение о Сибири.

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — выдающийся профессор Московского университета. Член герценовского кружка, виднейший «западник».

Горчаков — министр Александра II, один из его приближённых.

Гумбольдт Александр-Фридрих (1769—1859) — выдающийся немецкий учёный-естествоиспытатель. Известен своими работами в самых различных областях естествознания. Стремился отыскать общую основу природных явлений. Его книги «Космос» и «Картины природы» — свод знаний из различных отделов наук о природе. Много путешествовал с научными целями, о чём и говорит Герцен («был на Чимборазо и жил в Сан-Суси»). В 1829 г. по предложению Николая I совершил с учёными целями путешествие по Уралу и Сибири. Об этом путешествии и пишет Герцен.

Де Кандолей — семья швейцарских естествоиспытателей.

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — поэт sentimentalного направления. Автор басен, популярных песен, например «Стонет сизый голубочек».

Добантон (1716—1799) — французский естествоиспытатель, коллега Бюффона. Принимал участие в составлении «Естественной истории» последнего. В этом труде Добантону принадлежат замечательно точные анатомические исследования.

Дубельт Леонтий Васильевич — начальник штаба корпуса жандармов при Николае I.

Дюма — химик; в 1840 г. выдвинул идею, что свойства химических соединений объясняются расположением атомов, их образующих.

Жорж Занд или Санд — псевдоним французской писательницы

Авроры Дюпеван-Дюдеван (1804—1876). Её романы и повести, протестовавшие против неравенства женщин и популяризовавшие идеи утопического социализма, были широко известны в России. Герцен, как и Белинский, горячо симпатизировал взглядам писательницы.

Жоффруа Сент Илер (1772—1844) — французский зоолог; выдвинул учение о «едином типе», в основе которого лежала трансформистская идея о единстве плана строения всех животных; противник Кювье, защитник теории изменяемости видов.

Зевс — главный бог древних греков.

«Изабелла» — действующее лицо одноимённого произведения Шиллера.

Икарня — фантастическая страна, где люди живут коммунистическим строем, описанная в романе французского писателя Кабэ (1788—1856) «Путешествие в Икарию».

Кампер (1722—1789) — голландский анатом, известный работами по изучению обезьян. Исследовав анатомическое строение обезьян, доказал невозможность для них человеческой речи.

Капнист В. В. (1757—1823) — поэт и драматург; прославился своим произведением «Ябеда», явившимся едкой сатирой на нравы, царившие в среде тогдашнего чиновничества.

Каченовский Михаил Трофимович (1827—1872) — профессор Московского университета. Основатель так называемой «скептической школы» в истории. Редактор крупнейшего журнала «Вестник Европы».

Квакеры — религиозная секта, возникшая в Англии в XVII в. Герцен, относившийся отрицательно ко всем и всяким религиозным учениям, не любил также членов этой секты за мещанское стяжательство.

Квинтилиан (42—118) — знаменитый римский оратор; автор известного сочинения «Об ораторском искусстве»; теоретик педагогики Римской империи.

Кетчер Николай Христофорович (1809—1886) — врач, известный переводчик произведений Шекспира на русский язык, участник герценовского кружка. Позже редактировал некоторые журналы, а также сочинения Белинского. После 60-х годов скатился в лагерь реакции.

Ковалевский — министр народного просвещения России с 1858 по 1861 г. Слабый, безвольный человек.

Козлов И. И. (1779—1840) — поэт и переводчик.

Коробейников — автор книги XVI в. «Хождения по святым местам», считавшейся священной книгой.

Коцебу Август, немецкий драматург и полицейский агент, подкупленный Николаем I; был убит студентом Карлом Занд.

Кювье (1769—1832) — знаменитый французский естествоиспытатель, создатель теории неизменяемости видов, учения о катастрофах, соотношениях органов.

Лагарп (1739—1803) — французский критик, поэт и драматург.

Лафайет (1757—1834) — французский либеральный политический деятель.

Лафонтен Август (1758—1831) — немецкий беллетрист.

Либих Юстус (1803—1873) — крупный немецкий учёный-химик. В 30—40-е годы XIX в. имел образцовую лабораторию, которая посещалась учёными всех стран и в том числе русскими естествоиспытателями. В 60-е годы был президентом Академии наук в Германии.

Линней Карл (1707—1778) — выдающийся шведский натуралист. Первый создатель классификации органического мира, которую строил на двойном обозначении рода и вида, затем роды объединял в отряды, а отряды — в классы. Рассматривал виды не как развивающиеся один из другого, а как вечно существующие. Человек в его классификации был представлен как единственный вид рода Ното, а род Ното объединён с обезьянами. Человек трактовался Линнеем как нечто сверхприродное.

Лодер — профессор, читавший естествознание на физико-математическом факультете Московского университета.

Луповицкий — князь, герой одноимённой драмы К. Аксакова, одного из руководителей славянофильского направления русской общественной мысли.

Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1855) — ярый реакционер. Став в 1819 г. попечителем Казанского учебного округа, почти разгромил недавно учреждённый Казанский университет. В 1826 г. был уволен от этой должности, но продолжал писать доносы на профессоров и журналистов.

Матануи (1783—1855) — крупнейший французский физиолог, талантливый экспериментатор.

Мантейфель Теодор Отто — прусский государственный деятель; был президентом Совета министров. Известен своими реакционными действиями по ограничению конституции.

Мерзляков Алексей Фёдорович (1778—1830) — поэт, профессор Московского университета, один из крупнейших русских критиков. О нём Белинский говорил: «на Мерзлякова можно смотреть как на умного представителя литературных понятий целой эпохи». (Белинский, Статьи о Пушкине, ГИХЛ, 1937, стр. 188).

Милорадович — граф, русский генерал суворовской школы, участник Отечественной войны 1812 г., позже — генерал-губернатор Санкт-Петербурга.

Мирабо (1749—1792) — либеральный политический деятель французской революции.

«Московский телеграф» (1825—1834) — передовой журнал Н. А. Полевого, сыгравший большую роль в развитии русской литературы и русского просвещения.

Муравьёв М. Н. (1757—1807) — историк, поэт, переводчик. Был также товарищем министра народного просвещения и попечителем Московского университета. Белинский говорил, что Муравьёв «оставил после себя память благородного человека и страстного любителя словесности» (Белинский, Статьи о Пушкине, ГИХЛ, 1932, стр. 169).

Томас Мюнстер, или Мюнцер (1490—1525) — революционер и проповедник эпохи крестьянской войны в Германии.

Одюбон (1780—1851) — американский учёный-зоолог, известный работами, описывающими жизнь птиц.

Окен (1779—1851) — немецкий философ и естествоиспытатель. В своём учении, в целом лженаучном, защищал идею развития.

«Орлеанская дева» — Жанна д'Арк, национальная героиня Франции.

Павлов Михаил Григорьевич (1793—1840) — крупнейший профессор Московского университета. Читал лекции по физике, минералогии, сельскому хозяйству; много способствовал распространению в России сельскохозяйственных знаний.

Паллас Пётр Симон (1741—1811) — знаменитый путешественник и натуралист.

Граф Панин Виктор Никитич (1801—1874) при Александре I и Николае I был министром юстиции. При Александре II был председателем редакционной комиссии по освобождению крестьян. Известен как крайний реакционер, стремившийся освободить крестьян без земли и предоставить им после «освобождения» помещикам полицейские права над крестьянами.

Паоли, родился в 1725 г., корсиканец; известен своей борьбой за независимость Корсики.

Пассек Татьяна Петровна — родственница Герцена (1810—1889), писательница. Была замужем за университетским товарищем Герцена — Вадимом Васильевичем Пассек. Основала и издавала в 1885—1887 гг. детский журнал «Игрушечка». В её главном труде «Из дальних лет» много говорится о Герцене (СПБ, 1870—1889, 3 тома).

Перикл (490—429) — греческий государственный деятель в эпоху расцвета афинского государства. Провёл много демократических реформ, спо-

собствовал процветанию наук и искусств. Время его деятельности принято называть веком Перикла.

Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827) — знаменитый швейцарский педагог-демократ, один из основоположников западноевропейской педагогики.

Пико де ля Мирандола — итальянский учёный эпохи Возрождения, известный разносторонностью своих знаний. Здесь сравнение сделано в пролическом смысле.

Плиний Старший (24—79) — знаменитый натуралист древнего мира. Написал энциклопедический труд «Естественная история» в 36 книгах.

Плутарх — греческий писатель, философ, моралист (46—120). Известен своими «Параллельными жизнеописаниями» крупнейших политических деятелей Греции и Рима.

Маркиз Поза — герой произведения Шиллера «Дон Карлос». Преданный Карлосу, он пожертвовал своей жизнью ради друга.

Рабла Франсуа (1483—1553) — знаменитый французский писатель-сатирик, представитель французской гуманистической педагогики. В своём романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» резко высмеял схоластические идеалы воспитания и противопоставил им программу нового воспитания. В этой программе изучение природы и естественных наук занимало большое место.

Расин (1639—1699) — знаменитый французский драматург.

Распайль Франсуа Венсан (1794—1878) — французский учёный-натуралист и революционер. Стремился приблизить науку к жизни и соединить её освободительной борьбой за народные интересы. Принимал активное участие в революциях 1830—1848 гг., за что был арестован и изгнан из пределов Франции. В русских консервативных журналах часто нападали на Распайля. Особенно резким было выступление против него продажного журналиста Булгарина в газете «Северная пчела» в 1845 г.

Ринальдо-Ринальдони — легендарный герой-разбойник романа немецкого писателя Вульпиуса (1762—1827). Роман под тем же заглавием был переведён на все европейские языки и имел много подражателей. Ринальдо сделался синонимом романтического разбойника.

Рулье (1814—1858) — даровитый профессор Московского университета по кафедре зоологии. Многогранный учёный. С 1840 г. был первым секретарём Московского общества испытателей природы. Основал естественно-научный русский журнал «Вестник естественных наук». Печата! много естествоведческих статей научно-популярного характера в тогдашних журналах и газетах. В 40-х годах несколько лет выступал, как и другие профессора русских университетов, с научно-популярными лекциями для широких слоёв слушателей. Его ученики занимали после смерти учителя кафедры естественных наук Московского университета.

Рунич Дмитрий Павлович (1780—1860) был при Александре I членом Главного правления училищ, а позже попечителем Петербургского и затем Киевского учебного округа; так же, как и Магницкий, прославился погромными действиями в отношении университетов.

Граф Сегюр Филипп Анри (1753—1839) — французский историк. Его сочинение «Histoire Romaine» («Римская история») служило учебной книгой по истории Рима.

Сен Симон (1675—1755) — французский писатель и политический деятель, крупнейший представитель утопического социализма.

Фурье — представитель утопического социализма.

Смит Адам (1723—1790) — английский экономист, создатель буржуазной политической экономии.

Спиноза Борух (1632—1677) — знаменитый голландский философ-материалист.

Телль Вильгельм — национальный герой Швейцарии.

Тициан — великий итальянский живописец.

Уваров Сергей Семёнович (1766—1855) — министр народного просвещения при Николае I. С 1811 г. — попечитель Петербургского учебного округа, где по его настоянию был введён в гимназии классицизм. В 1818 г.

был назначен Александром I президентом Академии наук. С 1833 по 1849 г. был министром народного просвещения. Выдвинул пресловутую реакционную формулу «православие, самодержавие и народность». Считал необходимым положить её в основу русского воспитания. Враждебно относился к Пушкину, передовой журналистике, науке. Был отстранён от должности министра в 1849 г. Николаем, который считал, что насаждаемый Уваровым классицизм содействует распространению среди юношества республиканских идей.

Фаланстера — первичная ячейка социалистического утопического общества Фурье.

Фемистокл (514—449) — афинский государственный деятель, энергичный вождь городской демократии, много способствовавший процветанию Афин.

Флуран (1794—1867) — известный французский физиолог и врач.

Фоблаз — герой безнравственного романа Лувэ де Куврэ, французского писателя. Нарциссальное имя знатока любовных похаживаний.

Фогт Карл — швейцарский физиолог, профессор Лозаннского университета, у которого изучал естественные науки сын Герцена — Александр Александрович. Участник немецкого революционного движения. Сторонник вулгарного материализма и умеренного либерализма.

Фокс Георг — основатель религиозной секты «квакеров», возникшей в XVII в.

Фотий — архимандрит (1792—1838), фанатик, находившийся в личных дружественных отношениях с Аракчеевым, оказывал реакционное влияние на политику Александра I в области народного образования.

Христиан Матей (1758—1821) — профессор Московского университета.

Цицерон Марк Тулий — известный римский оратор, писатель, философ (103—43). Оставил после себя большое литературное наследство. Его статьи и письма — блестящие по форме и изысканству языка — служили образцом для изучения в западноевропейских и русских школах.

Шаликов П. И. (1768—1852) — князь, издатель «Дамского журнала». Бездарный поэт. Сборник его стихов назывался «Плод свободных чувствований».

Шекспир Вильям — английский писатель конца XVI и начала XVII вв., автор многочисленных драм и трагедий («Гамлет», «Отелло», «Ромео и Джульетта» и др.), пользующихся мировой славой до нашего времени.

Шиллинг Фридрих (1775—1854) — немецкий философ-идеалист.

Шиллер Фридрих (1759—1805) — известный немецкий поэт, перу которого принадлежит много драм, трагедий, философских трактатов, написанных часто в стихотворной форме. Герои его романтических произведений — олицетворение протеста против социальной несправедливости, испорченности нравов; индивидуалисты — борцы за права человека на счастье, свободу. В произведениях Шиллера Герцена пленили юношеский энтузиазм, протест против действительности, романтическая обстановка жизни героев.

Шрекк (1733—1808) — немецкий историк церкви. Автор учебной книги «Всемирная история для детей», переведённой на русский язык.

Щепкин — декан физико-математического факультета, на котором учился Герцен.

Яковлев Лев Алексеевич (1763—1839) — дядя Герцена, брат Ивана Алексеевича Яковлева. С 1820 г. — сенатор.





О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие	3
А. И. Герцен и его педагогические идеи. М. Шабанова	5

Раздел I

Отрывки по вопросам воспитания из литературно-художественных произведений

Пояснения к 1-му разделу	32
«Записки одного молодого человека»	35
«Былое и думы»	47
Главы I, II, III, IV, VI, VII, XX, XXIV, Глава (дополнительная) — Н. X. Кетчер, Глава LX, Роберт Оуэн	47—83
Кто виноват?	96
Предисловие	113

Раздел II

Статьи по вопросам изучения естественных наук

Пояснения ко 2-му разделу	115
Публичные чтения г-на профессора Рулье	117
Опыт беседы с молодыми людьми	125
Разговоры с детьми	135
Письма к будущему другу	140

Раздел III

Заметки, памфлеты, фельетоны из «Колокола»

Пояснения к 3-му разделу	145
Материалы для некролога Авраамия Сергеевича Норова	146
Архипасторское рвение о мраке	147
Вилениское учебное начальство	148
Правила для студентов Московского университета	—
Пол паркет в гимназии и потолок в мозгу Фишера	149
Провинциальные университеты	—

Письмо к старшим дочерям — 15 апреля 1864	132
„ к Н. П. Огарёву — 3 декабря 1864	—
„ „ сыну — 4 декабря 1864	133
„ „ С. Тхоржевскому — 4 декабря 1864	—
„ „ Н. А. Герцен и М. Мейзенбург — 18—19 декабря 1864	—
„ „ сыну и Н. А. Герцен — 28 июня 1865	184
„ „ Лизе — 21 мая 1866	—
„ „ О. А. Герцен — 18 сентября 1866	—
„ „ М. Мейзенбург — 29 ноября 1868	185
„ „ „ „ 15 декабря 1868	—
„ „ „ „ 14 февраля 1869	186
„ „ О. А. Герцен — 13 июня 1869	187
„ „ М. Мейзенбург — 23 июня 1869	188
„ „ Н. П. Огарёву — 17 октября 1869	—
„ „ „ „ 14 января 1870	—
Примечания	190
Указатель имён и названий	207



Редактор *В. Н. Вишняков*. Техн. редактор *П. Ф. Монжеран*.
Корректор *А. А. Позина*. Ответств. за выпуск *Е. П. Хаджи*.

Подписано к печати 7/І 1948 г. А-00743.
Печатных листов 13,5. Уч.-издат. л. 14,70 + вклейка 0,03 л.

Отпечатано в типографии Т-25

///
3

О п е ч а т к и

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
39	2 снизу (в сноске)	Т. е. за деньги. Билет— денежная купюра.	То-есть за деньги.
157	7 сверху	Министр просвещения ...	Товарищ министра просвещения...
166	15 снизу	С приездом Огар. m-elle Mesi...	С приездом Огар. m-elle Meis...
206	17 сверху	<i>Ледрю Ролан...</i>	<i>Ледрю Ролэн...</i>